





ВЫПУСК 14



**СБОРНИК
НАУЧНОЙ
ФАНТАСТИКИ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
МОСКВА 1974**

P2
C23

C23 Сборник научной фантастики. Выпуск 14.
М., «Знание», 1974.
272 с.

В сборнике читатель найдет новую научно-фантастическую повесть Севера Гансовского и комментарии к ней, новые произведения писателей-фантастов Г. Альтова, Кир, Булычева, Д. Биленькина, А. Горбовского и других.

P2

С $\frac{70302-036}{073(02)-74}$ 155-74



НАШ ДОМ – ВСЕЛЕННАЯ

Г. АЛЬТОВ

ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

(Отрывок из повести)

Корона Д

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့အထိ ၁

В свободном пространстве буря — это шестьдесят единиц по Канелю. Но в атмосфере Юпитера, с ее плотными нерегулярными полями, ниже шестидесяти не бывает. Мы вылетели из Северного порта на Ганимеде, когда по всем прогнозам обстановка в районе станции Юпитер-Корона Д была никак не меньше семидесяти. Существует множество ограничений на рейсы в таких условиях: а) экипаж должен состоять из пилотов первого класса, б) экипаж должен иметь по крайней мере

двухгодичный опыт полетов в короне Юпитера, в) экипаж должен ежегодно проходить спецкурс на модельном полигоне, г) экипаж должен... я уж не помню всего, там длинный перечень «должен».

В моей пилотской книжке записан четвертый класс по анализу полей, это хоть что-то, а вот стереотехника и динамическая структура корабля — не выше шестого класса. С такой книжкой я мог быть в этом полете только пассажиром, зато уж в качестве пассажира я держался на высоте. Сразу после старта аналитик переглянулся с ДС-оператором, и корабль резко встряхнуло. Это был проверочный комплекс Тенешева, я этот комплекс знал теоретически, а теперь получил возможность ознакомиться с ним на практике. Что ж, экипаж должен заранее иметь представление, на что способен пассажир в таком полете, а мозг корабля должен учесть в аварийной программе мою реакцию на внешние воздействия. Вообще этот полет состоял из сплошных «должен»: экипаж должен, пассажир должен, корабль должен...

ДС-оператор, девчонка лет двадцати, сочувственно поглядывала на меня, но это не помешало ей прокрутить весь этот чертов комплекс и даже кое-что добавить.

— Немножко потрясло, — сказала она потом. — Пояс турбулентных течений. Теперь будет тише.

С моего места был виден пульт перед аналитиком, я следил за обстановкой на экране и уловил момент, когда корабль действительно ворвался в плотное турбулентное течение. Полагалось сбросить скорость и тихо-тихо выбираться, но выбираться было некуда, потому что мы шли на станцию Корона Д, а она постоянно дрейфовала в самом пекле.

Перед полетом я прикинул: почти час абсолютно свободного времени, подумаю, как действовать на Короне. Но все это время я следил за работой экипажа.

Я давно не видел такой виртуозной техники пилотирования. Аналитик просматривал поле на семь-восемь циклов вперед; с моим четвертым классом об этом и думать не приходилось. Мой предел — два цикла с точностью в семьдесят процентов. Стереотехник считывал данные прямо с экрана и задавал перестройку корабля без расчета на машине. ДС-оператор меняла структуру корабля, не теряя ни грамма массы. Для меня отличной оценкой была потеря одной десятой массы при пере-

стройке в обычном стационарном поле. Я так и летал: перестройка, потеря массы, наращивание массы, новый расчет — и на всю процедуру уходит минут двадцать...

Перестраивая корабль, девчонка ДС-оператор создавала удивительно изящные и лаконичные обводы, хотя никакого значения для полета красота корабля не имела. Это был танец для себя, танец от избытка сил, таланта, радости. На нас обрушивались шквальные волны ледяной аммиачной пыли, вокруг бушевали штормовые магнитные поля, а корабль шел плавно, как в свободном пространстве.

Эти трое — аналитик, стереотехник и ДС-оператор — были подлинными мастерами, и все-таки их держали здесь, на внешних трассах. Ю-пилоты на базе Корона Д имели еще более высокую квалификацию. Все построено на отборе. Отбор, отбор и снова отбор... Сначала спецшкола, и чтобы попасть в нее, нужно преодолеть с десятком придирчивых комиссий. Потом высшее училище, не любое, а только на Ганимеде, со своим знаменитым модельным полигоном и инструкторами, всю жизнь летавшими у Юпитера. Из ста выпускников спецшколы в это училище проходят десять—двенадцать. А из ста принятых оканчивают курс семь—восемь. Затем учебный отряд — и снова отбор: в лучшем случае один экипаж из четырех попадает на коронные базы Юпитера. И тренировки, бесконечные тренировки — в спецшколе, в училище, в группе внешних трасс и потом, когда, наконец, становишься ю-пилотом. Экзотренажеры, модельные полигоны, специальный режим и куча психологов, врачей, инструкторов на каждого ю-пилота.

Предельный отбор и предельная специализация. Ю-пилот со специальностью аналитика имеет всего лишь третий или четвертый класс по стереотехнике и ДС-операциям, но в своей узкой области (Сводный каталог, часть 9, раздел К, № 227 — анализ нерегулярных полей в короне и атмосфере Юпитера) он вне классификации. Есть уровни, не поддающиеся количественной оценке. Попробуйте определить квалификацию Моцарта или Чехова...

Лет семьдесят—восемьдесят назад здесь летали обычные пилоты. Трудно понять, как им это удавалось. Анализ полей тогда только-только разрабатывался: путем громоздких вычислений можно было приближенно

рассчитать простейшее периодическое поле. Стереотехники и ДС-операций просто не существовало. И все-таки летали! Собирали в пространстве металлическую коробку, набивали ее доотказа топливом, припасами, приборами — все до последней мелочи приходилось брать с собой, потому что корабль и пространство мыслились тогда независимыми друг от друга, никто еще не думал о возможности перестраивать корабли за счет вещества Диска. Да и самого Диска не было. Выдвигая проект Диска, Токарев и Виганд стремились облегчить полеты обычных по тем временам ракетных кораблей. В их проекте это выглядело так: Юпитер полностью распылен, в солнечной системе создано плоское пылегазовое облако — от орбиты Меркурия до орбиты Юпитера, — и в этом облаке летают корабли с прямоточными РД. Энергию кораблям дает атомный реактор, а вещество облака используется только в качестве рабочего тела — разогревается и выбрасывается, создавая тягу.

Диск теперь почти построен, масса Юпитера вдвое меньше первоначальной, но Диск мало похож на однородное облако в проекте Токарева — Виганда. Вещество распределено в Диске неравномерно. Основная масса сосредоточена в узких транспортных каналах — по орбите Юпитера, по спиральям, идущим от этой орбиты к внутренним планетам. У Диска сложная и тонкая структура: транспортные каналы, скоростные трассы, радиальные течения, технологические сферы, зоны синтеза тяжелых элементов, местные поля у новых планет — Прометея, Дедала, Арахны. И корабли теперь иные. В сущности, кораблей в старом понимании этого слова вообще не осталось. На стандартную капсулу ДС-оператор наращивает конструкцию из вещества Диска: реактор, двигатель, корпус с жилыми и грузовыми отсеками, защитные экраны, — и потом все меняется и перестраивается в зависимости от режима полета и состояния внешних полей. Пылегазовый Диск дает неограниченные количества энергии и вещества, остальное зависит от искусства пилотов. Когда рейс закончен, конструкция распыляется, и от корабля, длина которого нередко превышает сотню километров, остается маленькая стандартная капсула, готовая при необходимости снова стать кораблем. Мы летаем в Диске естественнее, чем птицы; никакая птица не умеет наращивать крылья из воздуха.

Но когда-то здесь, в вихревой короне Юпитера, в ее бешеных полях, отчаянные парни ухитрялись летать на простых металлических коробках...

2

Связь между Короной Д и Ганимедом поддерживалась только коробками, однако о моем прилете каким-то образом были предупреждены заранее. В жилой зоне, у выхода из лифта, меня ждал Рой Дэвис. Он шагнул вперед, остановился, губы у него дрогнули, и я понял, что он знал о прибытии генерального организатора ЮНЕСКО, но даже не подозревал, что организатором окажусь я.

— Ил,— глухо произнес он.— Ил, прошло пять лет, целая вечность...

Мы обнялись,

Я получал отчеты о Рое дважды в год. Подробные отчеты с фильмами, звукозаписями и снимками. Но на мгновение я задохнулся от радости и нежности, потому что это был Рой, забияка Рой, великолепный Рой, лучший мой друг в далекие годы детства.

Мы были четверкой Уно Хедлунда: Рой, Синдзи, Лина и я. Самой первой четверкой, на которой Уно испытывал свою систему обучения. Мы были надеждой Уно Хедлунда и вызовом, который он бросил миру. Эпоха расцвета научных методов профессионального отбора, эпоха узкой и сверхузкой специализации — и вдруг появляется человек, который заявляет, что специализация вообще должна быть заменена подготовкой универсалов... На XI Международном конгрессе по профессиональной подготовке короткое сообщение Уно просто не привлекло внимания. Шесть лет спустя, на XIII конгрессе, Уно выступил снова, и тогда взял слово президент конгресса Морис Балм. Он сказал: возьмите любую специальность по Свободному каталогу, проверьте программу подготовки и попытайтесь найти в ней хотя бы один лишний час, а затем сложите все время по всем специальностям — их свыше шестисот тысяч — и посмотрите, что у вас получится. Можете уменьшить полученную сумму на двадцать или даже на тридцать процентов за счет разделов, общих для всех специальностей, сказал Морис Балм, можете учесть новейшие технические средства

обучения, но не забудьте внести и другую поправку: сейчас мы ведем отбор, и поэтому каждый обучается тому, что он способен усвоить наилучшим образом в наикратчайший срок.

Морис Балм был тогда в зените своей славы. Выступление, конечно, транслировалось по космотексту; комментатор пошутил насчет *универсалов*, шутку подхватили журналисты, и проект Уно получил печальную известность. Впрочем, ненадолго. О нем быстро забыли, потому что началось переселение на Дедал, первое переселение на первую искусственную планету, созданную из распыленного вещества. Юпитера. Прошло полгода, и Уно пригласили в ЮНЕСКО, в учреждение под странным названием «Комиссия семнадцатого переворота». Корректный и невозмутимый чиновник объявил Уно, что комиссия готова финансировать его проект. «За три тысячи лет,— сказал чиновник,— наука шестнадцать раз существенно изменяла свои фундаментальные представления. Геоцентрическая система мира была заменена гелиоцентрической, квантовая физика признала постулаты, немыслимые для классической физики. И так далее. Вполне возможен семнадцатый переворот, и наша цель состоит в поддержке проектов, находящихся в противоречии с современными научными взглядами, однако не лишенных внутренней логики и направленных на благо человечества. Проект подготовки универсалов удовлетворяет перечисленным требованиям. Это первый проект, который решила поддержать наша комиссия...» И Уно получил возможность построить школу на Гродосе, маленьком островке в Эгейском море.

Уно Хедлунду было двадцать восемь, когда он вместе с женой переселился на Гродос. Не знаю, как Уно удалось избежать соблазна сразу же пустить в ход свою систему. В те времена она должна была казаться ему простой и надежной. Уно открыл обычную школу с обычными учениками и обычной программой. Год за годом он испытывал отдельные элементы своей системы, терпеливо экспериментировал с бесчисленными их вариантами, искал новые приемы и новые сочетания приемов — и все это осторожно, чтобы не помешать нормальной работе школы. Выпускники Гродоса шли в обычные училища океанологии и специализировались там по структуротехнике течений, флоро-фауновым композициям,

управлению волновым режимом или еще какой-нибудь из семисот с лишним океанологических специальностей. Через девять лет Уно Хедлунд впервые решил испытать всю систему. Он закрыл школу и полгода перестраивал ее, потому что теперь в школе должны были заниматься только четыре ученика.

Эксперимент Уно нарушал сто шестую статью принятого незадолго до этого «Кодекса воспитания»: нельзя экспериментировать с методами обучения, если нет средств полностью устранить последствия возможной неудачи. Допустим, говорили противники Уно, опыт даст отрицательные результаты, через десять или двенадцать лет выяснится, что ваши ученики не стали универсалами, а готовить из них полноценных специалистов будет уже поздно; вы искалечите четыре жизни... И снова «Комиссия семнадцатого переворота» пришла на помощь Уно, хотя для этого пришлось выдержать бурную дискуссию. Была принята поправка к сто шестой статье. Уно разрешили провести эксперимент при условии, что родители его воспитанников детально ознакомятся с программой и подтвердят свое согласие. Мой отец кончил школу на Гродосе, у него не было ни малейших колебаний. Отец и мать Роя долго изучали программу, обсуждали ее с Уно, спорили по всем разделам... и остались на Гродосе преподавателями. Потом появился Синдзи Накаи, ему было семь лет, на два года больше, чем нам с Роем. Он убежал из школы в Марселе, а до этого убегал из шести других школ, и его родители были счастливы, что нашлась школа, в которую Синдзи пришел сам... Ну, а Лина была дочерью Уно Хедлунда.

Мои детские воспоминания связаны с Гродосом. Я помню жестокий ночной шторм, наверное, это самое раннее воспоминание. На потолке моей спальни вспыхивали синеватые отблески молнии, ветви акации тревожно стучали в оконное стекло. Я слышал странные скрипящие звуки, и мне казалось, что по острову рыщет злой великан... Утром я нашел на берегу разбитый купол мезоплана. Он лежал на песке, похожий на огромную медузу, и волны тихо шевелили его изорванные щупальца. Я привел Уно и Синдзи, они долго ходили вокруг мезоплана и заглядывали в разбитые иллюминаторы, а я сидел на камне и плакал. Уно сказал, что плакать не надо: в мезоплане нет людей, это грузовой автомат. Гло-

Рой и в самом деле способен организовать что-нибудь в этом роде. Это в нем с детства, он все любил обращать в игру: задачи по физике, дифференциальное исчисление, схемы экологии, грамматические правила... Я осведомляюсь, какова протяженность внешней террасы. «Всего-навсего? Нет, никаких торжеств. На такой террасе не развернешься». Рой выразительно вздыхает, но это не значит, что опасность факельного шествия миновала. Так он вздыхал, когда назревала история с ройсами. Ему было тогда двенадцать лет, он сразу прославился. Это тоже была игра, Рою захотелось поиграть с Сизой горой. Он снял с моторки турбокомпрессор, перемонтировал его, запихал в ранец, а выхлоп подвел к лыжам. Получились лыжи на газовой подушке — адская штука даже по замыслу, и Уно Хедлунд сразу насторожился; мало ли что Рой выкинет с такой игрушкой. Но Рой откладывал испытания. Он вздыхал и хныкал: ничего, мол, не получается, мотор слишком тяжел и слаб, все надо менять... Мы перестали обращать внимание на возню в мастерской, а именно этого Рой и добивался. Он хотел показать эту штуку во всем блеске. Никто и не заметил, как он утащил ройсы на вершину Сизой горы. Однажды вечером мы услышали грохот, выскочили на террасу и увидели на склоне горы маленькую согнувшуюся фигурку и за ней огромный шлейф пыли. Это было похоже на слалом, снятый в ускоренном темпе. Из-под лыж били дым и пламя, потому что Рой для облегчения веса выбросил блок корректировки. Турбина захлебывалась от форсажа и дико редела. Впоследствии на испытательном полигоне в Сахаре я услышал термин, который в сильно смягченном виде можно перевести как «ошпаренный тигр». На жаргоне испытателей это означало капризную, дикую машину, которую испытывают впервые и от которой можно ожидать любой пакости. Нынешние ройсы имеют автоматическую регулировку, амортизацию, реверс; езде на ройсах обучают; для гонок отводят специально проверенные трассы. У Роя был ошпаренный тигр. Шалый тигр, мчавшийся вниз по крутому склону. Рой перескакивал трещины, лавировал между валунами и кустарниками. У подножья горы он пролетел над высоким сараем, выскочил на берег, перепрыгнул через лежавшую у воды лодку и помчался по морю, поднимая за собой стену брызг и пара. Внезапно

эта стена опала, Рой пронесся по инерции еще метров пятьдесят — и исчез среди волн. К берегу он добирался вплавь. Уно не ругал Роя, он только спросил насмешливо: «Ты что, не мог сделать приличного управления?» — и потом полдня лазал по горе, что-то измеряя и подсчитывая. Позже, когда Рой остался на Короне, Уно сказал мне: «Я опасался этого с тех пор, как Рой съехал с Сизой горы. Знаешь, Илья, у него исключительно быстрая реакция, втрое выше нормы. Он будет прекрасным пилотом...» Реакция у Роя была потрясающая, я с ним не раз дрался и знаю. Именно поэтому — вопреки всем правилам — Роя оставили на станции Корона Б, а потом послали на Ганимед, в училище. Можно сказать: хороший случай профотбора. Стопроцентное соответствие специальности. Но мне кажется, что Рой, став ю-пилотом, просто нашел подходящую игру — опасную, трудную, все время меняющуюся.

oooooooooooooooooooooooooooo 4 ooooooooooooooooooooooooooooo

— Само собой разумеется, — сказал Рой, — для генерального организатора приготовлена роскошная резиденция.

Он посмотрел на меня, рассмеялся и махнул рукой: — Ладно, Ил... Будешь жить у меня.

Жилая зона на Короне непривычно тесна. Узкие коридоры и через каждые тридцать—сорок метров аварийные отсеки. Маленькие лифты, маленькие холлы, маленькие комнаты. Ничего похожего на громадные экосферы — космические станции открытого пространства. На Меркурии-4 из конца в конец полчаса езды на спидвее, что километров шестьсот. Алиса, пожалуй, еще больше, на ней десятка два озер, горы, леса. В Диске сколько угодно вещества и энергии, размеры станции ограничены только устойчивостью защитных полей, а в открытом пространстве совсем нетрудно обеспечить устойчивость. Крохотная Корона Д опускается в плотную аммиачную атмосферу Юпитера, защитным полям приходится сдерживать колоссальное внешнее давление. Лаборатория «—50», дрейфующая под земной корой, пожалуй, меньше Короны. Но там полный экологический ансамбль: стены закрыты растениями, вместо потолка видишь небо, по коридорам бегают мангусты и

белки. На Короне иначе: узкие бронированные переходы, геометрия прямых линий и прямых углов, холодные и ровные краски — синяя, голубая, светло-зеленая... Корона похожа на боевую машину.

В сущности, Корону нельзя считать космической станцией. Это промежуточная база для полетов в глубь Юпитера. Сюда поступает информация с маяков и разведывательных зондов, отсюда стартуют корабли с гравитационными торпедами. Корона добывает вещество для Диска. Планетологи составляют задание на выброс, грависты снаряжают гравитационные торпеды, ю-пилоты доставляют торпеды в пусковую зону. И тогда происходит выброс: чудовищная сила гравитационного взрыва вспучивает волну раскаленной плазмы, тянет вверх кипящий огненный столб, магнитные каналы выводят лавину материи в открытое пространство, а Корона, прикрытая до отказа напряженными силовыми полями, переживает зип — сверхураган, который начинается в атмосфере Юпитера после выброса.

У Роя две небольшие комнаты и еще одна, дверь в которую плотно закрыта. На двери — самодельный плакатик: череп, скрещенные кости и надпись: «Смертельно! И даже более того». Череп загадочно ухмыляется. «Очередная тайна?» — спрашиваю я мимоходом. «Очередная страшная тайна», — уточняет Рой.

Я примерно представляю, в чем она состоит, эта очередная страшная тайна.

Года три назад на Короне работала группа оптиков. Корабли тогда только-только пробивались к поверхности Юпитера, маяков не было, ориентироваться приходилось визуально. А какая может быть визуальная ориентировка, если внешний вид поверхности меняется в зависимости от температуры, давления, интенсивности излучения и множества других причин. На любом экране — инфра, видео, сканинге — мечутся беспорядочные пятна света, возникают и исчезают тени. Попробуй разглядеть за этим истинный рельеф, который, кстати сказать, тоже меняется, хотя и медленнее... Оптиki пытались создать аппаратуру, отсеивающую помехи. Возились они довольно долго, за это время удалось поставить маяки, и работа потеряла смысл. Оптиki улетели, а Рой взялся за решение обратной задачи — как получить меняющееся изображение неменяющегося предмета. Рой обожает та-

кие задачи, бесполезно спрашивать: а зачем нужно видеть неменяющийся предмет меняющимся...

Четверки распадаются, вместо универсалов получают специалисты, но все-таки их тянет к работе за пределами своей специальности. И это не просто «хобби»: выбирают трудные проблемы и работу ведут серьезно. Уно называет это релаксацией.

Рой, как и все бывшие ученики Уно, регулярно посылал отчеты, в одном из них я обнаружил упоминание о первых экспериментах. А потом Рой стал темнить, в отчетах остались общие фразы; я понял, что дело у него идет на лад и надо ждать очередного сюрприза...

— Здесь и будешь жить, — говорит Рой. — Типовая келья ю-пилота первой половины двадцать второго века. Без излишеств.

На Гродосе Рой вечно тащил к себе всякую всячину. Чего стоила одна только коллекция старых морских якорей... Рой подвешивал якоря к потолку, он считал, что так они лучше смотрятся. Еще бы! Попробуйте пройтись по такой комнате, не глядя на якоря... А здесь пусто. Стандартная автоматика, стеллажи с книгами, стол, два кресла. И рисунок на стене. Черно-белый рисунок на большом, в полстены, листе бумаги. Грузные глыбы оплавленного базальта, поток лавы, дым, пепел, отблески огня на тяжелых, низких тучах. Это, конечно, Арахна, новая планета. Там по проекту Синдзи формируют рельеф. Там работает Ирма, она вулканолог в группе Южного материка. Современный конфликт: для Роя единственно возможное место — здесь, у Юпитера, а для Ирмы настоящая работа — только там, на Арахне. Ничего нельзя изменить: на Дельте не нужны вулканологи, а ю-пилоту нечего делать на Арахне. По статистике такие конфликты кончаются благополучно в одном случае из четырех.

Рой ставит на стол бокалы, достает из стенного шкафа бутылку тинга. Значит, сегодня Рой не летает. Режим тут жесткий: кофе и тинг только в нелетные дни. О вине и думать не приходится.

Двенадцать лет назад, когда Рой остался на Короне Б, наша четверка быстро распалась. Через полгода ушел Синдзи: его планетные пейзажи получили премию на конкурсе, надо было организовать детальную прора-

ботку рельефа, это стало специальностью Синдзи. Потом ушла Лина. Уно заметил, что ее тянет на биостанцию «Солнце-шесть»; там работал Дин Светлов, он только начинал свои знаменитые опыты, и Уно помог Лине устроиться туда лаборанткой. «Ну, а ты?» — спросил меня Уно. — Ты ведь тоже выбрал специальность, признавайся...» Он смеялся, но глаза у него были грустные. Мы сидели на берегу, возле старого мезоплана, а вокруг нас возились черепахи. Я следил за маленькой желтой черепашкой, она уже давно пыталась подняться на купол, и ничего у нее не получалось. Она была слишком мала, чтобы перебраться через кромку купола. «Странный ты парень, — сказал Уно. — С тобой у меня больше хлопот, чем с другими. Прогнозируемость твоего поведения вдвое ниже нормы. Когда-то это называли загадочной славянской душой. Не представляю, что ты мог выбрать...» Я ответил: хочу делать то, что делает Уно. Наверное, сказал я, в программе нашей подготовки была ошибка, поэтому четверка распалась. Надо найти ошибку, перестроить программу и взять другую четверку. «А если распадется и другая четверка?» — спросил Уно. Меня удивил этот вопрос. Подумаешь, возьмем третью, легко ответил я, третью, четвертую, пятую и так далее. Уно усмехнулся: «И так далее...»

Я все-таки стал специалистом по подготовке универсалов. В Сводном каталоге эта специальность включена в раздел «Экспериментальные профессии» и отнесена к двадцатой категории по классификации Крёнига — с самым низким коэффициентом вероятности (количество специалистов на 1 января 2132 года — 2 человека). В комментариях (Дополнительный том каталога, глава 12, раздел 7) объяснено, что сама идея универсализации издавна привлекала внимание многих мыслителей, но практически невозможно подготовить универсала, способного владеть известными специальностями хотя бы на уровне третьего класса. Приведена статистика: на столько-то процентов ежегодно увеличивается число специальностей, на столько-то процентов в среднем увеличивается время на обучение, на столько-то процентов выросли за десять лет требования к третьему классу различных профессий... Впрочем, тут же изложена теория Уно Хедлунда — комментарии Сводного каталога всегда объективны.

Пока идеи нет. Пока ничего не получается. Спасительное слово — «пока». Оно подразумевает, что в дальнейшем обязательно получится.

Что ж, когда-нибудь получится, в этом я не сомневаюсь. Через сколько-то там лет у кого-то другого получится. Он поймет, дотянется, осилит... Почему он, а не я? Когда-то пытались строить первые самолеты, и ничего не получалось: не было подходящих двигателей, надо было ждать, пока они появятся. Это хоть не так обидно. А чего не хватает мне? Все есть, все условия для решения задачи имеются, я в этом убежден. Не хватает только одного: умения. Ума не хватает, той степени ума, той концентрации таланта, которые нужны для решения задачи.

Рой слушал и посмеивался:

— Если ты пришел к такому выводу, еще не все потеряно.

Потеряно, конечно, не все. Просто прошло пять лет. Мне было двадцать три, теперь двадцать восемь. Пять лет, в течение которых, если верить формулам науковедения, вероятность появления оригинальных идей максимальна. В следующие пять лет эта вероятность уменьшится на девять процентов. Только и всего.

— А как у тебя, Рой?

Вопрос, конечно, лишний. С Роем всегда все в порядке. Рой Девис — самый лучший пилот, самый знаменитый пилот. Он пилот века — никак не меньше. Шестидесять процентов мальчишек от четырех до семи лет мечтают о том, чтобы стать такими, как Рой, играют в Роя, подражают Рою. О Рое написаны три сносных романа и множество рассказов. Геррит Верспун прославился, сыграв Роя в фильме «Здесь, у Юпитера». Репортажи по космотексту, очерки в журналах и газетах, кристалл с записью «Рой Девис поет забытые космические песни»: Рой поет, аккомпанируя себе на гитаре, прерывает пение и говорит о старых космонавтах, снова поет, иногда поясняя технические термины. Это и в самом деле здорово, отличный кристалл.

— Хочешь, раскрою тайну? — спросил Рой.

Ему очень хотелось раскрыть тайну, я это видел и великодушно согласился:

— Ладно, раскрывай. Люблю страшные тайны.

Он вынул из кармана очки и протянул их мне. Что ж, подумал я, все идет в соответствии с теорией. Уно приятно будет узнать о релаксации Роя.

— Взгляни,— небрежно предложил Рой.

Ничего особенного. Обычная оправа из металлопласта, обычные светло-фиолетовые стекла. Может быть, чуть более светлые, чем нужно для защитных очков.

Рой нетерпеливо произнес:

— Ну!

Я надел очки — и комната сразу преобразилась.

В первое мгновение я даже не сообразил, что, собственно, произошло. Мне показалось, что все вокруг начало двигаться: качнулись стены, зашатался стол, поплыл куда-то отделившийся от стены рисунок... Нет, все было на месте, изменилась только окраска предметов. Точнее, не изменилась, а непрерывно менялась, причем у каждого предмета окраска менялась независимо, по каким-то своим законам. Белая стена превратилась в розовую, а потом в оранжевую; светло-коричневое кресло, стоящее у стены, неожиданно окрасилось в синий цвет, и я не успел присмотреться, как кресло из синего стало изумрудным. Потом оба цвета, оранжевый и изумрудный, словно по команде погасли, стена теперь была светло-желтой, а кресло — черным. Возник острый звук — как писк комара, только сильнее. С потолка полыхнуло алым светом, и все предметы в комнате — книги на стеллажах, стол, панели автоматики и сама комната, стены, двери, пол — все окружающее загорелось ослепительно яркими красками, слилось в пеструю мозаику и бешено закружилось. Писк комара превратился в нестерпимо сильный свист...

Я сорвал очки.

— Как впечатление? — спросил Рой. Он просто изнывал от нетерпения.

— Смертельное. И даже более того. Голова кружится, свист какой-то...

— Привыкнешь, голова не будет кружиться. Света здесь многовато, поэтому пестрота и свист. А так — роскошная штука, если, конечно, хорошенько настроить. Не хуже калейдоскопа.

— Пленки Шилдса?

— Они. Но испорченные, сверхнестабильные. Я три года искал, как уменьшить их стабильность. Теперь цвет

плывет даже от теплового движения молекул. Просто и гениально.

После Шилдса два поколения оптиков боролись с нестабильностью полихромных пленок; Рой пошел в обратном направлении — и получил занятную игрушку. Она наверняка станет популярной. Если бы Рой придумал очки без стекол, это тоже вошло бы в моду...

Полгода назад он появился на экране космотекса в синем тренировочном костюме, просто не успел переодеться. В тот же вечер стихийно возникла новая мода. Сначала мальчишки, потом Геррит Верспуйн, потом студенты — и тогда уже все. Даже дипломаты на официальных приемах. Был изрядный переполох в фэшнстудиях на всех планетах: впервые за полвека полетел к чертям прогноз смены мод, составленный художниками, психологами, врачами, модельерами, социологами...

Фэшнстудии, впрочем, быстро сориентировались и создали стиль «пилот». Учение о стилях возникло лет за десять до этого, оно со всей очевидностью вытекало из возможности в каких-то пределах управлять формированием внешности человека. Пределы эти до сих пор довольно ограничены: на генетическом уровне удается задавать рост, тип сложения, некоторые лицевые параметры, цвет волос. Генетика плюс биохимическое воздействие в первые месяцы жизни. Были опасения, что создание стилей приведет к обеднению человеческой красоты, хотя институт Ежи Полачека математически доказал, что обеднение вызывается как раз-таки стихийным смешением стилей в некий средний облик. Збарский и Делезаль дали программы первой серии стилей; теоретически все обстояло прекрасно, но на практике дело не двигалось, нужен был какой-то толчок. Тут и сработала популярность Роя. Пражская фэшнстудия предложила стиль «пилот»: рост чуть выше среднего, худощав (ноль-девять нормы), активизированная нервная система (отсюда — подвижность, быстрота реакции, холерический темперамент), половина главных лицевых параметров по Рою Дэвису (две тысячи вариантов на основе теории опознавания), глаза светлые (голубые, светло-серые, серые), волосы мягкие, темно-коричневые (тридцать тонов на выбор)...

Рой надел очки и внимательно оглядел меня.

— Зеленый, — с удовлетворением констатировал

нами свет быстро тускнел, дно колодца сжималось, стремительно проваливаясь в бездну. Казалось, сейчас наступит полный мрак, но вспыхивали багровые пятна, огненный круг поднимался, увеличивался, накалялся до белизны, высветивая багровые стены колодца.

Конечно, вся поверхность была такой же светлой, как дно колодца, и даже еще светлее, еще ярче. Плотная атмосфера поглощала и преломляла идущий снизу свет, создавая иллюзию гигантского колодца.

Никаких деталей на поверхности я не видел, да и не мог увидеть. Внизу был водород, океан жидкого водорода, спрессованный давлением в двести тысяч атмосфер. И только по нервному ритму, подчиняясь которому пульсировал свет, можно было представить, какие силы действуют там, в этом раскаленном океане, где малейшие перепады температуры и давления вызывают мгновенные перемещения огромных масс материи.

А сверху было такое же странное небо — опрокинутый вверх узкий колодец с непроницаемо черными стенками и маленьким, очень далеким, голубым дном. На дне небесного колодца вспыхивали и гасли бесчисленные искры, там была нижняя поверхность насыщенного молниями облачного бета-слоя.

Это небо я видел двенадцать лет назад, но тогда бета-облака находились внизу, под нами. Станция плавала в короне Юпитера, и корабли лишь на короткое время отваживались спускаться вниз, к бета-слою. Не было ю-пилота, который не мечтал бы пробить бету, пройти семьсот километров сквозь молнии, ливнепады и вихревые восходящие потоки. Мне эти облака представлялись тогда взбесившейся машиной, ни на секунду не прекращавшей своей бессмысленной лихорадочной работы: миллионами ннагар падала в них вода, летела сотни километров, дробилась, превращаясь в пыль, в пар, и снова рвалась вверх бешено крутящимися потоками, электризуя встречные струи воды и вызывая искровые разряды, пронизывающие каждый кубический сантиметр облаков... Четыре года назад Рой впервые прошел сквозь бета-слой, потом это стало обыденным делом, и вот сейчас Корона Д спокойно идет под бета-облаками. А бой с Юпитером продолжается. Внизу, на дне колодца, лежит слой раскаленного жидкого водорода, десять тысяч километров, под которыми тот же водород,

только твердый, металлический. Проще простого нырнуть в этот океан, но вот вынырнуть из его глубин удастся далеко не всегда...

— Смогут твои ребята здесь поработать? — неожиданно спросил Рой.

Он, конечно, догадывался, зачем я прилетел на станцию. Не было смысла играть в прятки.

— Смогут, — ответил я, хотя особой уверенности у меня не было. — Потренируются и смогут.

— Светлая мысль, — усмехнулся Рой. — Вот только тренажеров у нас нет. Тут ни один тренажер не выдерживает.

— Надо летать, это и будет тренировкой.

Глупая получалась карусель, я это понимал: чтобы начать летать, нужно тренироваться, а чтобы тренироваться, нужно начать летать...

— У Юны, — сказал я, — второй класс по анализу полей. В Диске и в свободном пространстве. У остальных ребят третий.

Довод сомнительный, но другого у меня не было.

— Так то в Диске и в СП, — возразил Рой. — Когда я начинал, у меня тоже был второй класс. По пилотированию в Диске и в СП. Здесь это считается примерно седьмым классом, здесь иные условия.

— Тебе было шестнадцать, — ответил я. — А Юна получила второй класс в тринадцать лет. Годика через два она будет летать лучше тебя.

— Нахал ты, Илья. Лучше меня летать невозможно. Где она училась?

— У Хинне Зийлстра.

Это произвело впечатление: Зийлстра был когда-то первым инструктором Роя.

— Хм... А где она сейчас?

— В агентстве Лепаж.

Рой присвистнул.

— Зачем? Что она там делает?

— Не знаю. В прошлом году занималась в учебном центре. А два месяца назад позвонил Латавец и попросил, чтобы Юна поработала у них.

— И ты согласился?

— Да.

— Рискованно.

— Еще бы... Но отказать я не мог: агентство Лепаж.

жа всегда нам помогало, у меня не было никаких оснований для отказа.

— Латавец что-то затевает, это точно, — задумчиво сказал Рой. — Он присылал сюда своих энергетиков, они изучали у нас технику свернутых полей. Как ты думаешь, зачем агентству Лепажа понадобились свернутые поля?

А черт его знает, подумал я, разве можно угадать, что они там задумали... Предмет, помещенный в свернутое силовое поле, становится невидимым, лучи его обтекают. Чтобы свернуть поле, нужно колоссальное количество энергии, поэтому закрытые конструкции создают иначе — из отдельных плоских полей. Конечно, при этом нельзя получить невидимость, но кому она нужна? Свернутые поля используют, если нет никаких других средств защиты от излучения: при запуске солнечных зондов, при глубинной разведке Юпитера.

— Знаешь, Ил, у меня сложилось впечатление, что они собираются упрятать в свернутое поле корабельную капсулу. Прямо они ничего не говорили, но я почувствовал, куда они гнут...

— Спрятать капсулу невозможно. Максимальный диаметр свернутого поля полтора-два метра.

— И все-таки их интересовала навигация в свернутых полях. Факт.

Мы помолчали, потом Рой сказал:

— Видишь, внизу, у самого центра, проступает зернистая структура. Не очень ясно, но все-таки проступает. Верная примета, что зип скоро пойдет на убыль. А внизу, в океане, еще беспокойно. Значит, выброс невозможен, и месяца два будут только тренировочные полеты. Тащи своих ребят...

Я пытался разглядеть зерна на дне колодца и не видел их. Но чем дольше я всматривался, тем сильнее ощущалась глубина: я почти физически чувствовал то огромное напряжение, с которым свет пробивался сюда, наверх. В сущности, я видел не поверхность Юпитера, а только атмосферу — сжатый и раскаленный водяной пар. Слова «земля» и «небо» вообще теряли здесь определенность. Где «земля» этой планеты? На поверхности водородного океана? Под океаном, на дне? Или еще глубже, под слоем металлического водорода? А «небо»? Что здесь считать небом? Над бета-слоем мощная ам-

на постройку отсеков. Во всех учебниках написано, что свободные радикалы снижают устойчивость конструкций, наставления по ДС-операциям точно регламентируют допустимое содержание свободных радикалов. Но на Короне ю-пилоты специально накапливали свободные радикалы во внешних стенках корабля, прямо в стенках вели головокружительные химические реакции — и стенки оживали, приобретая способность к самовосстановлению... А тут ДС-оператор, как положено, отбрасывал радикалы — стенки получались словно литые. Конечно, в них постепенно возникали местные напряжения, и стереотехник, как положено, время от времени вносил поправки, используя обычный корректор. Корабль шел как по ниточке, игра с радикалами была вроде бы и ни к чему... Но из обычных методов корректировки давно выжато все возможное, а химия стенок, химия свободных радикалов в стенках — нечто совершенно новое. Быть может, путь к саморегулирующимся кораблям. Завтра появятся приборы, специально рассчитанные на какие-то тонкие эффекты при реакциях со свободными радикалами. Что будут делать с этими приборами пилоты, которые сегодня просто отбрасывают радикалы?.. Кого-то переведут на менее сложные рейсы, кто-то пойдет переучиваться, кое-кто вообще уйдет из летного состава. Прогресс безжалостен. Отстанешь на шаг — и это необратимо: разрыв будет все время увеличиваться. Чуть раньше или чуть позже, но обязательно отстанешь... И уже не будет настоящей жизни. Первое дело — как первая любовь: навсегда остается тоска по тому, что ты когда-то мог делать, а теперь только видишь со стороны.

Я вспомнил, какие глаза были у Ласко Тардоша, координатора Северного порта, когда он расспрашивал меня о Короне. Раньше Тардош был ю-пилотом...

Может быть, я тоже понемногу отстаю? Уно недавно упрекал меня в пренебрежении к новой технике обучения. И ведь факт: гипнопрессинг, биохимическое воздействие, ритмопедия, словом, все то, что в нашем деле эквивалентно новым приборам на корабле, не вызывает у меня особого энтузиазма. Когда я не захотел применять романы-учебники, у нас с Уно произошел крепкий спор. В общем, эти романы-учебники неплохая штука. Среди них попадаются отличные вещи. Ребята взахлеб читали серию, в которой космические пришельцы вступают в

контакт с жителями Древнего Вавилона и пытаются научить их основам ДС-операций. Особенно удачна третья часть серии — строительство вавилонской башни. По замыслу пришельцев башня должна была стать чем-то вроде учебного полигона: собрали, разобрали, снова собрали, снова разобрали... А для вавилонян первое же «разобрали» оказалось сильнейшим потрясением: они жили в мире постоянных сооружений, камень был символом тысячелетий. И хотя пришельцы тут же восстановили башню, никто уже не верил, что это настоящая башня и настоящий камень...

Уно, как всегда, был прав: нет смысла отказываться от романов-учебников. Но меня не покидает ощущение, что все это так, где-то на обочине. Третьестепенные детали. Причина наших неудач намного серьезнее. Мы допустили какую-то принципиальную ошибку. Если бы знать, в чем она, эта ошибка. Я все время думаю о постулатах Уно, ворошу в памяти программы, факты, наблюдения, пытаюсь найти хоть малейшую зацепку — и ничего не нахожу. Ровным счетом ничего.

Стереотехник убрал шторы всех иллюминаторов и выключил свет в кабине. Над нами возник купол небосвода — черный и пустой по сравнению с гигантским скоплением огней лежащего внизу Диска. Мы шли над зоной синтеза тяжелых элементов. Мощные транспортные течения несли сюда из глубин Диска водород, подерживая накал в бесчисленных сгустках плазмы.

Казалось, здесь собраны все звезды Вселенной. В центре зоны мириады ослепительно ярких огней сливались в сплошной огненный шар, от которого тянулись загнутые спиралью муаровые потоки — оранжевые, желтые, желто-зеленые. Огненные потоки сталкивались, сплетались, смешивались, образуя уходящие вдаль добега раскаленные звездные реки.

Лет пятнадцать назад я проходил практику примерно в такой же зоне. С бригадой наладчиков я носился из одного конца зоны в другой, стараясь предотвратить взрывы плохо отрегулированных плазмосфер. Это не всегда удавалось. Переждав взрыв, мы собирали рассеянное в пространстве вещество, снова зажигали плазму и терпеливо налаживали режим. За два месяца я ни разу не спал больше трех часов подряд, но зато получил второй класс по наладке плазмосфер и был назначен

бригадиром. Зона к этому времени превратилась в сущий ад, взрывы учащались с каждым днем, и моя бригада, два десятка здоровых парней, отчаянно металась по аварийным каналам с участка на участок... В конце концов эта героическая суматоха перестала мне нравиться. Я забрался в дальний защитный отсек, хорошенько выспался, а потом, обдумав все на свежую голову, пришел к выводу, что кто-то специально нарушает регулировку. Я стал закрывать автоматы своим личным кодом, и через неделю во всей зоне царили тишина и порядок.

Позже я узнал, что это принцип форсажа — один из основных в системе Уно Хедлунда: ускоренное обучение должно идти в условиях постоянной аварийной обстановки. Оппоненты Уно высказывали всевозможные опасения, была назначена проверка, и половина моей бригады состояла из наблюдавших за мной психологов и врачей... Все кончилось благополучно, Уно оставили в покое.

Грузоход прошел зону синтеза, но ее огни еще долго отражались на плоскостях корабельных антенн. Постепенно глаза привыкли к темноте, и небо наполнилось звездами.

Я могу часами смотреть на небо и на море. Вот только часов этих становится все меньше и меньше. Чем лучше я подготавливаю ребят, тем труднее ими руководить. Они безжалостны ко мне, как когда-то наша четверка была безжалостна к Уно. Учитель должен все знать, учитель должен все уметь, учитель всегда должен быть впереди. Иначе какой он учитель?

Ребята пройдут практику на Короне и научатся летать лучше меня. Они и сейчас летают лучше меня, но еще не замечают этого, не понимают. К концу практики поймут. Рой не вернулся на Гродос, как раз потому, что Уно Хедлунд не мог научить его летать так, как летали ю-пилоты.

Там, в зоне синтеза, я поступил правильно: отключился от суеты, спокойно подумал и нашел решение. Сейчас труднее отключиться, у меня ворох неотложных вопросов. Как, например, научиться летать лучше, чем летают ю-пилоты?..

Катер сбавил скорость и аккуратно прижался к пирсу. На деревянных досках, выщербленных солнцем и солью, лежали мокрые желтые листья — на Гродосе была осень. Я соскочил на пирс, и катер сразу заурчал. Я смотрел, как он отходит, четко разворачивается и набирает скорость. Раньше на этих катерах не было автоматики. Три месяца назад, когда я уезжал с Гродоса, катер вел рыжий мальчишка из интерната в Польдии.

Берег был пуст. Сюда, на полузаброшенный пирс у восточного, обрывистого склона Сизой горы, редко кто приходил. Некому было сюда приходить: в прошлом году на Гродосе жили двадцать человек, теперь осталось двенадцать, да и те не всегда бывают на острове. Когда-то на этот берег приезжали школьники и студенты из Польдии, жгли костры, пели песни. В море, теперь таком пустынном, постоянно сновали лодки, яхты, катера...

Пустынно становится на Земле. Производство почти полностью перешло в космос, там же размещены основные научные и учебные центры. Каждый год в Диске возникают сотни новых экосфер. В жилых экосферах все, как на Земле, — леса, степи, горы, моря, реки, озера, — и все это спроектировано лучшими экологами, архитекторами, художниками, психологами. В экосферах есть и такое, чего на Земле никогда не встретишь. Причудливая смена времен года, искусно устроенные оптические эффекты в атмосфере, немислимые в земных условиях пейзажи, растения и животные. На Алисе три весны — и все разные, на Росинке жаркое снежное лето, как в горах, и две удивительно поэтичные осени. На Зарине по янтарному небу плывут мерцающие пурпурные облака. Страна водопадов на Лазури, поющие леса на Ньюте, ласковые пушистые рыбки в кочующих озерах Релин...

Тропинка, по которой я поднимался к дому, густо заросла травой, теперь уже желтой и коричневой. Я выбрал это место для своего дома, чтобы быть подальше от школы: там постоянно что-то перестраивалось, на грузовую площадку опускались реापланы, что-то привозили, что-то увозили, и в учебных корпусах допоздна шумели монтажники. В последние годы суеты стало

меньше и можно было вернуться в школьный городок, но я уже привык к своему дому.

Дверь была приоткрыта, ветер раскачивал ее. На крыльце сидел серый котенок, он привстал и настороженно посмотрел на меня. Я тоже настороженно посмотрел на него. Когда-то Лина увлекалась биотрансформацией и ставила опыты в духе Шилдса; с той поры на острове попадались странные животные. Лучше всего у Лины получались кошки с собачим поведением. Лина утверждала, что вообще это собаки, но в облике кошек.

— Привет, старина,— сказал я.— Надеюсь, ты не собака и не рысь.

Котенок не тявкал и не махал хвостом. Возможно, это был самый обыкновенный котенок.

Наступили сумерки, в комнатах было полутемно. Я увидел на стене вазу с гладиолусами и груды книг, пакетов, конвертов. Не зажигая света, я прошел на террасу. Следом за мной на террасу проскользнул котенок. Он сел поодаль и стал задумчиво меня разглядывать. Далеко в море, у темной полосы горизонта был виден красный огонек — катер возвращался в Польдию.

Пустынно становится на Земле. В огромном зале космопорта на мысе Матапан было человек десять, не больше. В вагоне спидвея, идущем на Польдию,— два человека... После экосфер Земля кажется какой-то неустроенной, неорганизованной. В экосферах не встретишь неказистую и скособоchnую Сизую гору, выжженный солнцем каменистый берег Гродоса, полуразрушенный пирс и полосу пыльных блеклых кустарников. И все-таки меня тянет на Землю, на Гродос. Наверное, потому, что еще в детстве я привык лежать на шершавых досках восточного пирса и смотреть на море, сливающееся с небом, или разглядывать сквозь щели между досками пляшущие на воде солнечные узоры. Поколение, выросшее в экосферах, относится к Земле иначе. Как к большому историческому музею. Вот здесь была столица древнего царства, а тут произошло знаменитое сражение, а там, в этой маленькой комнатке Фудзю Тада впервые получил силовое поле, и оно выбило стекло вот в этом окне...

Пискнул котенок.

— Не унывай, старик,— сказал я ему.— Через восемь дней я улечу, ты снова останешься хозяином.

По грузовой площадке, ярко освещенной прожекторами, двигался старенький спрут: подбирал щупальцами разбросанные по площадке контейнеры и складывал их на транспортную тележку. В кабине спрута сидел Уно. Я остановился поодаль, в темноте; интересно было смотреть, как работает спрут. Уно привез это чудовище, когда школу только начинали строить. С тех пор на Гродесе сменилось множество универсальных рабочих машин: все время выпускались новые, более совершенные модели. Но спрут оставался, и, как только появлялась возможность поработать, Уно выводил его из гаража.

— Уно! — крикнул я.

Он остановил спрута — контейнер повис в вытянутых щупальцах — и приоткрыл дверь кабины. Похоже, он был смущен.

— Здравствуйте, Уно.

— А, появился, — сказал он, всматриваясь в темноту. — Здравствуй... Видишь, работаю за тебя: это твой заказ, оборудование для физической лаборатории.

По узкой лесенке я взобрался в кабину. Там было тепло и пахло маслом. Уно набрал целую коллекцию старых машин: спрут, два орнитоптера, лодку с настоящим двигателем внутреннего сгорания, силовые скафандры на гидроусилителях, электромобиль, токарный станок... Все они пахнут маслом. Формально это экспонаты по истории техники, но для Уно они живые вещи, пожалуй, даже живые существа. Шумные, теплые, немного капризные...

— Садись, — сказал Уно. — Вот заброшу этот ящик, поговорим.

Он забросил этот ящик и еще один («Лежит на самой дороге...»), а потом еще один («Заодно уж прихватим...»). Хорошо это у него получалось: рычаги управления оказывались там, куда он, не глядя, опускал руку; педали поджимались ровно настолько, насколько нужно; при этом Уно успевал еще переключать какие-то тумблеры, подкручивать какие-то маховички и следить за цветными огнями на пульте. Один раз спрут недовольно заурчал; видимо, контейнер был слишком тяжел или щупальца схватили его неудачно. Уно удивленно пробормотал: «Ну, малыш...» — и спрут рывком поднял

огромный серебристый ящик. Уно шелнул что-то одобрительно, рассмеялся...

— Хорошая машина, — сказал я.

— Старееет, — отозвался Уно. — Приятно на ней работать, но старееет, ничего не поделаешь. Каумет на шупальцах износился, а заменить нечем. Не выпускают каумета.

Нынешние машины не стареют, но привязаться к ним, полюбить их — невозможно. Они есть и их нет. Можно любить космические корабли вообще и невозможно любить конкретный корабль; его нет, он возникает только на время работы, а потом его распыляют. Что же любить — стандартную капсулу или программу развертки корабля, заложенную в памяти ЭВМ?.. Стереотехника и ДС-операции постепенно проникают всюду: вещи исчезают — их заменяют динамичные структуры. Современный погрузчик можно мгновенно превратить в грудку фепора, ферромагнитного порошка, а потом сделать из фепора новый погрузчик или любую другую машину. Машина оказывается только временной формой, а к порошку и электромагнитному полю трудно привязаться, их трудно полюбить... Спрут — другое дело. Он не меняется, его надо смазывать, мыть, он пахнет маслом, а при работе забавно урчит. Я-то еще понимаю, что к спруту можно привязаться, как, скажем, к восточному пиреу или Гродосу. Но поколение, растущее в экосферах, вряд ли это поймет: в большинстве экосфер запрограммировано даже изменение рельефа...

Спрут осторожно поставил ящик, шупальца опустились, машина отодвинулась от тележки и замерла.

— Посидим немного, — предложил Уно. — Когда ты приехал?

— Час назад.

— Я ждал тебя завтра.

— Скоростная трасса, и грузоход шел порожняком.

— Вот как... А перегрузки?

— Есть немного. При маневрировании. В капсуле свое гравиполе.

— Все-таки тебе надо отдохнуть.

Я видел: Уно хочет что-то сказать — и не решается, а это на него не похоже. Я говорил с ним сутки назад, перед отлетом с Ганимеда. Что же могло произойти за это время?

— Насчет Юны... ничего нового?

— Нет... Волнуешься? Когда ты проходил практику у Тадеуша, я тоже волновался.

В стекло ударили крупные дождевые капли. Защитный слой стекла отталкивал их, они скатывались вниз, как шарики ртути. Уно прикрыл дверцу.

— Осень... Всю неделю шли дожди. Затопило дорогу к южному маяку.

— Каумет можно достать, — сказал я. — Сколько угодно. В старых вагонах спидвея силовые элементы аварийной амортизации сделаны из каумета. Амортизацией никогда не пользовались, каумет там целехонький.

— Амортизация? — переспросил Уно. — Да, конечно, конечно... Толковая мысль, спасибо.

— Я могу съездить в Польдию. Хоть завтра.

— В Польдию? Нет, Илья, съездить надо не в Польдию, а в Кунгур, к Хансу Улли. Завтра же. Он прислал приглашение.

Вот оно что, подумал я. Ханс Улли руководит ЦСП, Центром социального планирования, а если ЦСП заинтересовался нашим экспериментом, значит, назревают большие события.

— До сих пор ЦСП нас не замечал.

— Не совсем. Год назад они попросили материалы, я отправил. Не надейся, что разговор будет на поверхности. Улли не такой человек.

Позицию Улли я примерно представлял. В последнем ежегоднике ЦСП была его статья, там затрагивалась и проблема гиперспециализации. Наша цивилизация, писал Улли, основана на специализации, именно это обеспечило ее быстрое историческое развитие. «Специализация была ключом к решению очень многих проблем, и мы открывали этим ключом дверь за дверью и шли вперед, не заботясь о том, что где-то позади нас двери захлопывались...» Социологи вообще относятся к нам, как к изобретателям вечного двигателя: хорошо бы иметь такой двигатель, но, увы, принципиально невозможно. Специализация — самый древний и самый основной закон общества, а социальные законы ничуть не слабее физических.

— Когда мы выезжаем?

— Ты поедешь один, Илья.

— Почему?

— С завтрашнего дня ты — руководитель школы. Я буду жить на Алтае, у Лины.

Если бы Уно объявил, что завтра Сизую гору переправят куда-нибудь на Марс, я удивился бы меньше. Невозможно было представить Гродос без Уно и Уно без Гродоса.

— Что случилось?

— Ничего не случилось. Просто так будет лучше.

Я смотрел на Уно и ничего не понимал. Почему будет лучше? Кому будет лучше? Я видел, что Уно, как всегда, спокоен — и это было дико. Как в нелепом сне, когда хочешь проснуться, отчаянно стараешься проснуться — и не можешь.

— Должны быть причины, — упрямо повторял я. — Должны же быть причины...

— Причины... Мы топчемся на месте, ты сам знаешь. Нужно что-то новое.

— Мы все время ищем новое. Почему нельзя работать вдвоем? Почему вам надо уезжать с Гродоса?

— Ты подумаешь и сам все поймешь.

— Что-нибудь не так? Вы недовольны мной?

Он посмотрел на меня и отрицательно качнул головой:

— Нет, напротив. Я даже собой доволен. Помнишь, были когда-то многоступенчатые ракеты: первая ступень разгоняла ракету, а потом, израсходовав горючее, отделялась, и тогда начинала работать следующая ступень... Я был хорошей ступенью. Разве не так?

— Ладно, — невпопад ответил я. — Вы уедете на Алтай. Но ведь все равно вы будете думать о нашем деле.

— Буду, — согласился Уно. — Мысли не отключишь, ты прав. Но дело сейчас не во мне.

Это уже обдумано и бесповоротно решено, подумал я, ничего нельзя изменить, ничего. Я вдруг заметил, как мало огня внизу, в зданиях школьного городка. Не было света в окнах учебных корпусов, не горели огни спортивного комплекса и даже на улицах было темнее, чем обычно. Уедет Уно, потом распадется моя четверка, на Гродосе будет совсем пусто. Может быть, это и есть поражение. Я впервые подумал об этом, впервые услышал это слово: «Поражение» — и ощутил его горечь и тяжесть. В чем мы ошиблись? Почему мы ошиблись?

— Вы могли бы остаться на Гродосе,— сказал я, уже догадываясь, что ответит Уно.

— Нет, Илья. Ты должен рассчитывать только на себя. Тебе предстоит ломать то, что я строил... Или нагромоздил, не знаю уж, что точнее. Так или иначе ломать на этот раз придется не верхушки, а самый фундамент, основы теории.

— Будем ломать вдвоем.

— Вдвоем не получится. Я не вижу — что ломать. Если, создав теорию, не видишь, что в ней можно сломать и перестроить,— пора уходить.

— И я не вижу.

Уно рассмеялся:

— Ага, значит, ты думал об этом!..

Я пробормотал:

— Но это же нормально...

— Нормально,— согласился Уно.— Теория должна непрерывно обновляться. У тебя это получится, не сомневайся. Ты был занят своей четверкой и полагал, что Уно, как всегда, что-нибудь придумает. Не спорь... Я тоже рассчитывал: вот сделаю это, закончу то, освобожусь и спокойно пойму — что ломать. Раньше удавалось... На этот раз я упустил время, Илья. Раньше я легко возвращался к самому началу, одним взглядом охватывал все сооружение, всю теорию, видел, где нужно ломать и как надо строить. Теперь я вижу только частности. Меня охватывает какой-то идиотский восторг: черт побери, в целом все здорово сделано!.. И мысль работает в одном направлении: это правильно и вот это тоже правильно, вообще все правильно... Прекрасная картина: все правильно, а четверки распадаются.

Он помолчал, потом сказал, усмехнувшись:

— Ладно. Закончим с ящиками. Ящики-то не виноваты... Тебе надо отдохнуть. Иди, у нас еще будет время поговорить. Сегодня ты будешь твердить только одно: «Почему? Почему?..» А нам надо решить множество конкретных вопросов. Иди, отдыхай. Я закажу катер на девять и предупрежу Улли. Вернешься, поговорим.

Я опустился на площадку. Щупальца спрута потянулись к тележке, уцепились за нее, легко стронули ее с места.

Дождя не было. Я отошел за край площадки и остановился. Спрут тянул тележку к лежащим поодаль ящи-

Котенок сидел на перилах пирса и смотрел, как я работаю. Воды он не боялся. Похоже, он вообще ничего не боялся.

— Слушай,— сказал я ему,— ты не собака? Ты мог бы признаться, ничего страшного в этом нет. Кошка с собачьим поведением, вот и все. А может быть, ты кошка с философским поведением? Слишком ты, брат, серьезен для своего возраста.

Он молчал и внимательно следил за мной.

Вручную ремонтировать пирс — такую роскошь я редко мог себе позволить. Обычно время было расписано по минутам на много месяцев вперед. И в это утро — тоже. Но я все оставил и занялся пирсом. Два часа идеального душевного отдыха, когда все заботы, тревоги и сомнения постепенно оттесняются простыми соображениями: надо сменить эти доски и, пожалуй, эти тоже, а здесь достаточно вбить пять гвоздей, а вот тут дело посерьезнее — придется ставить новые сваи, новую балку и менять весь настил...

Катер появился точно в девять.

— Присматривай тут за порядком,— сказал я философскому котенку.— До вечера!

Времени хватило бы обогнуть остров и заскочить к Уно, но на пульте управления были только две кнопки «пуск» и «стоп», а рядом висела медная табличка с напоминанием, что включать ручное управление можно лишь в таких-то и таких-то случаях. «Заскочить к Уно» в этом перечне не значилось.

Мы отошли от острова километра на три, когда раздался звонок видео, и я услышал голос Уно:

— Здравствуй, Илья.

Солнце было прямо в экран, я почти ничего не видел.

— Включи космотекс, канал А-3,— сказал Уно.— У тебя есть приемник?

Приемник у меня был. Маленький, совмещенный с диктофоном.

— А что там? — спросил я.

— Включи, увидишь.

Я включил приемник, и на экране тотчас появился силуэт человека на вершине серебристой горы. Это была эмблема института Лепажа. Дикторский баритон рассказывал про агентство. Ну вот, подумал я, началось.

Рискованно было отправлять туда Юну, очень рискованно.

— Передача начнется через полчаса,— сказал Уно.— Они три года не вели прямых передач.

— Мне вернуться?

— Нет, тебя будут ждать в ЦСП. Да и что с того, что ты вернешься?

Действительно, теперь ничего не изменишь.

— Ты не волнуйся, Илья. Посмотрим, что они там надумали. Может быть, это и не имеет отношения к Юне.

Нет, имеет, определенно имеет. Не случайно же Латавец так настойчиво просил прислать Юну. Именно Юну.

— Я сделаю запись с большого экрана,— сказал Уно и, помедлив, добавил: — Да, вот что еще... Ночью звонил Хаген. Просил, чтобы ты срочно приехал.

Хайнц Хаген руководил биостанцией в Ливийской пустыне; у Хагена проходил практику Марат Волков.

— Что-нибудь с Маратом?

— Нет, не думаю. Во всяком случае ничего опасного.

Индекс фантазии у Марата был втрое выше нормы. Что может быть опаснее?..

— А Хаген? — спросил я.

— Что Хаген? Как обычно. Подпрыгивал, махал руками, фыркал... Они что-то открыли. «Имеется наивеличайшее открытие... Нечто наиколоссальное... Нечто наипотрясающее... Теперь все пойдет ко всем чертям...» В таком духе он изъяснялся минут пять — вот и весь разговор... От Эль-Хаммама идет новая линия спидвея, это быстрее, чем на реаплане. Конечно, сначала надо быть в ЦСП. Счастливого пути, Илья.

Все навалилось как-то сразу: и решение Уно, и практика на Короне, и вызов в ЦСП, и звонок Хагена, и передача агентства Лепаж... Многовато. А может быть, и нет. Как раз в норме. Уно жил так тридцать два года.

Я посмотрел на часы. До начала передачи оставалось двадцать восемь минут.

5

Агентство Лепаж возникло в конце XX века и в то время казалось предприятием весьма сомнительным. Все началось с того, что Жан Лепаж, молодой журналист

с характером д'Артаньяна, написал несколько статей, предупреждавших закат журналистики. Профессиональный журналист, утверждал Лепаж, способен лишь пересказывать события, в которых он в лучшем случае был наблюдателем. С подлинной достоверностью о событиях могли бы рассказать их непосредственные участники, но они не владеют журналистским мастерством. Отсюда Лепаж делал вывод: нужно готовить специалистов, которые одновременно были бы и первоклассными журналистами. Вряд ли кто-нибудь обратил бы внимание на статьи Лепаж, если бы он не подкрепил свою теорию собственным примером. Феноменальный альпинист, Лепаж в одиночку поднялся на вершину Эвереста, а потом сделал фильм о восхождении. Это дало ему немало денег и, главное, известность. Нисколько не сомневаясь в своей теории, он открыл колледж, в котором обычный учебный курс был дополнен основами журналистики. Обучение велось бесплатно. Лепаж разъезжал по разным странам и отбирал способных учеников. Из колледжа они шли в лучшие университеты и институты, становились физиками, социологами, космонавтами, архитекторами, биологами — кем угодно, но не профессиональными журналистами.

Много лет агентство приносило только убытки. Лепажу пришлось повторить подъем на Эверест. Это была игра со смертью, потому что на этот раз Лепаж тащил на себе тяжелую аппаратуру и при восхождении вел телепередачу. Поднявшись, он отбил пиропатронами трехметровую глыбу, «верхушку» Эвереста, тщательно укутал ее тройным слоем полиола и столкнул вниз по ледяному склону. Скандал был грандиозный. Правительство Непала отдало приказ об аресте Лепаж, его исключили из международного альпинистского союза, газеты яростно обрушились на «человека, укравшего Эверест»... Тем временем Лепаж, продолжая свои телепередачи, медленно спускался с Эвереста; чем ниже, тем труднее было передвигать «верхушку» — она застревала в скалах, проваливалась в глубокие трещины, вязла в рыхлом снегу. Гравнаторов и силовых костюмов тогда не существовало. У Лепаж были блоки, веревки, крючья — пещерная техника. Десятки раз казалось, что уже ничего нельзя сделать, но Лепаж каким-то чудом находил выход из положения. Он не распространялся о труднос-

звонил туда и пытался узнать, что затекает Латавец. Бесполезно! В агентстве обожали секретность.

Латавец сидел в своем кабинете, и за его спиной, на стене, висели портреты бывших учеников из первого выпуска Жана Лепаж — Чарльза Кэрти, Ло Фонга, Лундзи Бернарди, Зофи Покорской, Роберта Кириллова, Яноша Земпени... Мы называли эти снимки иконостасом, фирменным иконостасом. Но фирма была солидная, и, что не менее важно, это был единственный наш союзник.

Узкому специалисту, даже владеющему журналистским мастерством, чаще всего не о чем рассказывать. Такой специалист имеет дело с крохотным кусочком проблемы, с какой-то одной ее микрогранью. Специалист по расчету фотопластовых элементов, специалист по технологии иридий-платиновых фотопластов, специалист по технологии металлоорганических фотопластов, специалист по монтажу трибосхем на фотопластах... И так далее. Два десятка специальностей, связанных с фотопластами и трибосхемами. Специалист, занимающийся металлоорганическими фотопластами, всю жизнь бьется над улучшением их характеристик и, если ему удастся, скажем, повысить термоустойчивость какого-то типа фотопластов на пять—десять процентов, становится признанным авторитетом в своей области. Но о гетерогенных трибокомплексах, в которых работают его фотопласты, он имеет лишь общее представление. А триботехнику в целом он, в сущности, просто не знает.

В агентстве видели, что непрерывно углубляющаяся специализация в конце концов сведет на нет исходную идею Жана Лепаж, и решили поддержать эксперимент Уно Хедлунда. «Ни черта у вас не выйдет,— сказал Тадеуш Латавец, подписывая договор.— Мир держится на специализации. Из ваших ребят получатся те же специалисты, только широкого профиля. Но нам этого достаточно».

Мы проходили практику в учебных центрах агентства: осваивая технику (там всегда была куча новинок), слушали курс мастерства, занимались на семинарах. Иногда на занятиях появлялся Латавец, высокий, массивный, невозмутимый, в старой кожаной куртке. Садился в сторонке, молча слушал, рассматривал нас маленькими прищуренными глазками. Потом доставал из кар-

мана старинные часы на цепочке и, глядя на них, говорил: «Хватит на сегодня. Языки у вас, конечно, подвешены хорошо. Вы же такне, вы все умеете. Думаете, я не знаю, кто вылепил мою конную статую и установил это великое произведение искусства в конференц-зале?.. Ладно, берите снаряжение и отправляйтесь на остров Визе, на метеостанцию. Даю вам полчаса на сборы. По штату на станции семь человек, но вы же все умеете. Справитесь вчетвером. Через месяц назад. С фильмом...»

Агентство не ошиблось, заключая договор с Уно Хедлундом. Рой, например, мог бы хоть сегодня писать мемуары. Вот ведь парадокс: мы стремимся готовить универсалов, а получают специалисты. И какие специалисты! Как Рой Дэвис, пилот века. Все выпускники Уно Хедлунда на таком уровне. Если, разумеется, не считать меня: специальность с двадцатой категорией вероятной реальности — нечто вполне призрачное.

— Мы начинаем прямую передачу,— сказал Латавец, поглядывая в сторону, туда, где, видимо, стоял его экран. Там уже что-то происходило, и Латавец, похоже, больше думал о происходящем, чем о своих функциях комментатора.

— Мы постараемся,— продолжал он,— показать вам архив Промышленной Лиги.

Добрались все-таки, подумал я. Но почему Латавец сказал: «постараемся» — может быть, еще не добрались? Кто только не искал этот архив! Сколько раз казалось, что известно точное его местонахождение, и он вот-вот будет найден...

Во всяком случае, стало понятно, почему передачу ведет Латавец: у агентства с незапамятных времен были счета с Промышленной Лигой. В свое время Лепаж каким-то путем добыл тайные документы Лиги и не побоялся их опубликовать. Трудно сказать, как ему удалось получить эти документы. Возможно, в самом руководстве Лиги был кто-то из его учеников, тут до сих пор нет ясности. Так или иначе документы оказались у Лепаж, и он их опубликовал. Через месяц его убили. Отработанная технология Лиги: выстрел из винтовки с оптическим прицелом, сержант полиции преследует и убивает убийцу, а через неделю сам гибнет в автомобильной катастрофе... Агентство перешло в ведение международного союза журналистов, и Люсьен Видадь, новый директор,

вая группа должна состоять из специалистов по истории военной техники и операторов по демонтажу оборудования.

— Вот он,— тихо сказал Латавец.

С капсулы дали сильную подсветку, и корабль был виден так, словно его освещали яркие солнечные лучи.

Он был по-своему красив, этот старый корабль. Мы привыкли к нашим кораблям, с их многослойными, подвижными, причудливо изгибающимися полями, сквозь которые видны звезды. Мы привыкли к кораблям, похожим на ожившее венецианское стекло. Привыкли к мягкому зеленоватому ореолу гравиполя, вспыхивающему при перестройках корабля. А на экране был совсем иной корабль — с резкими контурами, с отчетливо различной фактурой металла (видны были даже сварные швы), с четкими тенями от многочисленных выступов на длинном цилиндрическом корпусе. На высоких, похожих на мачты, опорах застыли черно-белые паруса антенн.

От корабля медленно отделилась серебристая капля, пошла куда-то в сторону, потом остановилась и словно замерла в пространстве.

— Торпеда,— хмыкнул Латавец.— По нашим данным, людей на корабле нет. Работает автоматика.

Видно было, как увеличиваются размеры светлого диска: торпеда быстро приближалась.

— Корабль напичкан такими игрушками,— сказал Латавец.— В общем, это не страшно. Хуже, что он заминирован.

Латавец нашел архив, но шансы добраться до документов были близки к нулю. Автоматы будут защищать корабль до последней возможности, а потом уничтожат его. Агентству грозят серьезные неприятности. На планетах или в Диске все происходило бы под наблюдением множества авторитетных комиссий, и корабль по крайней мере взорвался бы в соответствии с правилами, инструкциями и наставлениями...

Торпеда резко рванулась вперед — и экран полыхнул белым пламенем. Это был ядерный взрыв, нам показали его со стороны, с борта другой капсулы. Зажглось взломаченное солнце, ослепительный свет мгновенно затопил небо, стер звезды...

Латавец шумно вздохнул.

— Видите, что происходит...

Он стал объяснять соответствующие статьи навигационного кодекса: «Агрессивные действия... корабль следует рассматривать как опасно управляемый или опасно запрограммированный объект... обязаны принять меры...»

Операцию вели по хорошо продуманному сценарию, это чувствовалось. Экспедиция агентства занимается киносъемкой в свободном пространстве — вполне законное дело. Происходит случайная встреча со старым кораблем; экспедиция подвергается атаке и вынуждена принять меры для обезвреживания агрессивного объекта — все в полном соответствии с законом. Космоинспекция и навигационный суд не смогут предъявить никаких обвинений.

Вот он, звездный час Тадеуша Латавца! Здесь, в вагоне спидвея, сидящая впереди меня парочка оживленно обсуждает что-то свое, но нетрудно представить, что сейчас творится на Земле, на планетах, в экосферах... Миллиарды людей смотрят передачу — как в лучшие времена легендарного Жана Лепажа. В архиве Промышленной Лиги ключи ко многим загадкам истории последних полутора веков. Вся правда о войнах, переворотах, убийствах, расизме, вся правда об изощренной эксплуатации, о механике наживы, о политиканстве, подкупках и демагогии, вся правда о днях, когда не раз стоял вопрос, быть или не быть цивилизации...

Латавец смотрел на свой экран (там был корабль, на этот раз съемку вели издалека) и, казалось, совершенно не думал о зрителях. Выглядело это вполне естественно, но я-то понимал, что хитрющий Латавец просто нашел выгодную для себя форму комментирования: идет работа, тут не до красноречия, если хотите — пожалуйста, можете смотреть.

Только сейчас я заметил, что стена, на которой висел портретный иконостас, не плоская, а полукруглая. Латавец был не у себя в кабинете, а в космосе.

— Не отвечает на сигналы. — Латавец попытался изобразить огорчение. — Что тут поделаешь... Придется отправить туда... гм... представителя. В старину это называлось «десантом».

Он помолчал, давая возможность почувствовать острогу ситуации: кому-то предстояло добраться до кораб-

ля, стреляющего ядерными торпедами. Потом не спеша объяснил:

— Корабль уходит из Солнечной системы. Надо изменить его курс. Мы пошлем туда человека под прикрытием защитного поля. Капсула будет окружена свернутым полем. У нас тут случайно оказался подходящий генератор...

А если это Юна, подумал я, если именно ее и пошлют на корабль?

Латавец говорил о том, что экспедиция — опять-таки случайно! — располагает необходимыми запасами энергии, что их хватит на полную свертку поля и что благодаря этому капсула будет совершенно невидимой, но я не вслушивался в эту болтовню. Мне было не по себе от мысли, что Юне придется идти на такой риск. Я пытался убедить себя, что это не Юна, не обязательно Юна... Но с непреложностью математической теоремы получалось, что у Латавца просто не было, не могло быть иного выхода.

Расход энергии на создание свернутого поля зависит от замкнутой в этом поле массы. Нельзя замкнуть обычную капсулу, рассчитанную на трех пилотов. Не существует таких генераторов. У Латавца была единственная возможность: взять нестандартную капсулу, пилотируемую одним человеком, умеющим работать за троих. Достать капсулу с объединенным управлением нетрудно: лет тридцать—сорок назад такие капсулы были в каждом училище, тренировка на них входила в обязательную программу обучения. Потом усложнение техники и углубление специализации привели к тому, что нормой стали экипажи из трех человек. Но одиночные капсулы кое-где сохранились, я сам видел одну такую капсулу на Ганимеде.

Одиночная капсула и пилот, умеющий ее вести... Что ж, есть тысячи пилотов, умеющих управлять одиночками. Почему обязательно Юна?..

— Капсула пошла к кораблю, — удовлетворенно произнес Латавец. — Можете посмотреть, как это выглядит. Собственно, это никак не выглядит, капсула просто не видна, но именно это нам и нужно. Локаторы корабля бессильны... Через полторы-две минуты капсула будет у корабля.

На экране было звездное небо. Где-то там, на фоне бесконечных звезд, шла невидимая капсула, прикрытая силовым полем. Управление свернутыми силовыми полями — это отдельная специальность. Ориентация и навигация сквозь свернутые поля — еще одна специальность. Вот ведь что получается: чтобы пилотировать одиночную капсулу, спрятанную в свернутом поле, надо владеть пятью специальностями. По крайней мере пятью специальностями: кто знает, что придется делать на корабле. Какие уж тут сомнения. Конечно, это Юна, только Юна... Ничего теперь не изменишь.

Латавец основательно разработал операцию, и все-таки мне было не по себе: угнетающе действовало сознание полного бессилия. То, что я видел на экране, произошло шесть-семь часов назад и уже чем-то кончилось.

Рано или поздно наши ученики должны были принять участие в настоящем деле. Захват архива Промышленной Лиги — именно такое дело. Но почему Латавец, черт его побери, ничего нам не сказал?.. Я мог бы пойти сам. Я бы настаивал на этом, доказывал, спорил... Хотя, конечно, ребята должны справиться лучше: я слежу за их тренировками, а они тренируются — существенная разница.

Все они подготовлены лучше меня. Но Марата послать нельзя: слишком буйная у него фантазия; он ухитрился натворить что-то даже на тишейшей биостанции Хагена... Кит Карпентер? У парня задатки блестящего теоретика, но к практике он равнодушен. Внешне это пока никак не проявляется и все-таки... Нет, Кита тоже нельзя послать. Ларс Ульман? Что ж, он лидер четверки. Смел, надежен, удачлив... За все годы ни одной неудачи, ни одного поражения. Он не отступит, даже если надо будет отступить.

Значит, Латавец не ошибся, выбрав Юну. Хотя, как сказать... Есть психологический тест Эс-270, разработанный институтом в Сиднее. Это тест на прогнозируемость поведения в необычных ситуациях. Когда-то индекс по Эс-270 был у меня вдвое ниже нормы, и Хедлунд частенько на это жаловался. У Юны Эс-270 иногда равен нулю. И смены бывают резкие: вчера индекс был в норме, сегодня он у нуля...

На экране промелькнула довольная физиономия Латавца и тут же появился корабль: съемка велась с

рук, оператор стоял на наружной поверхности корабля. Изображение дрожало и дергалось — камеру устанавливали на штатив. Что-то заслонило объектив, потом вспыхнул яркий луч осветителя. В нескольких шагах от камеры стоял человек в космическом скафандре. Зеркальное стекло шлема не позволяло разглядеть лицо человека. Теперь у меня не было сомнений, что это Юна. Есть шлемы с радиационной защитой, у них тоже зеркальные стекла. Но, судя по скафандру, это был обычный шлем; просто Латавец не хотел, чтобы видели десантника. О Гродосе мало кто знал, и Латавцу было бы трудно объяснить, почему он посылает девчонку на такое опасное дело.

Человек сделал несколько шагов в сторону и принялся устанавливать вторую камеру на подбежавший откуда-то автомат-паук. По походке ничего нельзя было определить: походка искажалась магнитными ботинками. Но человек держался уверенно, словно уже не раз высаживался на старинные корабли. И я поймал себя на мысли: если это Юна, она не зря училась на Гродосе...

Медленно переставляя суставчатые ноги, паук пошел по обшивке корабля.

— Там всякое может быть, — сказал Латавец. — Мины... и прочие опасности. Автомат осмотрит наружную поверхность корабля, десантник пойдет за автоматом.

Не знаю, кто управлял камерой, но съемка велась мастерски. Узкий луч света ощупывал титановую броню, покрытую оспинами и шрамами пылевой эрозии. Паук осторожно продвигался вслед за лучом, а вокруг — едва подсвеченные — проступали контуры каких-то труб, поднимались вверх массивные основания антенн, огромными подковами возвышались швартовые скобы. Даже на моем маленьком экране были видны звезды, много звезд, и я вспомнил «Гамлета» в театре на Релли. Звездное небо было там главной декорацией, а может быть и главным действующим лицом: яркое и тревожное небо Гамлета и тусклое, закопченное дымными факелами небо дворца. Все действие шло ночью, и хотя текст остался без изменений, у меня надолго сохранилось ощущение необычности.

Луч света уперся в гладкую полусферу, выступающую из обшивки корабля.

— Прекрасно,— сказал Латавец,— это нам и нужно. Защитный кожух антенн маневровой системы. Таких пузырей должно быть восемь или десять. Если их удастся вывести из строя, мы потянем корабль полями, и он не будет сопротивляться.

Паук обошел вокруг кожуха, постоял, словно в раздумье, и вдруг побежал куда-то в сторону.

— Что такое...— удивленно произнес Латавец.— Странно. Там шлюз... Люк шлюзового отсека открыт. Очень странно... На корабле не должно быть людей.

Ну вот, подумал я, первая неожиданность и притом опасная неожиданность: теперь Латавец захочет посмотреть — что там, внутри...

Паук поднял камеру. Он стоял метрах в двух от люка; было видно, что крышка не просто открыта, а сорвана взрывом. («Минутку,— поспешно сказал Латавец,— надо кое-что уточнить».) Обежав вокруг люка, паук остановился у крышки, потянулся к ней передними ножками. Вспыхнула электрическая дуга: паук приваривал крышку люка к корпусу корабля. Латавец сказал:

— Наш... гм... сотрудник приказал пауку закрепить крышку. Предки были хитры по части всяческих ловушек... Так, прекрасно. Теперь крышка не сдвинется с места.

Уцепившись за крышку люка, паук заглянул внутрь. На экране появился шлюзовой отсек — пустое помещение перед шлюзом. Схема по тем временам стандартная: люк открывается только изнутри корабля, а дверью в шлюз можно управлять и снаружи, из шлюзового отсека. Если это так, путь внутрь корабля открыт, хотя и непонятно, кто сорвал крышку люка.

Первоначальный план — вывести из строя маневровые антенны и потащить корабль силовыми полями — был еще где-то в пределах разумного риска. Но лезть без подготовки внутрь заминированного корабля — это уже чистое безумие. Зная Латавца, я склонен думать, что он с самого начала надеялся проникнуть в корабль. А тут — такая возможность: кто-то открыл люк шлюза...

На стене шлюзового отсека поблескивали кнопки, и паук, побегав по отсеку, решительно направился к ним. У кнопок (их было две, просто две кнопки на гладкой металлической панели — и больше ничего) он остано-

вился и замер. Кровь стучала у меня в висках: вот сейчас произойдет непоправимое... Прошло несколько томительных долгих минут (паук не двигался), потом Латавец объяснил: «Извините, мы решили, что десантник должен на время уйти в капсулу. Не исключено, что шлюз открывается каким-то особым сигналом. Если сигнал не тот... мало ли что может произойти...»

Паук нажал кнопку, дверь шлюза медленно открылась. Ничего не случилось, Латавцу бешено везло, но я теперь решил: все, хватит, я никогда не буду посылать ребят к Латавцу.

Появилось изображение звездного неба: работала камера, установленная снаружи корабля.

— Паук не может вести передачу сквозь стены шлюза, — сказал Латавец. — Он вернется через несколько минут, посмотрим запись.

Я следил по часам: пять минут, семь, девять... Латавец буркнул:

— Подождем.

Паук выбрался на четырнадцатой минуте, вид у него был неважный: ноги передвигались рывками, на корпусе зияли дыры, камера шаталась. Латавец показал снятые пауком кадры: шлюз, открывается внутренняя дверь, паук проходит в тесное и пустое помещение, прилегающее к шлюзу, подходит к открытой двери («Там должен быть коридор», — пояснил Латавец), переступает порог — и тут же выстрелы, паук отскакивает назад, валится на пол... Все это произошло быстро, минуты за две. Потом паук долго лежал, не двигаясь: система саморегенерации залатывала повреждения. Паук встал и, пошатываясь, направился к шлюзу.

— Пустяки, — бодро сказал Латавец. — Ловушка примитивная, что-нибудь придумаем.

В шлюзовой отсек спустился десантник, начал чинить паука. До этого у меня еще сохранялась смутная надежда, что Юну взяли только для консультаций и что десантник — кто-то другой, но теперь я видел; этот человек работает сам, без подсказок, вполне профессионально. Потребовалось всего четыре минуты, чтобы найти повреждения, перестроить и отрегулировать нейроцепи. Работа на уровне второго класса — у Юны и был второй класс по наладке нейроавтоматов. Можно, конечно, заранее подготовить какого-нибудь пилота к такой

работе. Но это уже шестая специальность, нужны годы на подготовку...

Юна открыла входную дверь и принялась разбирать панель кнопочного управления. Латавец сначала удивился, потом (наверное, поговорив с Юной) объяснил:

— Там можно вывести антенну. Если это удастся, мы сможем постоянно поддерживать связь.

Это, конечно, удалось. Все шло удивительно гладко. Паук (он бегал как новенький) благополучно миновал шлюз, за пауком внутрь корабля проник десантник. Латавец вдруг стал многословным; похоже, он начал понимать опасность этой затеи.

Паук осторожно подобрался к входу в коридор. Камера была теперь в руках у Юны. Некоторое время паук что-то внимательно высматривал в коридоре, потом из его туловища выдвинулось узкое дуло излучателя, голубоватый луч ударил в коридор, паук медленно повел лучом по стене.

— Мы ослепим систему обнаружения,— сказал Латавец и усмехнулся.— Практично придумано, не так ли?

«Мы...» Латавец сидел в своем корабле, а я ехал в спидвее...

Поработав излучателем, паук юркнул в коридор. Выстрелов не было. Теперь я хорошо представлял дальнейшее: паук будет лазать по стенам и обезвреживать ослепленные точки. Ловушка ликвидирована, коридор удастся пройти... Но дальше будут новые ловушки; шансы на благополучный исход все еще малы, очень малы.

Паук появился минут через пять — целехонький и, если это можно сказать применительно к машине, ужасно довольный успехом: очень уж торжественно он вышагивал на своих тонких ножках...

Юна пошла к коридору — и тут же отпрянула назад. На экране мелькнул узкий, изгибающийся вправо коридор: шагах в десяти на полу лежали люди.

Латавец растерянно чертыхнулся.

— Там четыре человека... пять человек,— сказал он.— В старых скафандрах. Наверное, они и открыли люк. Кто-то пытался захватить корабль семнадцать лет назад, в прошлый его прилет. Или еще раньше. Ну вот... Они вошли в коридор. Ловушка сработала не сразу, вся группа была в коридоре... пулеметы изрешетили их в упор... Я не буду это показывать.

всевозможные коммуникации и куча всяких приборов, упрятанных туда для экономии места. Латавец (звука так и не было) что-то пытался объяснить, показывал чертежи корабля...

Юна нашла единственно верное решение. Сколько бы ни было ловушек на корабле, их ставили в расчете на то, что люди будут идти по коридорам (где же еще им идти?). Юна шла *в стене*, разбирая блоки оборудования *внутри стены* и снова собирая их за собой.

Абсолютно безопасный путь. Если, конечно, умеешь разбирать и собирать любой блок корабля — энергетический, навигационный, экологический...

Д. БИЛЕНКИН

НИЧЕГО, КРОМЕ ЛЬДА

Мы летели взрывать звезду.

Романтики и любители приключений пусть не читают дальше. Наша судьба не из тех, которые могут воспламенить воображение. Путь туда и обратно занимает сорок лет. Еще год или два надо было отдать Проекту. Анабиоз позволял нам проспать девять десятых этого времени, так что на Землю мы возвращались сравнительно молодыми. Однако наука, искусство, сама жизнь должны были уйти так далеко вперед, что мы неизбежно оказывались за кормой новых событий и дел.

Ну и что тут такого? Ничего. Нам оставалось тихо и мирно доживать свои дни у подножья своей же славы. Очень долгие дни... Как вы думаете, почему Амундсен на склоне лет безрассудно кинулся искать Нобиле, к которому не испытывал никакой симпатии? Потому что ему, человеку активному, полной мерой хлебнувшему побед и риска, после всего этого невтерпёж была долгая, почетная и такая бесцветная старость.

Тогда, быть может, в далеком космосе нас ждали волнующие события, необыкновенные исследования, приключения, в которых мы могли показать себя? Отнюдь. Нам предстояло быть не героями, а техниками. Очень добросовестными, исполнительными монтажниками, не имеющими права не только на риск, но и на какую бы то ни было самостоятельность. Без этого мы не могли осуществить Проект.

Вы, конечно, понимаете, почему я пишу это слово с большой буквы. Известно, что звездолеты, как это не глупо звучит, для межзвездных полетов не годятся. При небольшой, что-нибудь порядка 200 000 километров в секунду, скорости полет даже к близким звездам растягивается на десятилетия. Околосветовая скорость позволяет достичь хоть другого края Галактики. Но тогда все губит парадокс Эйнштейна: год корабельного времени становится равным земным векам. А это делает всю затею абсурдной. В том и в другом случае люди оказываются обреченными на жалкое топтание близ Солнца, когда отовсюду призывно блещут мириады заманчивых, но, увы, недостижимых миров.

Осуществление Проекта распахивало дверь, пожалуй, и к другим галактикам. Расчеты новой теории показывали, что мгновенное высвобождение энергии, соизмеримой со звездной, образует пространственно-временной туннель, куда может скользнуть корабль. Без вреда для людей и без парадоксальных последствий.

Все это, однако, нужно было проверить. Не на Земле, понятно, и не возле Солнечной системы, которая после такого эксперимента провалилась бы в тартарары. Отбуксировать же аннигиляторы на безопасное расстояние мы не могли технически. Оставалось одно: лазерами взорвать звезду и посмотреть, что получится.

Годилась не всякая звезда. Более того, в пределах, которые нам были доступны, всем условиям отвечала всего одна звезда. Туда мы и отправились.

Верю, что фантастические описания межзвездного полета в книгах прошлого века заставляли взволнованно биться не только мальчишеские сердца. Мне очень не хочется, чтобы мои свидетельства были восприняты как развенчания романтики вообще, но правда есть правда: трудно придумать что-нибудь более скучное, чем межзвездный полет.

Судите сами. Если вы наблюдательны, то, верно, заметили, что любое скольжение по привычной колее сливает дни в серый прочерк. Ведь хорошо запоминается то, что резко отличается от жизненного фона, и совершенно неважно, где это происходит — дома или в звездолете. Только в звездолете все гораздо монотонней, потому что неожиданные зрелища возникают за иллюминаторами реже, чем за окнами квартиры, а случайных встреч и

новых лиц на корабле не может быть вовсе. Поэтому месяцы, проведенные вне анабиоза, были весьма томительными.

Для литератора или психолога тут, конечно, нашлось бы много интересного. Например, повальное увлечение играми, которое захватило даже Тимерина — создателя теории Проекта, тогда как на Земле за этим аскетом науки никогда не водилось ничего подобного. Почти у каждого возникли свои, впрочем, безобидные чудачества. Я к своему удивлению увлекся нумизматикой, обнаружив, что даже мысленное коллекционирование старинных кружков меди, серебра и золота таит в себе неизъяснимую прелесть. А поскольку книг по нумизматике на корабле не было, то знаете, что я делал? Вы, должно быть, не поверите, я сам себе плохо верю: я вылавливал со страниц романов и энциклопедий всякое упоминание о тех или иных монетах, их признаках, размере, облике аверса и реверса! Никогда не думал, что слова «тетрадрахма с афинской совой» или «рубль царя Константина» могут звучать такой музыкой...

Но — в сторону это. Пора перейти к единственному нашему приключению, которое внешне совсем не похоже на приключение, не имеет никаких его атрибутов, кроме единственного — неожиданности.

Звезда, к которой мы летели, до сих пор настолько не имела значения, что значилась просто под порядковым номером каталога. Перед отбытием кто-то предложил дать ей имя, но предложение было отвергнуто, хотя никто не мог внятно объяснить почему. Подозреваю, что здесь сработал отзвук древних суеверий. Нейтрально назвать звезду вроде бы нет смысла, а назовешь какой-нибудь Надеждой... Нет, лучше оставить, как есть.

Все, однако, развивается по своим законам, и поскольку ни один нормальный человек не будет десять раз в день повторять невразумительный набор цифр, звезда как-то само собой стала Безымянной.

В ее системе нам предстояла обширная работа. Нужно было вывести на звездоцентрическую орбиту лазерные генераторы; стабилизировать и настроить измерительную аппаратуру; собрать множество всяких предварительных данных; наконец, запустить, — но это уже в последний момент, — автомат-разведчик, который дол-

жен был скользнуть в пространственно-временной тоннель. И еще предстояла сотня других дел.

Среди них было и обследование планет Безымянной. Всего-то их было четыре. Два газовых, типа Юпитера, гиганта не вызывали особых эмоций, поскольку на них нельзя было высадиться. Ближняя к светилу, маленькая и голая планетка, радовала не больше, чем куча шлаков. Последняя была и того хуже — просто льдышка смерзшихся газов, никчемная, прилепившаяся к краю звездной системы сосулька.

Впрочем, и это сулило какое-то разнообразие после опустылевшего вида немигающих звезд и знакомых, как собственная ладонь, корабельных помещений. Все жаждали заняться второстепенным делом обследования обреченных на гибель планет, и жребий принес мне удачу: я попал в группу, которая должна была ступить на поверхность мертвого мира.

Мы отбыли, высадились, и тут нас — как обухом по голове!

Вокруг был строгий бело-синий мир. Всюду громоздились скалы с зеркальными, серебристо-матовыми, хрустальными башнями, выступами, порталами, стрельчатыми сводами, ажурными ротондами, галереями и колоннами. Тут была готика и роккоко, Тадж-Махал и Кжи, все, что создал гений зодчества, и все, что ему, похоже, только предстояло создать.

Формы льда и без того выразительны, а тут еще сила тяжести меньшая, чем на Земле, сложный и разный состав материала. Арки, казалось, летели; их просто нельзя было представить неподвижными, ибо мгновение покоя должно было все обрушить. Какой-нибудь циклопический свод подпирали стеклянные былинки колонн, а в тени нависших карнизов вполне мог расположиться Нотр-Дам. Сами карнизы более всего напоминали крылья готовых упорхнуть бабочек; их морозный рисунок туманно двоился в тончайшей пластине полупрозрачного льда.

Впрочем, не это делало пейзаж исключительным. Небо над планетой обычно оставалось мглистым. Но изредка оно очищалось, и тогда — мы так и не разобрались в причинах — диск звезды странно искажался воздухом.

Свет ее начинал дробиться, как прижатая пальцем

струя. Лучи падали, высекая обвалы радуг. Из трещин, граней и сколов летели искры, чей отблеск, стократно преломленный, наполнял воздух порхающим блеском. Наши привычные к тусклым краскам глаза не выдерживали!

Лед становился текучим и светоносным. В нем строились и преображались цепи изумительных построек. Призрачные города, которые блистали, росли, вставляли монументами, меркли, менялись, оживали вновь — сразу, везде и в озарении радуг! То было искусство какого-то четвертого, пятого волшебного, дикого измерения!

За все эти часы мы не сделали ни единого замера, ни одной записи, да и не способны были поступить иначе. Нами владело чувство более тонкое и глубокое, чем восторг или радость. На корабле, понятно, видели все, но и оттуда, — по-моему, впервые в истории звездных экспедиций, — нам не напомнили о нашей первоочередной обязанности...

Потом, когда мы вернулись, все пошло так, будто ничего не случилось.

Иногда я завидую тем, кто жил раньше, — они могли вести себя с такой непосредственностью! «Кровь бросилась ему в голову, и он обнажил шпагу...» Дело не в том, что мы шпаг не носим, а в том, что их вытаскивание по любому поводу кажется нам детским. Конечно, все и тогда было не так просто, но все же решения касались обычно куска хлеба, удовлетворения страстей, защиты собственного благополучия, и существовал отработанный, из поколения в поколение передаваемый набор реакций человека на то или иное жизненное обстоятельство, поскольку сама жизнь менялась мало. Потом жизнь стала усложняться, а с ней вместе усложнялись и реакции. Человек оказался вынужденным подавлять стихийные порывы, потому что в новой и запутанной обстановке они только ухудшали положение.

На планете все мы получили встряску, какой еще не испытывали, и оказались перед трагичным выбором. Что бы нам дал немедленный и бурный выплеск эмоций? Скорей всего он привел бы к конфликту, а ссора на звездолете вещь более опасная, чем пожар. Все надо было продумать — спокойно, хладнокровно, наедине, с учетом всех последствий, благо временем мы располагали. Так

нас учили, так только и можно было в звездных экспедициях, где от поступка одного человека зависел коллектив. В некотором смысле мы представляли собой единого думающий мозг. Поэтому я не буду описывать личные переживания участников экспедиции, кто как молчал, кто был угрюм, а кто пробовал улыбаться. Все это второстепенно перед лицом неприятной альтернативы, которая перед нами стояла.

Взрывая звезду, мы губили планету. Своими руками мы должны были уничтожить шедевр природы, равного которому нет.

Это примерно то же самое, что взять и лишить себя красок вечерней зари. Нам предстояло ограбить человечество, которое и не подозревало, чего лишается.

Так стоял ли того Проект?

Вот о чем думал каждый из нас, ведя сам с собой спор и битву, от которой изнемогал разум.

Проект передавал нам ключи от пространства. Погубив одну прекрасную планету, мы получали взамен миллионы новых. Прочь сомнения!

Так, но природа неповторима: погубленной красоты мы уже нигде не найдем.

С другой стороны, что в этой планете такого? Она прекрасна, видеть ее неизведанное счастье. Но это всего-навсего лед, ничего, кроме льда, тогда как польза Проекта реальна и ощутима. И пусть сколько угодно бунтуют чувства!

Будет ли, однако, у нас Галактика или нет, наши материальные интересы ничуть не пострадают. Значит, Проект удовлетворяет нашу страсть к познанию? Только это? И ради одной потребности надо поступиться другой? Просто потому, что одну ценность мы признаем большей, а другую меньшей?

Но какую? Если бы к началу XXI века не был освоен ближний космос, то промышленность по-прежнему теснилась бы на Земле. А это вызвало бы перегрев земного шара. Над такой перспективой не задумывались в годы первых стартов, но это ничего не меняет: выход в космос был жизненной необходимостью. И точно такая же необходимость, пусть мы не в силах ее осознать, движет нами и теперь.

Все логично... Но если бы перед нами встал выбор — лишиться лунных станций или лунных ночей, то чему

было бы отдано предпочтение? Случайно мы приняли шкалу, в которой звездолет имеет ценность, а «Мадонна» Рафаэля, как и восход солнца, бесценны? Очевидно, за тягой к прекрасному стоит такая же необходимость, как и за стремлением к знанию. Иначе ничего нельзя понять.

Так размышлял я бессонной ночью.

Кому, однако, нужна волшебная, прекрасная, как несбывшийся сон, планета, если на поездку к ней надо тратить жизнь?

Точно освежающим ветром повеяло в каюте, когда я отыскал этот решающий аргумент.

Решающий? С осуществлением Проекта такие расстояния станут пустяком. И тогда — вот тогда! — на первый план выйдет другое: какой ценой это достигнуто?

Легко было представить, что станут думать люди тогда... Почему я, Тимерин, все мы не вернулись, не доложили о новом обстоятельстве? Нашли бы, верно, другой способ осуществления Проекта, вышли бы в Галактику на сто лет позже, но вышли бы! И не такой ценой.

Почему они все решили сами?

Потому что...

Эта мысль была самой ужасной, и я ее отогнал. Конечно, она вернулась. Кто больше всего был заинтересован в осуществлении Проекта? Мы! Потому что мы отдали ему свою жизнь. Так не этот ли мотив перевесил все другие соображения?

Так не скажут, но так о нас подумают. И не без оснований.

А объективно? Хорошо, красота мира не имеет цены и теоретически ее нельзя приносить в жертву. Практически люди делали это сплошь и рядом. В минувших веках. А потом наступала расплата. За отравленные реки, опустошенные леса, обезображенные пейзажи. Нам был преподан суровый урок, и мы зареклись: никогда, ни при каких обстоятельствах!

Никогда, ни при каких? Крайность — всегда ошибка. Галактика с ее миллиардами звезд и планет — это Галактика. Это выход человеческой энергии, спасение от застоя, безудержное развитие. Там, в открывшихся просторах мы найдём то, о чем не мечталось. Удивительные миры, невообразимые проявления жизни, мудрость других цивилизаций. Так повернуться и уйти, чтобы все это осуществилось веком позже?

Подумаешь, столетие...

Вот именно. Если бы кто-нибудь на столетие отсрочил появление паровой машины, какими мы были бы теперь?

Решения, которое бы устраивало всех, не было.

Но и думать до бесконечности тоже было нельзя.

Мы так хорошо понимали друг друга, что без всякого опроса в один и тот же момент нам стало ясно, что все уже передумано и никто не нашел выхода. И что пора принять решение, иначе мы изведем себя.

В «добрые старые» времена у людей, как правило, оставалась спасительная лазейка: лидер говорил «да» или «нет», остальные присоединялись, успокаивая совесть тем, что лидеру видней. Мы же ни на кого не могли переложить ответственность — таковы нормы нашего времени.

Разговор начал психолог. Ни с того, ни с сего он вдруг предложил нам просмотреть стереозаписи того, что мы видели на планете.

Никто не возразил, и у многих затеплилась надежда. Неспроста же психолог предлагает нам этот просмотр. Может быть, он все-таки нашел выход?

Перед нами стоял кофе, мы к нему не прикоснулись. Перед нами возникали и меркли призрачные города, творилось чудо красок — бесконечное, потрясающее, берущее за сердце болью восторга и радостного изумления. Запись многого не передавала, и все равно, все равно... По нервам невыносимо ударила звякнувшая под чьей-то рукой ложечка.

Потух последний кадр, и минуту-другую мы не могли понять, что более реально — вот это помещение, стол и кофе на нем, или то великое, волшебное, что мы только что видели.

Из отрешенности нас вывел голос психолога.

— Должен разочаровать вас. Мое предположение, конечно, не выход, но... Нажатие кнопки — и записей этих нет, будто никогда и не было. Также чисто я берусь стереть у всех память об этой планете. А где нет памяти, там нет и терзаний, верно? Мы осуществим Проект, люди никогда не узнают, чего лишились, чувство вины никого не будет мучить! Стереть?

Молчание. А потом...

— Не надо! Все будем помнить!! Не смей!!!

Впервые я видел лица своих друзей искаженными. Да, чтобы я там ни говорил об эмоциях, а природа берет свое.

Но крики затихли, психолог смущенно развел руками, мы вновь стали самими собой...

Тогда холодно и внешне спокойно мы приняли решение. Вы знаете, каким оно было.

ВИКТОР КОЛУПАЕВ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ

Девочка проснулась, но лежала не шевелясь и не открывая глаз. Ее разбудила тишина. Потом девочка осторожно открыла глаза и увидела над собой лицо мамы.

Утро еще не наступило, только чуть посветлел восток. Едва заметный ветерок слегка шевелил мамины волосы, распущенные по плечам.

— Что с тобой, доченька?

Девочка протянула вверх ладони и обняла маму за шею.

— Хорошо дома...

— Хорошо. Ты спи. Еще рано.

— Я не хочу спать. Там тишина, а потом пусто, и я просыпаюсь.

— Хочешь, я посижу с тобой?

— Посиди и спой мне песенку. Помнишь, которую ты мне пела, когда папа ремонтировал отражатели и у него заело трос, и он никак не мог попасть к нам? Про самый большой дом.

— Я спою тебе другую. Про лес и солнце.

— А ту ты уже не помнишь?

Мама чуть покачала головой и погладила девочку по черным, рассыпавшимся по подушке волосам. Она не забыла эту песенку. Она не знала ее. Она не знала почти ничего, что касалось ее дочери. Да и кто это знал? Мама чувствовала себя виноватой перед девочкой.

— Закрой глаза, хорошая моя. Я буду тихо-тихо петь. А ты ни о чем не думай. Просто слушай.

И мама запела. У нее был низкий и ласковый голос. И, наверное, она любила эту песню. Девочка заложила руки за голову и, не мигая, смотрела маме в глаза, слушала и молчала. А потом мама вдруг поняла, что девочка не видит ее, что она смотрит сквозь нее, что в мыслях своих она не на этой увитой цветами веранде, а где-то далеко-далеко.

...Едва заметное привычное тиканье. Оно настолько привычно, что без него стало бы страшно. Без него — абсолютная тишина. Это ласково тикает индикатор нормальной работы всех жизнеобеспечивающих систем корабля. Девочка сидит в глубоком кресле рядом с креслом отца и играет самодельной куклой. Куклу сделала ей мама из обрезков своих старых платьев, которые не пошли на одежду самой девочке.

Отец хмуро вглядывается в индикаторы приборов, снова и снова вводит в математическую машину колонки цифр, изменяет программу и, дождавшись ответа, составляет новую. Обзорный экран открыт только на одну треть, и в него видны тусклые точки звезд. Туда, к одной из них мчится корабль.

— Там наш дом, — внезапно говорит девочка и показывает рукой в самый центр экрана.

— Да, маленькая моя. Там наш дом.

Девочка привыкла показывать в центр экрана. Так ее научили отец и мать. Так и было раньше. Но сейчас ее палец указывал на какую-то другую звезду, которая теперь была в центре экрана. Отец ничего не говорил ей о том, что корабль сбился с курса. Ей это еще не нужно было знать. Да она бы ничего и не поняла.

— Эльфа, тебе не скучно сидеть здесь?

— Нет, па... Я учусь быть капитаном большого-пре-большого корабля.

«Нет, доченька, я постараюсь, чтобы ты никогда не улетала с Земли», — думает отец.

А мама спит. Четыре часа сна. Потом четыре часа они все будут вместе. Потом заснет на четыре часа папа. И Эльфа вместе с ним. И тогда мама будет решать головоломку: как повернуть корабль к Земле.

Дверь открылась, и на пороге появилась мама. Ох, как красиво она была одета! Она все время меняла пла-

тья, комбинировала что-то из них, перешивала. И прическа у нее была красивая. Волосы рассыпались по плечам, и узенький золотой ободок пересекает лоб. Мама сейчас похожа на добрую волшебницу из сказки. Девочка так и говорит:

— Ты сейчас волшебница?

— Она у нас волшебница,— радостно подхватывает папа.— Правда ведь?

— Правда, правда!

— А если правда,— говорит мама,— то закройте глаза.

Капитан и его дочь закрывают глаза, и у них в руках вдруг оказывается по яблоку.

Эльфа даже чуть повизгивает от восторга. А папа незаметно шепчет. Он, кажется, даже немного сердит.

— Ты опять не спала?

— Нет, нет. Я спала. А потом была в оранжерее.— Она смотрит на него умоляюще.— Ничего?

...Мама любит петь. Уже почти совсем рассвело, а она все гладит девочку по головке ласковыми пальцами и поет. Поет про смешных зверюшек и ручеек, голубой-голубой, чистый-чистый. Девочка вдруг чуть приподнимается на локте.

— Мама, ты говорила, что у нашего дома будет голубой потолок... и черный.

Мама чуть было не сказала: «Разве я так говорила?», но вовремя спохватилась.

— Хорошо, доченька. У нас будет голубой потолок. А ночью, когда темно, он будет черным.

— Со светлячками?

— Со светлячками? Ну, конечно, со светлячками.

— И по голубому будут плыть белые кудри?

— Да,— согласилась мама и подумала, что это можно будет сделать.

— А иногда потолок будет разрываться пополам?

— Все будет, как ты захочешь.

— А у нас правда самый большой дом?

— Ну, не совсем. Есть и больше. А тебе хочется жить в самом большом доме?

— Ты говорила, что я буду жить в самом большом доме.

— Людям лучше жить в маленьких домах. Таких,

как наш. Чтобы кругом был лес, трава и речка, и обрыв над речкой. А в лесу...

— Да, так лучше. Только ты говорила...

— Спи. Еще можно поспать. Еще только светает и очень рано. А утром мы пойдем с тобой на ферму. Ты ведь не видела, как доят коров?

— Да, я пойду.— Девочка села в кровати. Ночная рубашка спустилась с ее худенького плеча, но она не заметила, не поправила ее.— Я пойду. Я хочу идти. Ты отпустишь меня, мама?

— Я отпущу тебя, только сначала мы попьем молока... Значит, тебе не понравилось у меня?

— Мне очень понравилось у тебя. Но я хочу идти. Я хочу посмотреть на другие дома. Ты ведь не обиделась, мама?

— Нет, нет. Но мне очень не хочется отпускать тебя.

Девочка оделась. Они вдвоем выпили молока, и Эльфа, осторожно ступая по чуть влажному от росы песку, дошла до садовой калитки и помахала маме рукой:

— Я пошла!

Девочка ушла, и тогда женщина повернула небольшой диск на браслете. Диск вспыхнул и матово засветился.

— Главного воспитателя,— сказала женщина.

На экране тотчас же возникло лицо мужчины.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Она... она ушла,— сказала женщина.

А девочка шла по проселочной дороге, иногда поднимая голову вверх и смотря на звезды, утасаживающие в летнем утре.

...Капитан последнее время появлялся в рубке корабля редко. Эльфа вообще стала видеть его редко. И, когда он все же появлялся, весь замасленный и испачканный металлической пылью, она тотчас же взбиралась ему на колени, не давая даже умыться. Он играл с ней, потом осторожно снимал с колен и исчезал. Теперь Эльфа почти все время проводила с мамой.

Потом начались странные события. Сначала отец вынес ее диван в маленькую библиотеку, а мама сказала, что она будет спать здесь. Эльфа только на миг представила себе, как ее окружает темнота, и залилась слезами.

Отец впервые строго посмотрел на нее, она по-детски удивилась этому и успокоилась. Ей казалось, что первую ночь она не спала. Но приборы, датчики которых папа предварительно вмонтировал в диван, показали, что она плакала лишь пятнадцать минут и сразу же уснула.

А однажды отец и мама посадили ее в кресло за небольшим круглым столом в зале отдыха и сказали, что она уже почти взрослая. (Ей и вправду уже было шесть лет.) И, чтобы проверить, насколько же она взрослая, они решили запереть ее в библиотеке на неделю. Неделю она не должна видеть их. Мама пыталась было что-то сказать про три или четыре дня, но папа был тверд: неделю.

— Это очень нужно? — спросила Эльфа.

— Очень, — сказал папа.

— Я хочу, чтобы ты увидела наш дом, — сказала мама.

— Куклы вы у меня не отберете?

— Нет, — сказал папа. — Ты можешь взять с собой все, что захочешь. Мы просто решили проверить твою храбрость.

На следующий день ее заперли в библиотеке. Сначала ей нисколько не было страшно. Было даже интересно. Потом стало немного скучно. А к вечеру она расплакалась, но к ней никто не пришел. Отец в это время что-то сверлил в небольшой мастерской, расположенной в подсобных помещениях корабля. А мама сидела за вычислительной машиной. Рядом с пультом был установлен небольшой телевизор, на экране которого плакала девочка. И чем больше она плакала, тем больше морщинок появлялось на мамином лице, но она продолжала делать вычисления. Иногда ее вызывал по телефону капитан и спрашивал:

— Ну, как вы там? Держитесь?

— Держимся, — бодро отвечала она.

— Ради нее держитесь обе.

Через неделю она вышла из библиотеки. Отец носил ее на руках, а мама все время говорила:

— Теперь все будет хорошо. Я верю, что все будет хорошо.

После недельного затворничества Эльфа будто и вправду повзрослела. Мама учила ее мыть посуду, гото-

вить пока еще нехитрые обеды, стирать под краном платица. Она учила ее читать и писать.

А однажды Эльфа с отцом вышли из корабля. В скафандрах, конечно. Они долго носились в пустоте, то удаляясь от корабля, то вновь приближаясь к нему.

— Ты не боишься остаться здесь одна? — спросил ее отец.

— Нет, — храбро ответила девочка.

В десять часов утра Эльфа подошла к стоянке глайдеров. Она протопала несколько километров и немного устала, хотя ей и нравилось идти по полям и лесочкам, разговаривать со встречаемыми людьми и спрашивать, не знают ли они, где находится самый большой дом — ее дом. Если ей отвечали, что знают, где такой дом, она начинала расспрашивать о нем. Нет, это все были другие дома, не такие, о каком рассказывала мама. Но она не отчаивалась, потому что кругом было весело, желтое-прежелтое ослепительное солнце сияло в голубом небе, а кругом были цветы, незнакомые, красивые, названия которых она еще не знала.

И всегда, стоило ей захотеть, рядом оказывалась мама или папа.

На стоянке глайдеров было только две машины. В одну грузили какие-то большие ящики, второй был уже готов взлететь. Эльфа смело подошла ко второму и знаками попросила пилота открыть дверцу.

— Эльфа! — удивился тот. — Ты откуда здесь взялась?

— Пап, я хочу с тобой полетать.

— Полетать? Это хорошо. Это можно. Но ведь я оказался здесь случайно и больше не вернусь сюда. Придется тебя потом с кем-нибудь отправить.

— Я останусь с тобой, папа.

— Со мной? Ты это твердо решила?

— Нет еще, но у тебя красная машина.

— Ну хорошо. Садись.

Он осторожно втащил Эльфу в кабину, захлопнул дверцу. Глайдер взвился вверх.

Пилот показал рукой вправо и вниз и, когда девочка прильнула к стеклу, рассматривая с детским восторгом то, на что ей указали, осторожно повернул диск на браслете левой руки. Диск заблестел, заискрился.

— Главного воспитателя,— сказал пилот.

На матовом маленьком экране появилось лицо человека. Он вопросительно кивнул.

— Она у меня в кабине,— сказал пилот.— Глайдер типа «Божья коровка» № 19-19. Лечу в таежный поселок на Алдане.

Человек на экране улыбнулся:

— Ну что ж. Придется тебе взять ее туда. Мы предупредим людей поселка. Как она тебя называет?

— Папой.

— Спрашивала про самый большой дом?

— Нет еще... А его так и не разыскали?

— Нет,— покачал головой главный воспитатель.— Ведь она не знает, где он был. Да и был ли он вообще? Скорее всего, это какая-то детская гипербола. Жаль, что это становится ее навязчивой идеей... Но пусть пока путешествует. Благодарю за сообщение.

Эльфа с удивлением смотрела вниз на зеленые пятна лесов, слегка пожелтевшие поля, синие прожилки рек и крапинки озер.

— Это ковер? — спросила она.

— Где? Вот это? Очень похоже на ковер. Тебе нравится?

— Мне нравится. Это очень похоже на мой дом.

В таежном поселке глайдер сразу же обступили геологи. Они уже знали о прибытии Эльфы.

— Здравствуй, мама,— сказала Эльфа невысокой женщине, одетой в голубой комбинезон. У женщины были черные жгучие глаза, загорелое лицо и короткие черные волосы.

— Здравствуй, доченька...

...Мама тогда тоже была в голубом комбинезоне, в котором она всегда появлялась, прежде чем надеть скафандр. И отец был в голубом. Последние дни они оба подолгу бывали с ней. Отец играл с Эльфой, часто сажая ее в маленькую одноместную ракетку, рассказывал, зачем здесь разные рычажки, кнопки, разноцветные глазки. Она уже разбиралась во всем этом, вернее просто помнила своим детским, еще не отягощенным грузом знаний умом. Во всяком случае она могла водить ракетку. Несколько раз она стартовала с корабля, удаляясь от него на несколько десятков километров, и там делала

развороты, меняла ускорение, тормозила и снова возвращалась к кораблю. Управление ракеткой, конечно, дублировалось с корабля.

Отец был необычайно ласков с нею. И мама... Она будто все время сдерживала слезы. Словно ждала чего-то. Ждала и боялась.

И вот однажды отец сказал:

— Сегодня.

Они снова усадили ее в кресло в библиотеке. А сами сели напротив, совсем рядом, чтобы можно было держать ее руки в своих.

— Эльфа, — сказал отец. — Ты уже взрослая девочка. Помнишь, мама рассказывала тебе о самом большом доме?

— Она мне про него пела.

— И пела про него. Это твой дом. Ты должна жить в нем. И ты туда полетишь в маленькой ракетке, в которой ты уже столько раз летала.

Девочка радостно захлопала в ладоши. Она так хотела увидеть этот дом!

— Ты будешь лететь одна. И ты будешь лететь долго-долго. Но ты ведь не боишься быть одна?

— Нет, — храбро ответила девочка.

— Ну и молодец. Ты не должна скучать. Я сделал тебе маленького смешного человечка. Он умеет ходить и даже разговаривать, хотя и не очень хорошо. Ты возьмишь его с собой.

— А вы? Почему вы не полетите со мной?

— Но ведь ракетка рассчитана только на одного человека. Да и потом нам ведь нужно работать. Так ведь? — обратился он к жене.

Она не смогла ответить, только стиснула руку девочке да сглотнула комок в горле.

— Но вы прилетите позже?

— Да, да. Мы постараемся. Но пока нас не будет, у тебя дома будет другая мама и другой папа. Ты их сама выберешь.

Девочка недоверчиво кивнула головой.

— Ты умеешь делать все, что тебе нужно. А когда ты подлетишь к Земле, тебя встретят. Тебя обязательно встретят.

И вот она уже сидит в ракетке. Рядом с ней маленький смешной человечек — робот. На коленях кукла. Над

головой пространство в полметра. Перед ней пульт, некоторые ручки и тумблеры которого закрыты колпачками, чтобы Эльфа не могла их задеть случайно.

В ракетке все предусмотрено. Запасы пищи, воды и воздуха; книги, написанные от руки, которые сделала сама мама. Бумага, карандаши. Маленький эспандер, чтобы развивать мускулы рук, и велосипед, намертво прикрепленный к полу. Всего четыре кубических метра пространства.

— Ведь ей всего должно хватить? — в который уже раз спрашивает мама у капитана.

— Ей хватит всего на полтора года. Но ее должны встретить раньше. Через четыреста дней.

— Она не...

— Она не пройдет мимо Солнца. Я считал все много раз, да и ты проверяла.

— Да, проверяла...

Под креслом ракетки небольшой ящик с бумагами и микропленками. Это их отчет об экспедиции. Экспедиции, в которую они вылетели вдвоем. Они сделали все, что было нужно. Вот только не могут вернуться на Землю, в свой дом. Но она, Эльфа, должна увидеть Землю.

Почти год отец переделывал эту маленькую ракетку, последнюю из трех, когда-то имевшихся на корабле. Он предусмотрел все.

Мама едва сдерживается. Как только ракетка стартует, она упадет, не выдержит, забьется в плаче. Ведь она никогда больше не увидит свою дочь! Никогда!

— Пора, — говорит папа. И движения его стали какими-то неестественными, угловатыми. — Эльфа, ты летишь к себе домой. Это твой дом. Самый большой дом в целом мире, во всей Вселенной...

— Эльфа... — шепчет мама.

— У него голубой потолок? — спрашивает Эльфа.

— Да, да, да! — горячо шепчет мама. — И по голубому потолку плывут белые облака, похожие на кудри!... А ночью он... черный... и светлячки...

— Эльфа. До свидания, маленькая моя девочка. Будь мужественной.

— Эльфа, — это сказала мама.

Эльфа уже сидит в ракетке.

— Старт, — говорит отец и нажимает кнопку на пульте.

Короткая молния срывается с обшивки корабля и уходит в сторону Солнца.

Мама не плачет, она просто не может плакать, не в силах. Плачет отец.

Неуправляемый корабль мчится вперед, куда-то далеко мимо Солнца.

— Сейчас мы будем обедать,— говорит женщина в голубом комбинезоне.— Прямо под открытым небом, у костра. Ты еще ни разу не сидела возле костра?

— Нет,— отвечает Эльфа.

— А потом мы пойдем в горы и встретим медведя.

— Настоящего?! — спрашивает девочка, а у самой от нетерпения горят глазенки.

— Настоящего.

— Пойдем сразу, мама.

— Нет, доченька. Надо сначала набраться сил.

А вся геологическая партия стоит вокруг и улыбается. Здоровенные парни в выцветших комбинезонах и совсем молодые девчонки.

— А правда ведь, что внизу ковер, когда летишь на глайдере? — спрашивает она всех.

— Правда,— отвечает пилот.— И когда идешь, тоже ковер. Смотри, какой ковер из брусники. Красивый, правда?

— Красивый,— отвечает Эльфа, садится на корточки и осторожно гладит жесткие мелкие листики.— А правда, что небо похоже на голубой потолок? Помнишь, мама, ты мне рассказывала о самом большом доме?

— Помню,— на всякий случай говорит женщина в голубом комбинезоне. Но она почти ничего не знает об этой девочке. Да и кто о ней знает больше? Разве что главный воспитатель Земли.

...Возьмите меня на борт! Возьмите меня на борт! — такие сигналы слышали однажды несколько кораблей, идущих в окрестностях Плутона. Чей-то спокойный мужской голос повторял: — Возьмите меня на борт!

Один из кораблей изменил курс и принял маленькую, неизвестно как здесь оказавшуюся, ракетку. В ракетке

не было мужчины. Его голос был записан на магнито- пленку. В ракете была маленькая девочка.

— Я хочу домой, папа,— устало сказала она сидя- щему капитану грузового корабля, который подобрал ее.

— Где же твой дом, крошка?

— У меня самый большой дом.

А потом, уже на Земле, с ней разговаривал главный воспитатель. Девочка была удивительно развита для своих семи с половиной лет. Она многое знала, многое умела. На лету схватывала все, что ей объясняли. Но две странности были у нее. Она вдруг неожиданно для всех называла какого-нибудь мужчину папой, а какую- нибудь женщину — мамой. Проходил день, и у нее был другой папа и другая мама. И еще. Она все время про- сила показать ей Её дом, самый большой дом.

Совет воспитателей навел справки о ее настоящих родителях. Нет, у них никогда не было большого дома. Вообще никакого дома не было. Прямо из школы астрол- етчиков они ушли в Дальний Поиск.

— Я буду искать свой дом,— заявила Эльфа и ушла от главного воспитателя. Тот ее не удерживал. Он сде- лал только единственное: каждый человек на Земле те- перь знал, что Эльфа ищет свой дом. Все обязаны были ей помогать. Каждый должен был заменить ей отца и мать.

— А правда, что крыша дома может загрохотать и сверкнуть? — спрашивала Эльфа.

— Ну нет,— сказал кто-то.— Крыши сейчас очень прочные.

— Правда,— вдруг сказал пилот глайдера.— Может. Вот будет гроза, и ты увидишь сама.

— Это страшно?

— Страшновато, но очень красиво.

— А правда, что стены дома раздвигаются, когда ты к ним приближаешься?

— Правда,— сказал пилот.— Вон видишь ту стену, за горой. Мы слетаем к ней, а она отодвинется дальше. И сколько бы мы за ней ни гнались, она будет отодви- гаться все дальше и дальше.

— Это очень похоже на то, что ты мне рассказывала о самом большом доме, о моем доме,— сказала Эльфа женщине в голубом.

— Так это же и есть твой дом. Вся Земля — твой

дом. Это самый большой дом во всем мире, во всей Вселенной.

— Да, ты так мне и говорила...

А вечером, когда они спустились с гор к костру, небо уже потемнело. Женщина спросила:

— Ты ведь не уйдешь от меня? Ты останешься со своей мамой?

— Мама,— ответила девочка.— Я вернусь. Но сначала я хочу посмотреть свой дом. Я хочу осмотреть его весь.

А утром Эльфа снова была в глайдере. И когда он долетел до горы, она крикнула пилоту:

— Смотри, папа, стены моего дома раздвигаются!

оставлять на берегу пустые банки, бутылки и бумажки. Вечерами туристы разжигали костры и пили чай.

Однорукий лесник с вечно хмурым лицом, который выходил искупаться к концу лесной дороги, привык не обижаться на туристов.

Лесник скидывал одежду. Он осторожно входил в воду, щупая ногой дно, чтобы не наступить на осколок бутылки или острый камень. Потом останавливался по пояс в воде, глубоко вздыхал и падал в воду. Он плыл на боку, подгребая единственной рукой.

Надежда с Оленькой оставались обычно на берегу. Надежда мыла посуду, потому что у дома лесника на том конце дороги не было колодца. Если кончала мыть раньше, чем лесник вылезал из воды, садилась на камень и ждала его, глядя на воду и на цепочку костров на том берегу протоки, которые напоминали ей почему-то ночную городскую улицу и вызывали желание уехать в Ленинград или в Москву. Когда Надежда видела, что лесник возвращается, она заходила по колено в воду, протягивала ему пустое ведро, и он наполнял его, вернувшись туда, где поглубже и вода чище.

Если поблизости оказывались туристы, лесник накидывал на голое тело форменную тужурку и шел к костру. Он старался людей не пугать и говорил с ними мягко, вежливо и глядел влево, чтобы не виден был шрам на щеке.

На обратном пути он останавливался и подбирал бумажки и всякую труху и сносил к яме, которую каждую весну рыл у дороги и которой никто, кроме него, не пользовался.

Если было некогда или не сезон, и берега пусты, однорукий лесник не задерживался. Набирал ведро и спешил домой. Надежда приезжала только по субботам, а Оленька боялась оставаться вечером одна.

Он шел по упругой ровной дороге, пролегшей между розовыми, темнеющими к земле стволами сосен, у подножия которых сквозь слой серых игл пробивались кусты черники и росли грибы.

Грибов лесник не ел, не любил и не собирал. Собирали их Оленька и, чтобы доставить ей удовольствие, лесник научился солить их и сушить на чердаке. А потом они дарили их Надежде. Когда она приезжала.

Оленька была леснику племянницей. Дочкой погибшего три года назад брата-шофера. Они оба, и лесник, которого звали Тимофеем Федоровичем, и брат его Николай, были из этих мест. Тимофей пришел безруким с войны и устроился в лес, а Николай был моложе и на войну не попал. Тимофей остался бобылем, а Николай женился на Надежде, и у них родилась дочь. До смерти Николая лесник редко виделся с братом и его семьей, но когда настало первое лето после его смерти, Тимофей как-то был в городе, в районном управлении, зашел к Надежде и пригласил ее с дочкой приезжать в лес. Он знал, что у Надежды не очень хорошо с деньгами, других родственников у нее нет — работала она медсестрой в больнице. Вот и позвал приезжать к себе, привозить девочку.

С тех пор Надежда каждое лето отвозила Оленьку к дяде Тимофею, а сама приезжала по субботам, прибирала в доме, подметала, мыла полы и старалась быть полезной. И то, что она хлопотала по дому, вместо того чтобы отдыхать, и злило Тимофея, и почему-то трогало.

Был конец августа, погода портилась, ночи стали холодными и влажными. Туристы разъехались. Была последняя суббота, через три дня Тимофей обещал привезти Олю — ей пора было идти в первый класс. И была последняя ночь, когда Надежда будет спать в его доме. До весны. Может, лесник приедет в Калязин на ноябрьские, а может, и не увидит их до Нового года.

Надежда мыла посуду. На песке лежал кусок хозяйственного мыла. Она мыла чашки и тарелки, что накопились с обеда и ужина — проводила тряпкой по мылу и терла ею посуду, зайдя по щиколотки в воду. Потом полоскала каждую чашку. Оля зябла и потому убежала куда-то в кусты, искала лисички. Они молчали.

Полоская чашки, Надежда наклонялась, и лесник видел ее загорелые крепкие ноги, и ему было неловко оттого, что он хочет и не может поговорить с Надеждой, чтобы она ставалась у него совсем. Ему было бы легче, если бы Николая никогда не существовало, и потому лесник старался смотреть мимо Надежды, на серую сумеречную воду, черный частокол леса на острове и одинокий огонек костра на том берегу. Костер жгли не туристы, а рыбаки, местные.

- Нет. Кончились.
- Возьми и третий тент,— сказал Даг.
- Не надо.
- И второй генератор возьми.
- Вот он, пункт двадцать три.
- Правильно. Сколько баллонов берешь?
- Хватит.
- Сгущенное молоко? Зубную щетку?
- Ты меня собираешь в туристский поход?
- Возьми компот. Мы обойдемся.
- Я к вам зайду, когда захочется компота.
- К нам не так легко прийти.
- Я шучу,— сказал Павлыш.— Я не собираюсь к

вам приходиться.

- Почитать взял что-нибудь?

Павлыш не ответил. Все было прочитано.

- Хочешь мой самоучитель?

Павлыш не принял жертвы. Даг третью неделю одолевал испанский язык по новому методу. Самоучитель был со звуковыми вкладками, и Даг пытался петь испанские романсы.

- Как хочешь,— сказал Даг.

Он смотрел на экран. Роботы ползали по тросам, как тля по травинкам.

- Сегодня переберешься? — спросил Даг.

Даг торопился домой. Они потеряли уже два дня, готовя добычу к транспортировке. И еще две недели на торможение и маневры.

На мостик вошел Сато и сказал, что катер готов и загружен.

- По списку? — спросил Даг.

- По списку. Павлыш дал мне копию.

- Это хорошо,— сказал Даг.— Добавь третий тент.

- Я уже добавил.

— Я бы на твоём месте,— сказал Даг,— перебирался сейчас, пока не все готово.

- Хорошо — согласился Павлыш.

Даг был прав. Лучше перебраться сейчас, и если что не так — нетрудно сгонять на корабль и взять забытое. Придется провести несколько недель на потерявшем управление, мертвом судне, брошенном хозяевами неизвестно когда и неизвестно почему, летевшему бесцельно, словно Летучий голландец, и обреченному, не встретить

они его, миллионы лет проваливаться в черную пустоту космоса.

Участок Галактики, через который они возвращались, был пуст, лежал в стороне от изведанных путей, и сюда редко заглядывали корабли. Это была исключительная, почти невероятная находка. Неуправляемый, оставленный экипажем, но не поврежденный корабль.

Они догнали его, со всеми предосторожностями забрались на борт и убедились в том, что его хозяева давным-давно погрузились в спасательный катер и улетели в неизвестном направлении.

Даг подсчитал, что если вести трофей на буксире, горючего до внешних баз хватит. При условии, что придется выкинуть за борт груз и отправить в пустоту почти все, ради чего они двадцать месяцев не видели ни единого человеческого лица (собственные не в счет).

И кому-то из четверых надо было отправиться на борт трофея, держать связь и смотреть, чтобы он вел себя пристойно.

— Я пошел,— сказал Павлыш.— Устанавливаю тент. Связь опробую.

— Ты осторожнее,— сказал Даг, вдруг расчувствовавшись.

— Главное — не потеряйте,— ответил Павлыш.

Павлыш заглянул на минуту к себе в каюту поглядеть, не забыл ли что-нибудь, а заодно и попрощаться со своим тесным жилищем, в котором провел много месяцев. И оттого вдруг ощутил вину, сентиментальную вину перед пустыми, знакомыми до последнего винта стенами.

Сато ловко подогнал катер к грузовому люку мертвого корабля. Нетрудно догадаться, что там когда-то стоял спасательный катер. Его не было. Лишь какое-то механическое устройство маячило в стороне.

Толкая перед собой тюк с тентами и баллонами, Павлыш пошел по широкому коридору к каюте у самого пульта управления. Там он решил обосноваться. Обследовать корабль толком не успели. Это предстояло сделать Павлышу. Корабль был велик. И путешествие обещало быть нескучным.

Сато помог раскинуть тент. Переходную камеру они устроили у двери и проверили, быстро ли тент наполняется воздухом. Все в порядке. Теперь у Павлыша был дом, где можно жить без скафандра. Скафандр понадо-

бится для прогулок. Пока Павлыш раскладывал в каюте свои вещи, Сато установил освещение и опробовал радио, и они простились.

Разгонялись часов шесть. Даг опасался за прочность буксира. В конце разгона Павлыш вышел на пульт управления корабля и смотрел, как летевшие рядом серебряные цилиндры — выброшенный за борт груз — постепенно отставали, словно провожающие на платформе. Перегрузки были уже терпимые, и он решил заняться делами.

Пульт управления дал мало информации.

Странное зрелище представлял этот пульт. Да и вся рубка. Здесь явно побывал хулиган. Вернее, не просто хулиган, а малолетний радиолюбитель, которому отдали на растерзание дорогую и сложную машину. Вот он и превратил ее в денаторный приемник, используя транзисторы вместо гвоздей, из печатных схем сделав подставку, а ненужной на его взгляд платиновой фольгой оклеил свой чердачок вместо обоев. Можно было предположить — это предположение уже высказал Даг, когда они попали сюда впервые, — что управление кораблем раньше было полностью автоматическим. Но потом кто-то без особых церемоний сорвал крышки и кожухи, соединил накоротко линии, которые соединять было не положено — в общем принял все меры, чтобы превратить хронометр в первобытный будильник.

Удивительно, но нигде не встретилось ни одного стула, кресла или чего-либо близкого к этим предметам. Возможно, хозяева и не знали, что такое стулья. Павлыш таскал за собой камеру и старался заснять все, что можно. На всякий случай. Если что-нибудь стрясется, сохранятся пленки. Чуть гудел шлемовой фонарь, и оттого абсолютнее была тишина. Было так тихо, что Павлышу начали чудиться шелестящие шаги и шорохи.

И от этого стало совсем неудобно. Павлыш поймал себя на нелепом жесте — положил ладонь на рукоять бластера.

— Атавизм, — сказал он.

Оказалось, сказал вслух. Потому что в шлемофоне возник голос Дага.

— Ты о чем?

— Привык, что мы всегда вместе, — сказал Павлыш. — Неудобно.

— А еще на той неделе ворчал.

— Я?

— Забыл? Говорил мне за ужином, что как только попадешь на Землю, постарайся больше в жизни ни с кем из нас не встречаться.

— Одно другого не исключает.

— Мы можем уже сменить. Хоть это сложно.

— Не надо. Ты же знаешь.

Даг вздохнул. И его вздох, миновав несколько километров пустоты, возродился в наушниках шлема.

Павлыш видел себя со стороны: маленький человек в блестящем скафандре, жучок в громадной банке, набитой трухой. И он отправился в первое путешествие по кораблю.

Коридор, который вел мимо его каюты, заканчивался круглым пустым помещением. Павлыш оттолкнулся от люка и в два прыжка одолел его. За ним начинался такой же коридор. И стены и пол везде были одинакового голубого цвета, чуть белесого, словно выгоревшего от солнца. Свет шлемового фонаря расходился широким лучом, и стены отражали его. Коридор загибался впереди. Павлыш нанес его на план. Пока план корабля представлял собой эллипс, в передней части которого был обозначен грузовой люк и эллипс для улетевшего катера или спасательной ракеты, пульт управления, коридор, соединяющий пульт с круглым залом, и еще три коридора, отходившие от пульта. Известно было, где находятся двигатели, но их пока он не стал обозначать на плане. Времени достаточно, чтобы все осмотреть не спеша.

Шагов через сто коридор уперся в полуоткрытый люк. У люка лежало что-то белое, плоское. Павлыш медленно приблизился к белому. Наклонил голову, чтобы осветить его ярче. Оказалась просто тряпка. Белая тряпка, хрупкая в вакууме. Павлыш занес над ней ногу, чтобы перешагнуть, но, видно, нечаянно дотронулся до нее, и тряпка рассыпалась в пыль.

— Жалко, — сказал он.

— Что случилось? — спросил Даг.

— Занимайся своими делами, — сказал Павлыш. —

А то вообще отключусь.

— Попробуй только. Сейчас же прилечу за тобой. План не забудь.

— Не забыл,— сказал Павлыш, отмечая на плане люк.

За люком коридор расширился, в стороны отбегали его ветви. Но Павлыш пока даже не стал отмечать их. Выбрал центральный, самый широкий путь. Он привел его еще к одному люку, закрытому наглухо.

— Вот и все на сегодня,— сказал Павлыш.

Даг молчал.

— Ты чего молчишь? — спросил Павлыш.

— Не мешаю тебе беседовать с самим собой.

— Спасибо. Я дошел до закрытого люка.

— Не спеши открывать,— сказал Даг.— Может, там сохранилась атмосфера.

— Вряд ли. Уж очень здесь все мертво.

Он осветил стену вокруг люка. Заметил выступающий квадрат и провел по нему перчаткой.

Люк легко отошел в сторону, и Павлыш прижался к стене. Но ничего не произошло.

Вдруг ему показалось, что сзади кто-то стоит. Павлыш резко обернулся, полоснул лучом света по коридору. Пусто. Подвели нервы. Он ничего не стал говорить Дагу и переступил через порог.

Павлыш оказался в обширной камере, вдоль стен которой шли полки, на некоторых из них стояли ящики. Он заглянул в один из них. Ящик был на треть наполнен пылью. Что в нем было раньше, угадать невозможно.

В дальнем углу камеры фонарь поймал лучом еще одну белую тряпку. Павлыш решил к ней не подходить. Лучше потом взять консервант, на Земле интересно будет узнать, из чего они делали материю. Но когда Павлыш уже отводил луч фонаря в сторону, ему вдруг показалось, что на тряпке что-то нарисовано. Может, только показалось? Он сделал шаг в том направлении. Черная надпись была видна отчетливо. Павлыш наклонился. Присел на корточки.

«Меня зовут Надежда»,— было написано на тряпке. По-русски.

Павлыш потерял равновесие, и рука дотронулась до тряпки. Тряпка рассыпалась. Исчезла. Исчезла и надпись.

— Меня зовут Надежда,— повторил Павлыш.

— Что? — спросил Даг.

— Здесь так написано.

— Что с тобой?

— Здесь было написано: «Меня зовут Надежда», — сказал Павлыш.

— Да где же?

— Уже не написано, — сказал Павлыш. — Я дотронулся, и она исчезла.

— Слава, — сказал Даг тихо. — Успокойся.

— Я совершенно спокоен, — сказал Павлыш.

3

До того момента корабль оставался для Павлыша фантомом, реальность которого была условна, будто задана правилами игры. И даже нанося на план — пластиковую пластинку, прикрепленную к левой кисти руки, — сетку коридоров и люки, он за рамки этой условности не выходил. Он был подобен разумной мыши в лабораторном лабиринте. В отличие от мыши настоящей, Павлыш знал, что лабиринт конечен и определенным образом перемещается в космическом пространстве, приближаясь к Солнечной системе.

Рассыпавшаяся записка нарушала правила, ибо никак, никаким самым сказочным образом оказаться здесь не могла, и единственное, что оставалось думать: ее не было. Так и решил Даг. Так и решил бы Павлыш, оказавшись на его месте.

— Именно Надежда? — спросил Даг.

— Да, — ответил Павлыш. Он смотрел на горстку белесой пыли.

— Учти, Слава, — сказал Даг. — Ты сам физиолог. Ты знаешь. Может, лучше мы тебя заменим? Или вообще оставим корабль без присмотра.

— Все нормально, — сказал Павлыш. — Не беспокойся. Я пошел за консервантом.

— Зачем?

— Если встретится еще одна записка, я ее сохраню для тебя.

Пока он совершал недолгое путешествие к своей каюте, извлекал консервант из ящика со всякими разностями, собранный аккуратным Сато, все время старался возобновить в памяти тряпку или листок бумаги с надписью. К тому времени, как Павлыш вернулся в камеру, где его поджидала (он уж начал опасаться, что

исчезнет) горстка белесой пыли, уверенность в записке пошатнулась. Разум старался оградить его от чудес.

Даг время от времени задавал вопросы, но Павлыш или отмалчивался или, если нельзя было, отвечал сухо и кратко.

— Что делаешь? — спросил Даг.

— Ищу люк, — сказал Павлыш. — Чтобы пройти дальше.

— А как это было написано? — спросил Даг.

— По-русски.

— Это ты уже говорил. А какой почерк? Какие буквы?

— Буквы? Буквы печатные, большие.

Он отыскал люк. Люк открылся легко. Это было странное помещение. Разделенное перегородками на отсеки разного размера, разной формы. Некоторые из них были застеклены, некоторые отделены от коридора тонкой сеткой.

Посреди коридора стояло полушарие похожее на высокую черепаху, сантиметров шестьдесят в диаметре. Павлыш осторожно дотронулся до него, и полушарие с неожиданной легкостью покатилося вдоль коридора, словно под ним скрывались хорошо смазанные ролики. Полушарие ткнулось в стенку и замерло. Луч фонаря выхватывал из темноты закоулки и ниши. Не все они были пусты. В одной груде лежали камни, в другой обломки дерева. А когда он присмотрелся, обломки показались похожими на остатки какого-то большого насекомого. Павлыш продвигался вперед медленно, поминутно докладывая на корабль чуть ли не о каждом своем шаге.

— Понимаешь, какая штука, — разогнал мысли голос Дага. — Можно утверждать, что корабль оставлен лет сорок назад.

— Может, тридцать?

— Может, и пятьдесят. Только сейчас мозг дал предварительную сводку.

— Не надо стараться, — сказал Павлыш. — Даже тридцать лет назад мы еще не выходили за пределы Системы.

— Знаю, — ответил Даг. — Но я еще проверю. Если только у тебя не галлюцинации.

Проверять было нечего. Тем более, что они знали — корабль, найденный ими, шел не от Солнца. По крайней

мере много лет он приближался к нему. А перед этим должен был удаляться. А сорок, пятьдесят лет назад люди лишь осваивали Марс и высаживались на Плутоне. А там, за Плутоном, лежал неведомый, как заморские земли для древних людей, космос. И никто в этом космосе не умел говорить и писать по-русски.

— Есть теория, — сказал Нумилин. Нумилин неразговорчив, он предпочитает вещать, так как очень высоко ценит каждое собственное слово. — Они когда-то, давно были у нас. И приняли русский язык в качестве средства общения.

— Зачем? — удивился Сато.

— Он им понравился.

Даг сказал:

— Слава, продолжай. Не слушай нас. А то мы тут договоримся до ерунды.

Павлыш перебрался на следующий уровень, попытался разобраться в лабиринтах коридоров, ниш, камер. Через полчаса он сказал:

— Они были барахольщиками.

— А как Надежда?

— Пока никак.

Возможно, он просто не замечал следов Надежды, проходил мимо.

Предметы чужого корабля были непонятны. И полушария, легко откатывающиеся от ног, и ниши, забитые вещами и приборами, назначение которых было неизвестно, переплетения проводов и труб, яркие пятна на стенах и решетки на потолке, участки скользкого пола и лопнувшие полупрозрачные перепонки. Павлыш так и не мог понять, какими же были хозяева корабля — то вдруг он попадал в помещение, где должны были обитать гиганты, то вдруг оказывался перед каморкой, рассчитанной на гномов, потом выходил к замерзшему бассейну, и чудились продолговатые тела, вмерзшие в мутный лед. Потом он оказался в обширном складе, дальняя стена которого представляла собой машину, усеянную слепыми экранами. Ряды кнопок на ней размещались и у самого пола, и под потолком, метрах в пяти над головой.

Эта нелогичность окружающего мира раздражала, потому что никак не давала построить, хотя бы приблизительно, рабочую гипотезу и нанизывать на нее фак-

ты — именно этого требовал мозг, уставший от блуждания по лабиринтам.

За редкой (впору пролезть между прутьями) решеткой лежала черная, высохшая в вакууме масса. Вернее всего, когда-то это было живое существо, ростом со слона. Может быть, это один из космонавтов? Но решетка отрезала его от коридора. Может быть, этого космонавта наказали. Посадили в тюрьму. И когда срочно надо было покинуть корабль, его забыли. Или не хотели взять с собой.

Павлыш сказал о пленнике Дагу, но тот ответил сразу:

— Спасательный катер был рассчитан на существ меньших размеров. Ты же видел.

Даг был прав.

На полу рядом с черной массой валялся пустой сосуд, круглый, сантиметров пятнадцать в диаметре.

А еще через полчаса, в следующем коридоре, за прикрытым, но незапертым люком Павлыш отыскал каюту, в которой жила Надежда.

Он не стал заходить в каюту. Остановился на пороге, глядя на аккуратно застланную серой материей койку, на брошенную на полу косынку, застиранную, ветхую, в мелкий розовый горошек, на полку, где стояла чашка с отбитой ручкой и еще какие-то предметы. Потом, возвращаясь в эту комнату, с каждым разом замечал все больше вещей, принадлежавших Надежде. Но тогда, в первый раз, запомнил лишь розовый горошек на платке и чашку с отбитой ручкой. Ибо это было куда более невероятно, чем тысячи названных машин и приборов.

— Все в порядке, — сказал Павлыш. Он включил распылитель консерванта, чтобы сохранить все в каюте таким, как было в момент его появления.

— Ты о чем? — спросил Даг.

— Нашел Надежду.

— Что?

— Нет, не Надежду. Я нашел, где она жила.

— Ты серьезно?

— Совершенно серьезно. Здесь стоит ее чашка. И еще она забыла косынку.

— Знаешь, сказал Даг, — я понимаю, что ты не сошел с ума. Но все-таки я не могу поверить.

— И я не верю.

— Ты представь себе,— сказал Даг,— что мы высадились на Луне и видим сидящую там девушку. Сидит и вышивает, например.

— Примерно так,— согласился Павлыш.— Но здесь стоит ее чашка. С отбитой ручкой.

— Старая чашка?

— Совсем старая. Не знаю даже, сколько ей лет.

— А где Надежда? — спросил Сато.

— Не знаю,— сказал Павлыш.— Ее давно здесь нет.

— А что еще? — спросил Даг.— Ну, скажи что-нибудь. Какая она была?

— Она была красивая,— сказал Сато.

— Конечно,— согласился Павлыш.— Очень красивая.

И тут Павлыш заметил за застеленной койкой небольшой ящик, заполненный вещами. Словно Надежда собиралась в дорогу, но что-то заставило ее бросить добро и уйти так, с пустыми руками.

Павлыш опрыскивал вещи консервантом, перечислял их и складывал на койке. Там была юбка, сшитая из пластика толстыми нейлоновыми нитками, мешок с прорезью для головы и рук, шаль или накидка, сплетенная из разноцветных проводов...

— Она здесь довольно долго прожила,— сказал Павлыш.

На самом дне ящика лежала кипа квадратных белых листов, исписанных ровным, сильно наклоненным вправо почерком. И Павлыш заставил себя не читать написанного на них, пока не убедился, что листки не рассыплются под пальцами. А читать их он стал только вернувшись в свою каюту, где мог снять скафандр, улечься на надувной матрац и включить на полную мощность освещение.

— Читай вслух,— просил Даг, но Павлыш отказался. Он очень устал. Он пообещал, что обязательно прочтет им самые интересные места. Но сначала проглядит сам. Молча. И Даг не стал спорить.

4

«Я нашла эту бумагу уже два месяца назад, но никак не могла придумать, чем писать на ней. И только вчера догадалась, что совсем рядом, в комнатке, за ко-

торой следит Глупышка, собраны камни, похожие на графит. Я заточила один из них. И теперь буду писать». (На следующий день в каюте Надежды Павлыш увидел на стене длинные столбцы царапин и догадался, как она вела счет дням.)

«Мне давно хотелось писать дневник, потому что я хочу надеяться, что когда-нибудь, даже если я и не доживу до этого светлого дня, меня найдут. Ведь нельзя же жить совсем без надежды. Я иногда жалею, что я неверующая. Я бы смогла надеяться на бога и думать, что это все — испытание свыше.»

На этом кончался листок. Павлыш понял, что листки лежали в стопке по порядку, но это не значило, что Надежда вела дневник день за днем. Иногда, наверно, проходили недели, прежде чем она вновь принималась писать.

«Сегодня они суетятся. Стало тяжелее. Я опять кашляла. Воздух здесь все-таки мертвый. Наверно, человек может ко всему привыкнуть. Даже к неволе. Но труднее всего быть совсем одной. Я научилась разговаривать вслух. Сначала стеснялась, неловко было, словно кто-нибудь может меня подслушать. Но теперь даже пою. Мне бы надо записать, как все со мной произошло, потому что не дай бог кому-нибудь оказаться на моем месте. Только сегодня мне тяжело, и когда я пошла в огород, то по дороге так запыхалась, что присела прямо у стенки, и глупышки меня притащили обратно чуть живую.»

Дня через два Павлыш нашел то, что Надежда называла огородом. Это оказался большой гидропонный узел. И нечто вроде ботанического сада.

«Я пишу сейчас, потому что все равно пойти никуда не смогу, да глупышки и не пустят. Наверно, надо ждать прибавления нашему семейству. Только не знаю уж, увижу ли я...»

Третий листок был написан куда более мелким почерком, аккуратно. Надежда сэкономила бумагу.

«Если когда-нибудь попадут сюда люди, пусть знают про меня следующее. Мое имя-отчество-фамилия Сидорова Надежда Матвеевна. Год рождения 1923. Место рождения — Ярославская область, село Городище. Я окончила среднюю школу в селе, а затем собиралась поступать в институт, но мой отец Матвей Степанович

скончался, и матери одной было трудно работать в колхозе и управляться по хозяйству. Поэтому я стала работать в колхозе, хотя и не оставила надежды получить дальнейшее образование. Когда подросли мои сестры Вера и Валентина, я исполнила все-таки свою мечту, и поступила в медицинское училище в Ярославле и кончила его в 1942 году, после чего была призвана в действующую армию и провела войну в госпиталях в качестве медсестры. После окончания войны я вернулась в Городище и поступила работать в местную больницу в том же качестве. Я вышла замуж в 1948 году, мы переехали на жительство в Калязин, а на следующий год у меня родилась дочь Оленька. Однако мой муж, Николай Иванов, шофер, скончался в 1953 году, попав в аварию. Так мы и остались одни с Оленькой.»

Павлыш сидел на полу, в углу каморки, затянутой белым тентом. Ему очень хотелось курить, хотя он не курил уже лет шесть, с тех пор, как перешел в Космофлот. Он читал автобиографию Надежды вслух. Почерк разбирать было несложно — писала она аккуратно, круглыми, сильно наклоненными вправо буквами, лишь кое-где графит осыпался, и тогда Павлыш наклонял листок, чтобы разобрать буквы по вмятинам, оставленным на листке. Он отложил листок и осторожно поднял следующий, рассчитывая найти на нем продолжение биографии.

— Значит в пятьдесят третьем году ей уже было тридцать лет,— сказал Сато.

— Читай дальше,— попросил Даг.

— «Сегодня притащили новых. Они их поместили на нижний этаж, за пустыми клетками. Я не смогла увидеть, сколько всего новеньких. Но по-моему несколько. Глупышка закрыл дверь и меня не пустил. Я вдруг поняла, что очень им завидую. Да, завидую несчастным, оторванным навсегда от своих семей и дома, заключенным в тюрьму за грехи, которых они не совершали. Ведь их много! Может, три, может, пять. А я совсем одна. Если бы я не привыкла работать, то давно бы уже померла. И сколько лет я здесь? По-моему пошел четвертый год. Надо будет проверить, посчитать царалинки. Только я боюсь, что сойбюсь со счета. Ведь я не записывала, когда болела, и только мысль об Оленьке мне помогла выбраться с того света. А может быть, я давно уже на том свете? Может, это мне наказание за мои грехи?

Но какие уж там у меня были грехи? Как хочется на что-то надеяться! Хоть на бога. Сначала я все думала, что это — кончится. Потом хотела наложить на себя руки. И глупышки меня выследили. Ну что же, займусь делом. Глупышка принес мне ниток и проволоки. Они ведь что-то понимают.»

— Ну? — спросил Даг.

— Все я читать все равно не смогу, — ответил Павлыш. — Погодите. Вот тут, вроде бы продолжение.

«Я потом разложу листки по порядку. А то теперь, как я нашла бумагу и карандаш, я от писания получаю утешение. Мне все кажется, как кто-то будет читать эти листки. Меня уже не будет, прах мой разлетится по звездам, а бумажки выживут. Их кормить-поить не надо. Я очень прошу тебя, который будет это читать, разыщи мою дочку, Ольгу. Может, она уже взрослая. Скажи ей, что случилось с матерью. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я попаду в страшную тюрьму, буду жить, а все будут думать, что меня давно уж нет, я бы умерла от ужаса. А ведь живу. Я очень надеюсь, что Тимофей не подумает, что я бросила девочку ему на руки и убежала искать легкой жизни. Нет, скорее всего они обыскали всю протоку, решили, что я утонула. А тот вечер у меня до конца дней останется перед глазами, потому что он был необыкновенный. Совсем не из-за беды, а наоборот. Тогда в моей жизни должно было что-то измениться... А изменилось совсем не так.»

— Нет, — сказал Павлыш, откладывая листок. — Тут личное.

— Что личное?

— Здесь о Тимофее. Мы же не знаем, кто такой Тимофей. Какой-то ее знакомый. Погодите, поищу дальше.

— Как ты можешь судить! — воскликнул Даг. — Ты в спешке обязательно упустишь что-то главное.

— Главное я не упущу, — ответил Павлыш. — Этим бумажкам уже сто лет. Мы не можем искать ее, не можем спасти. С таким же успехом мы могли бы читать клинопись. Разница не принципиальная.

— У меня есть теория, — сказал Нумилин, который не уловил горечи в голосе Павлыша.

— Погоди, — сказал Павлыш. — Дальше я прочту вслух. Тут все разъясняется.

«После смерти Николая я осталась с Оленькой сов-

сем одна. Если не считать сестер. Но они были далеко, и у них были свои семьи и свои заботы. Жили мы не очень богато, я работала в больнице и была назначена весной 1956 года старшей сестрой. Оленька должна была идти в школу, в первый класс. У меня были предложения выйти замуж, в том числе от одного врача нашей больницы, хорошего, правда пожилого человека, но я отказала ему, потому что думала, что молодость моя все равно прошла. Нам и вдвоем с Оленькой хорошо. Мне помогал брат мужа Тимофей Иванов, инвалид войны, который работал лесником недалеко от города. Несчастье со мной произошло в конце августа 1956 года. Я не помню теперь числа, но помню, что случилось это в субботу вечером... Обстоятельства к этому были такие. У нас в больнице выдалось много работы, потому что было время летних отпусков, и я подменяла других сотрудников. Оленьку, к счастью, как всегда, взял к себе пожить Тимофей в свой домик. А я приезжала туда по субботам на автобусе, а потом пешком, и очень хорошо отдыхала. Его дом расположен в сосновом лесу недалеко от Волги.»

Павлыш замолчал.

— Ну, что дальше? — спросил Даг.

— Погодите, ищу листок.

— Дальше ее захватят,— сказал Нумилин убежденно.

— Догадаться нетрудно,— сказал Сато.

«Я постараюсь описать то, что было дальше со всеми подробностями, потому что как работник медицины понимаю, какое большое значение имеет правильный диагноз, и может быть, кому-нибудь эти все подробности понадобятся. Может быть, мое описание, если оно попадет в руки к специалисту, поможет разгадать и другие похожие случаи, если они были и будут. В тот вечер Тимофей и Оленька проводили меня до реки мыть посуду. В том месте дорога, которая идет от дома к Волге, доходит до самой воды. Тимофей хотел меня подождать, но я боялась, что Оленьке будет холодно, потому что вечер был нетеплый, и попросила его вернуться домой, а сама сказала, что скоро приду. Было еще не совсем темно, и минуты через три-четыре после того, как они ушли, я услышала тихое жужжание. Я даже не испугалась сначала, потому что решила, что по Волге, далеко

от меня, идет моторка. Но потом меня охватило предчувствие чего-то плохого.

Я посмотрела на реку, но никакой моторки не увидела.»

Павлыш нашел следующий листок.

«Я увидела, что по направлению ко мне, чуть выше моей головы летит воздушная лодка, похожая на подводную лодку, без крыльев. Она показалась мне серебряной. Лодка снижалась прямо передо мной, отрезая меня от дороги. Я очень удивилась. За годы войны я могла повидать разную военную технику, и сначала решила, что это какой-то новый самолет, который делает вынужденную посадку, потому что у него отказал мотор. Моторы у лодки, вроде бы, не работали — она только тихо-тихо жужжала, но спускалась очень спокойно. Я хотела отойти в сторону, спрятаться за сосну, чтобы, если будет взрыв, остаться в живых. Но лодка выпустила железные захваты, и из нее высыпались глупышки.

Тогда я еще не знала, что это глупышки, но в тот момент сознание у меня помутнело, и я, наверно, упала...»

— Дальше что? — спросил Даг, когда пауза затянулась.

— Дальше все, — ответил Павлыш.

— Ну, что же было?

— Она не пишет.

— Так что же она пишет в конце концов?

Павлыш помолчал.

«Я знаю дорогу на нижний этаж. Там есть путь из огорода, и глупышки за ним не следят. Мне очень захотелось поглядеть на новеньких. Почему-то я решила, что мне обязательно надо на них поглядеть. Я знаю, что здесь не одна. Но другие обитатели тюрьмы неразумные. К дракону в клетку я научилась заходить. Раньше боялась. Но как-то посмотрела, чем его кормят глупышки, и это все были травы с огорода. Тогда я и подумала, что он меня не съест. Может, я долго бы к нему не заходила, но как-то шла мимо и увидела, что он болен. Глупышки суетились, подкладывали ему еду, мерили что-то, трогали. А он лежал на боку и тяжело дышал. Тогда я подошла к самой решетке и присмотрелась. Ведь я медик, и мой долг облегчать страдания. Глупышкам я помочь не смогла бы — они железные. А дракона осмотрела, хоть и через решетку. У него была рана — наверно, хо-

тел выбраться, побился о решетку. Силы в нем много — умом бог обидел. Я тут стала отчаянная — жизнь не дорога. Думаю: он ко мне привык. Ведь он еще раньше меня сюда попал — уже тысячу раз видел. Я глупышкам сказала, чтобы они не мешались, а принесли воды, теплой. Я конечно, рисковала. Но раны загноились, и я их промыла, перевязала как могла. Дракон не возражал, не сопротивлялся. Даже поворачивался, чтобы мне удобнее.»

Следующий листок Павлыш также проглядел. Он, видно, попал сюда с низа пачки и не был связан по смыслу с предыдущими.

«Сегодня села писать, а руки не слушаются. Птица вырвалась наружу. Глупышки носились за ней по коридорам, ловили сетью. Я тоже хотела поймать ее, боялась, что разобьется. Но зря старалась. Птица вылетела в большой зал, ударилась с лету о трубы. И упала. Я потом, когда глупышки тащили ее в свой музей, подобрала перо, длинное, тонкое, похожее на ковыль. Я и жалела птицу, и завидовала ей. Вот нашла все-таки в себе силы погибнуть, если уж нельзя вырваться на свободу. Еще год назад такой пример мог бы на меня оказать решающее влияние. Но теперь я занята. Я не могу себя потратить зря. Пускай моя цель нереальная, но все-таки она есть. И вот, такая расстроенная и задумчивая, я пошла за глупышками, они забыли закрыть за собой дверь в музей. Туда я не попала, — там воздуха нет, но заглянула через стеклянную стенку. И увидела банки, кубы, сосуды, в которых глупышки хранят тех, кто не выдержал пути. В формалине или в чем-то похожем. Как уродцы в кунсткамере в Ленинграде. И я поняла, что пройдет еще несколько лет, и меня, мертвую, не сожгут и не похоронят. А поместят в стеклянную банку на любованье глупышкам или их хозяевам. И стало горько. Я Балю об этом рассказала. Он только поежился и дал мне понять: того же боится. Сажу над бумагой, а представляю себя в стеклянной банке, заспиртованную. И деваться некуда. И страшно. Как давно не было страшно.»

Потом, уже через несколько дней, Павлыш отыскал «музей». Космический холод заморозил жидкость, в которой хранились экспонаты. Многие из них погибли. Павлыш медленно шел от сосуда к сосуду, всматривал-

ся в лед сосудов покрупнее. Хотел найти тело Надежды и боялся этого. А в ушах перебивали друг друга нетерпеливо Даг и Сато: «Ну как?» Павлыш не хотел находить ее. Он разделял страх Надежды. Лучше что угодно, чем банка с формалином. И он не нашел ее. Правда, отыскал банку с птицей — радужным созданием с длинным хвостом и большеглазой, без клюва головой. И еще нашел банку, в которой был Баль. Об этом было рассказано в следующих листках.

«Я все сбиваюсь в своем рассказе, потому что то, что происходит сегодня, важнее, чем прошедшие годы. Вот и не могу никак описать мое приключение по порядку.

Очнулась я в камере. Там горел свет, неяркий и неживой. Это не та комната, где я живу сейчас. В камере теперь свалены ископаемые ракушки, которые глупышки притащили с год назад. За четыре с половиной года мы раз шестнадцать останавливались, и каждый раз начиналась суматоха, и сюда тащили всякие вещи, а то и живых существ. Так вот, в камере, кроме меня, оказалась посуда, которую я мыла и которая мне потом очень пригодилась, ветки сосны, трава, камни, разные насекомые. Я только потом поняла, что они хотели узнать, чем меня кормить. А тогда я подумала, что весь этот набор случайный. Я есть ничего не стала, не до того было. Села, постучала по стенке — стенка твердая, и вокруг все время слышится жужжание, словно работают машины на пароходе. И кроме того, я ощутила большую легкость. Здесь вообще все легче, чем на Земле. Я считала когда-то, что на Луне сила тяжести тоже меньше, и если когда-нибудь люди полетят к звездам, как учил Циолковский, то они совсем ничего не будут весить. Вот эта маленькая сила тяжести и помогла мне скоро понять, что я уже не на Земле, что меня украли, увезли, и никак не могут довести до места. Я очень надеюсь, что люди, наши, с Земли, когда-нибудь тоже научатся летать в космическое пространство. Но боюсь, что случится это еще нескоро.»

Павлыш прочел эти строчки вслух. Даг сказал:

— А ведь всего через год полетел первый спутник.

«Они мне принесли поесть и стояли в дверях, смотрели, буду есть или нет. Я попробовала — странная каша, чуть солоноватая, скучная еда. Но тогда я была голод-

ная и как будто оглушенная. Я все смотрела на глупышек, которые стояли в дверях, как черепахи, и просила, чтобы они позвали их начальника. Я не знала тогда, что их начальник — машина — во всю стену дальнего зала. А что настоящие хозяева (какие они из себя, до сих пор не знаю) отправили этот корабль в путь с одними железными автоматами. Потом я думала, как они догадались, какая пища мне не повредит. И ломала себе голову, пока не побывала в их лаборатории и не догадалась, что они взяли у меня, пока я была без сознания, кровь и провели полное исследование организма. И поняли, чего и в каких пропорциях мне нужно, чтобы не помереть с голоду. А что такое вкусно — они не знают. Я на глупышек давно не сержусь. Они как солдаты, выполняют приказ. Только солдаты все-таки думают. Эти не могут. Я все первые дни проплакала, просилась на волю и никак не могла понять, что до воли мне лететь и лететь. И никогда не долететь.

Сегодня снилась мне Оленька, и я во сне удивлялась, почему она не растет, почему бегают такая маленькая. Ведь ей пора бы и вырасти. А она только смеялась. Весь день потом я не могла себе места найти. И подумала еще вот о чем: а откуда я решила, что правильно считаю дни? Я ведь царапину делаю, когда встаю по утрам. А если не по утрам? Может, я теперь чаще сплю. Или реже. Ведь не угадаешь. Здесь всегда одинаково. И я подумала, что, может, прошло не четыре года, а только два. Или один. А может и наоборот — пять, шесть, семь лет? Сколько же лет сейчас Оле? А мне сколько? Может, я уже старуха? Я так переволновалась, что побежала к зеркалам. Это, конечно, не зеркала. Они чуть выпуклые, круглые, похожие на экраны телевизоров. Иногда по ним пробегают зеленые и синие зигзаги. Я долго всматривалась в экраны. Даже глупышки, которые там дежурили, стали сигналить мне — что нужно? Я только отмахнулась. Прошли те времена, когда я их звала палачами, мучителями, фашистами. Теперь я их не боюсь. Я боюсь только Машину. Начальника. Я долго смотрелась в зеркала, переходила от одного к другому, искала то, что посветлее. И ничего решить не смогла. Вроде бы, это я — и нос, и рот такой же, а вот глаза провалились и лицо кажется синим. Но, может, это от самого зеркала. Мешки под глазами... И я вернулась в комнату.»

— Это крайне интересно,— сказал Даг.— Ты как, Павлыш, думаешь?

— Что?

— Об этой проблеме. Изолирую человека на несколько лет так, чтобы он не знал о ходе времени вне его помещения. Изменится ли биологический цикл?

— Я сейчас не об этом думаю,— сказал Павлыш.

«Дракон совсем плох. Видно, скоро умрет. Я у него вчера просидела долго, снова промыла раны. А он совсем ослаб. И с ним сделала открытие. Оказывается, дракон может каким-то образом влиять на мои мысли. Не то, чтобы я понимала его, но когда ему больно, я это чувствую. И знаю, что он рад моему приходу. И я жалею теперь, что раньше не обращала на него внимания — боялась. Ведь, может быть, он — такой же как я. Тоже пленник. Только еще более несчастный. Его все эти годы держали в клетке. Я сейчас подумала и даже горько улыбнулась: может, этот дракон — медсестра в больнице на какой-то очень далекой планете. И также приехала эта дракониха проводить свою дочку. И попала в наш зоопарк. И прожила в нем много лет, в клетке. И все хотела втолковать глупышкам, что она не глупее их. Так и умрет, не втолковав. Я значит, сначала улыбнулась, а потом расплакалась. Вот и сижу, реву...

И все-таки, если я думаю о драконе, а он жив еще, я проводывала, то думаю, что моя судьба лучше. Я хоть пользуюсь какой-то свободой. И пользовалась ею с самого начала. Я много думала, почему так получилось, что все остальные пленники — сколько их тут есть (я уж и не знаю — за перегородками на других этажах воздух другой — туда мне не пройти, и там тоже, наверное, есть пленники) сидят взаперти. Лишь я довольно свободно разгуливаю по этажам. Почему-то они решили, что я им не опасна. Может быть, их хозяева на меня похожи. Не знаю и, видно, не узнаю никогда. Пустили в огород и даже показали, где семена. Даже в лабораторию мне можно ходить. Даже слушаются меня глупышки. Тот, кто эти листки будет читать, наверно удивится, что за глупышки? Это я железных черепах так называю. Как узнала, что они — машинки, что они простых вещей не понимают, так и стала их звать глупышками. Для себя. Но все равно, если задуматься, жизнь моя ненамного лучше, чем у тех, кто в клетках. И в камерах. Просто,

моя тюрьма обширнее, чем у них. Вот и все. Я же пыталась через глупышек объяснить машине, Начальнику, что это чистое преступление — хватать живого человека и держать его так. Я хотела им объяснить, что лучше им связаться с нами, с Землей. Но потом я убедилась, что, кроме машин, здесь никого нет. А машинам дан приказ — летайте по Вселенной, собирайте, что встретится на пути, потом доложите. Только уж очень долгий обратный путь. Я еще надеюсь, что доживу, а дожив, встречу с Ними и все им выложу. А может, они и не знают, что где-нибудь, кроме их планеты, есть еще разумные люди? Полагают, что они одни такие?»

Когда Павлыш кончил читать этот листок, Даг сказал:

— В общем, она рассуждала довольно логично.

— У нее было время, — сказал Сато.

— Время! — возмутился Нумидин. — Она же не знала о космических путешествиях.

— Конечно, это был исследовательский автомат, — сказал Павлыш. — Но есть тут одна загадка. И Надежда ее уловила.

— Загадка? — спросил Сато.

— Мне кажется странным, — сказал Павлыш, — что такой громадный корабль, посланный в дальний поиск, не имеет никакой связи с базой, с планетой. Видно, летит он много лет. За это время информация устаревает.

— Я не согласен, — сказал Даг. — Поставь себя на их место. Представь, что таких кораблей несколько. Каждому выделен сектор Галактики. И пускай они летят много лет. Ведь органическую жизнь они обнаружат, дай бог, в одном мире из тысячи. Вот они и свозят информацию. Что такое сотни лет для столь развитой цивилизации, которая может рассылать таких разведчиков? А потом уж они на досуге рассмотрят трофеи и решат, куда посылать экспедицию.

— И они хватают все, что попадется? — спросил Сато, не скрывая неприязни к хозяевам корабля.

— А какие критерии могут быть у автоматов, чтобы определить, разумное ли существо им попало?

— Ну, Надежда, например, была одета. Они видели наши города.

— Не убедительно, — сказал Павлыш. — Это могут быть и муравейники. Где гарантия, что в мире их разум-

ные существа не ходят голыми и не одевают в платья своих домашних животных.

— И шансы на то, что они выловят именно разумное существо, столь малы,— добавил Даг,— что ими они, наверно, просто пренебрегают. В любом случае они стремятся сохранить живьем все свои трофеи.

— Разговор пустой,— подытожил Павлыш, поднимая следующий листок.— Мы ничего пока не знаем о тех, кто послал корабль. И не знаем, что они думали при этом. В известной нам части Галактики ничего подобного нет. Значит, они издалека. Мы знаем только, что они были у нас, но по какой-то причине не вернулись домой.

— Может, это и к лучшему,— сказал Даг.

«Как-нибудь потом, будет время, напишу о моих первых годах в тюрьме. Сейчас многое уже кажется туманным, далеким — и ужас мой, и отчаяние, и то, как я искала выход отсюда, думала даже, что заберусь к ним в центр и поломаю все их машины. Пускай мы разобьемся. Это в то время я так думала, когда боялась, что они снова прилетят к нам на Землю и натворят что-нибудь плохое. Но я быстро поняла, что с их кораблем мне не справиться. Наверно, тут сто инженеров не поймут, что к чему. А сейчас мне пора вернуться к тем событиям, которые произошли не так давно, месяцы, недели назад, уже после того, как я раздобыла бумагу и начала писать свой дневник. Новые пленники, которых подобрали в последний раз, попали на мой этаж, наверно, потому что у нас с ними одинаковый воздух. Их подержали сначала в камере, как в карантине, на другом этаже, а потом отправили в большие камеры недалеко от моих владений. У меня тогда зародилась надежда, что вдруг это тоже люди или кто-нибудь хотя бы похожий. Но когда я их увидела — подсмотрела, как глупышки завозили в камеру еду, поняла, что опять для меня — сплошное разочарование. Я как-то видела в Ярославле в магазине продавали трепангов. Я тогда подумала, бывает же гадость, и как только люди едят? Новенькие животные оказались похожими на таких трепангов. Было их в камере двое, росточком они с собаку, скользкие и отвратительного вида. Я расстроилась тогда и ушла к себе. Даже записывать ничего в дневник о них не стала. На другой день все рассказала моей драконихе, но она, ко-

нечно, ничего не поняла. Трепангов этих из камер не выпускали. Я скоро узнала, что их всего пятеро — двое в камере, а трое в клетке, за железной дверью. Их я через несколько дней увидела. Их пищу я тоже вскоре увидела, потому что глупышки мой огород потеснили, разводили в лоханках какую-то плесень, словно живую, шевелится и вонь от нее неприятная. И эту плесень таскали трепангам.

Хоть я и испытывала отвращение к трепангам, но понимала, что отвращение мое несправедливое. Ничего они мне плохого не сделали. И тем более я уже привыкла жить среди таких чудес и уродцев, что и во сне не приснятся. Посчитать мои дни здесь — такая получается бесконечная и одинаковая цепочка, что страшно делается. А вдуматься, то получится, что в каждый день узнаю что-нибудь, смотрю, думаю. До чего же человек — выносливое существо! Ведь и я кому-то кажусь страшным уродом. Может, даже и моей драконихе.

Наверно, эти трепанги могут чего-то думать. Такое решение мне пришло в голову, когда увидела, что стоит мне пройти мимо их клетки, — они за мной следят и двигаются. Как-то я шла с огорода с пучком редиски — редиска хилая, вялая, но все-таки витамины. Один трепанг возился у самой решетки. Мне показалось, что он старается сломать замок. Что же, подумала я, ведь и мне такое приходило в голову. В первые дни, когда я сидела взаперти, и в те дни, когда меня запирали, потому что приближались к другим планетам. Подумала и даже остановилась. Ведь что же это получается? Как я. Значит, думают? А трепанг, как заметил меня, зашипел и отполз внутрь. Но один из глупышек был неподалеку (я-то его не видела, привыкла не замечать), и он ударил трепанга током. Такое у них наказание. Трепанг съежился. Я на глупышку прикрикнула и хотела дальше пойти, но тут и мне досталось. Да так сильно он меня ударил током, что я даже упала и рассыпала редиску на полу. Видно он хотел мне показать, что с этими, с трепангами, мне делать нечего. Я поднялась кое-как — суставы последнее время побаливают — и ушла к себе. Сколько живу здесь, а не могу привыкнуть, что я для них все-таки как кролик в лаборатории. В любой момент они могут меня убить и в музей, в банку. И ничего им за это не будет. Я зубы стиснула и ушла.

Потом-то оказалось, что этот удар током мне даже помог. Трепанги сначала думали, что я — одна из их хозяев. Приняли даже меня за главную. И если бы не глупышкино наказание, меня бы считали за врага. А так — прошло дня три, иду я мимо них опять, к лаборатории, пора дракониху лечить, вижу один трепанг возится у решетки и шипит. Тихо так шипит. Осмотрелась я — глупышек не видно. «Чего, — спрашиваю, — не сладко тебе, милый?» Я за эти дни и к трепангам уже успела привыкнуть, и они не казались мне такими уродами, как в первый день. А трепанг все шипит и пощелкивает. И тогда я поняла, что он со мной говорит. «Не понимаю», — я ему ответила и хотела было улыбнуться, но решила, что не стоит — может, моя улыбка ему покажется хуже волчьего оскала. Тут в коридоре показался большой глупышка, с руками, как у кузнечика. Уборщик. Я хоть и знала, что такие током не бьют, но поспешила дальше — не хотела, чтобы меня видели перед клеткой. Обратно шла, снова задержалась, поговорила. Все есть с кем душу отвести. Потом мне пришло в голову: может, им удобнее со мной объясняться по-письменному. Я написала на листке, что меня зовут Надеждой, принесла ему, показала и при этом, что написано, повторяла вслух. Но боюсь, что он не понял. А еще через день случилось столкновение у одного из трепангов с глупышками. Я думаю, что ему удалось открыть замок, и его поймали в коридоре. Попал он на уборщиков, и они его сильно помяли, пока других глупышек звали, а он сопротивлялся. Я в коридоре была, услышала шум, побежала туда, но опоздала. Его уже посадили в камеру отдельную, новый замок сделали. Вижу — другие трепанги волнуются, беспокоятся в клетках. Я попыталась тогда пробраться в камеру к трепангу, которого отделили. Глупышки не пускают. Током не бьют, но не пускают. Тогда я решила их переупрямить. Встала около двери и стою. Дождалась, пока они дверь откроют, и успела заглянуть внутрь. Трепанг лежит на полу, весь израненный. Тогда я пошла в лабораторию, собрала там свою медицинскую сумку — ведь не в первый раз придется здесь выступать неотложной помощью — и пошла прямо в камеру. Когда глупышка хотел меня остановить, показала, что у меня в сумке. Глупышка замер. Я уже знала: они так делают, когда советуются с Машинной.

Жду. Прошла минута. Вдруг глупышка откатывается в сторону — иди, мол. Я просидела около трепанга часа три. Гоняла глупышек, словно своих санитарок. Они мне и воду принесли, и подстилку для трепанга, но одного я добиться не смогла — чтобы привели еще одного трепанга. Ведь свои лучше меня знают, что ему нужно. И самое удивительное, в тот момент, когда глупышек в камере не было, трепанг снова зашипел, и в его шипении я разобрала слова: «Несладко тебе, милый?» Я поняла, что он запомнил, как я с ним разговаривала, и старался мне подражать. Вот тогда я первый раз за много месяцев по-настоящему обрадовалась...

Меня удивляло, как быстро они запоминали мои слова и, хоть им трудно было их произносить — рот у них трубочкой, без зубов, они очень старались. Я все эти дни и недели жила как во сне. В хорошем сне. Я заметила в себе удивительные изменения. Оказалось, что нет на свете существ приятней, чем трепанги. Поняла, что они красивые, научилась их различать, но, честно скажу, ровным счетом ничего в их шипении и пощелкивании не понимала. Да и сейчас не понимаю. Я их учила, как только была возможность — мимо прохожу, слово говорю, разные предметы проношу рядом с клеткой, показываю, и они сразу понимают. Они выучили, как зовут меня и, как завидят (если рядом глупышек нет), сразу шипят: «Нашешда, Нашешда!» Ну, как малые дети! А я узнала на огороде, что они любят. И старалась подкормить. Хоть и еда у них вонючая — так и не привыкла к этому запаху. Глупышки по части трепангов имели строгий наказ Машины — на волю не отпускать, глаз не сводить, беречь и не доверять. Так что я не могла открыто с ними видаться. А то бы и меня заподозрили. И вот тоже удивительно: сколько я провела здесь времени — и была для глупышек неопасна. Одна была. А вместе с трепангами мы стали силой. И я это чувствовала. И трепанги мне говорили, когда научились по-русски. И вот наступил такой день, когда я подошла к их клетке и услышала:

— Надежда, надо уходить отсюда.

— Ну куда отсюда уйдешь? — ответила я. — Корабль летит неизвестно куда. Где мы теперь — никому неясно. Ведь разве мы сможем управлять кораблем?

И тогда трепанг Баль ответил мне:

— Управлять кораблем сможем. Не сейчас. После того, как больше узнаем. И ты нам нужна.

— Смогу ли я? — отвечаю.

Тут они вдвоем заверещали, зашипели на меня, уговаривали. А я только улыбнулась. Я не могла им сказать, что я счастлива.»

— В общем, она нашла единомышленников, — ответил кратко Павлыш на разгневанные требования Дага читать вслух. — Поймите меня, я же в десять раз быстрее проглядываю эти листки про себя.

— Вот уж... — начал было Даг, но Павлыш начал читать следующий листок.

«Несколько дней я не писала. Некогда было. Это совсем не значит, что я была занята больше, чем всегда — просто мысли мои были заняты. Я даже постриглась покороче, долго стояла перед темными зеркалами, кромсая скальпелем волосы. За что я отдала бы полжизни — это за уют. Ведь никто меня не видит, никто не знает здесь, что такое глажка, никто, кроме меня, не знает, что такое одежда. Сколько мне пришлось потратить времени, чтобы придумать, из чего шить и чем шить. Ну, просто хуже, чем Робинзон на необитаемом острове. И вот я стояла перед темным зеркалом и думала, что никогда не приходилось мне ходить в модницах. А уж теперь, если бы я появилась на Земле, вот бы все удивились — что за ископаемое? Сейчас, по моим расчетам, на Земле идет шестидесятый год. Что там носят женщины? Вот я и отвлеклась. Думаю о тряпках. Смешно? А Баль, это мой самый любимый трепанг, ради того, чтобы выучить получше мой язык, пошел на жертву. Порезался чем-то, страшно. И глупышки меня на помощь позвали. Я тут у них уже признанная скорая помощь. Я Баля ругала на чем свет стоит, а не учла, что он памятливей. Вот он теперь все мои ругательства запомнил. Ну, конечно, ругательства не страшные — голова садовая, дурачина, простофиля, такие ругательства.

Раз я имею свободу движения по нашей тюрьме, то у меня теперь две задачи: во-первых, держать связь между камерами, в которых сидят трепанги. Во-вторых, проникнуть за линию фронта и разузнать, где что находится. Вот я и вспомнила военные времена.»

Следующий листок был коротеньким, написан в спешке, кое-как.

«Дола три раза заставлял меня ходить за перегородку, в большой зал. Я ему рассказывала. Дола главный. Они, видно, решили между собой, что моей помощи им мало. Должен пойти в их операторскую Баль. До переборки я его доведу. Дальше у него будет моя бумажка с чертежом. И я останусь у переборки ждать, когда он вернется. Страшно мне за Баля. Глупышки куда шустрее. Пойдет он сейчас — в это время почти все они заняты на других этажах.»

Запись на этом обрывалась. Следующая была написана иначе. Буквы были маленькими, строгими.

«Ну вот, случилось ужасное. Я стояла за перегородкой, ждала Баля и считала про себя. Думала, если успеет вернуться, прежде чем я досчитаю до тысячи, — все в порядке. Но он не успел. Задержался. Замигали лампочки, зажужжало — так всегда бывает, если на корабле непорядок. Мимо меня пробежали глупышки. Я пыталась закрыть дверь, их не пускать, но один меня так током ударил, что я чуть сознание не потеряла. А Баля они убили. Не знаю, нарочно ли или он сопротивлялся. Теперь Баль в музее. Мне пришлось скрываться у себя в комнате, пока все не утихло. Я боялась, что меня запрут, но почему-то меня они всерьез не приняли. Когда я часа через два вышла в коридор, поплелась к огороду, пора было витамины моей драконихе давать, у дверей к трепангам стояли глупышки. Пришлось пройти, не глядя в ту сторону. Тогда я еще не знала, что Баля убили. Только вечером перекинулась парой слов с трепангами. И Дола сказал, что Баля убили. Ночью я переживала, вспомнила, какой Баль был милый, ласковый, красивый. И еще думала, что теперь все погибло — больше никому в операторскую не проникнуть. А сегодня Дола объяснил мне, что не все потеряно. Они, оказывается, могут друг с другом общаться на большом расстоянии. И вот, Баль потому и задержался, что своим товарищам передавал все устройство рубки управления нашего корабля, и свои по этому поводу соображения. Он даже побывал у самой Машины. Он знал, что, наверно, погибнет — он должен был успеть все передать. И Машина убила его. А может, и не убивала — она ведь только машина, но так получилось.

Первый раз за все годы проснувшись от холода. Мне показалось, что трудно дышать. Потом обошлось. Со-

грелась. Но трепанги, когда я к ним пришла, сказали, что с кораблем что-то неладно. Я спросила, не Баль ли виноват. Они ответили — нет. Но сказали, что надо спешить. А я-то думала, что корабль — вечный. Как Солнце. Дола сказал, что они теперь знают много об устройстве корабля. И о том, как работает Машина. Сказали, что у них дома есть машины посложнее этой. Но им нелегко с Машиной бороться, потому что глупышки захватили их, как и меня, врасплох. Готова ли я и дальше помогать? Конечно, готова, ответила я. Но ведь я очень рискую, объяснил мне тогда Дола. Если им удастся повернуть корабль или найти еще какой-нибудь способ вырваться отсюда, они смогут добраться до своего дома. А вот мне они помочь не смогут. Ведь они не знают путь к Земле. А разве нет на корабле каких-нибудь записей, маршрута к Земле, спросила я. Но они сказали, что не знают, где их искать и, вернее всего, они спрятаны в памяти Машины. И тогда я им объяснила мою философию. Если они возьмут меня с собой, я согласна куда угодно, только бы отсюда вырваться. Уж лучше буду жить и помру у трепангов, чем в тюрьме. А если мне и не удастся отсюда уйти, хоть спокойна буду, что кому-то помогла. Тогда и умирать легче...

На корабле стало еще холоднее. Я сходила, посмотрела на трубы в малом зале. Трубы чуть теплые. Два глупышки возились у них, что-то починяли. С трепангами я договориться смогла, а вот глупышки за все годы ничего мне не сказали. Да и что им сказать? Какие могут быть разговоры у стражника с пленными? Они и между собой не разговаривают. Но мне надо идти, и я не знаю, вернусь ли еще к моим запискам.»

И последний листок.

«Уважаемый Тимофей Федорович!

Примите мой низкий поклон и благодарность за все, что вы сделали для меня и моей дочери Ольги. Как вы там живете, вспоминаете ли меня иногда?»

Дальше были две строчки, густо зачеркнутые. И нарисована сосна. Или ель. Плохо нарисована, неумело.

Прошло несколько дней. Павлыш спал и ел под своим тентом и уходил в длинные коридоры корабля, как на работу. На связь он выходил редко.

Павлыш оставался все время рядом с Надеждой, ходил по ее следам, видел этот корабль — его коридоры, склады, закоулки именно так, как видела их Надежда.

Теперь, зная каждое слово в записках Надежды и расшифровав последовательность передвижений женщины по кораблю, уяснив значение ее маршрутов и дел, побывав и в тех местах, куда Надежда попасть не могла, но откуда исходили влияния и решения, определявшие судьбу корабля, Павлыш уже мог знать, что же произошло потом, причем именно знать, а не догадываться.

Обрывки проводов, перевернутый робот-глупышка, темное пятно на белесой стене, странный разгром в рубке управления, следы в отделении корабельного мозга — все это складывалось в картину последних событий, участником которых была Надежда. И Павлыш даже не искал следы, а знал, что там и там они могут оказаться. А если их не оказывалось, он шел дальше до тех пор, пока уверенность его не подкреплялась новыми доказательствами.

...Надежда спешила дописать последний листок. Она очень жалела теперь, что так мало писала в последние недели. Она вдруг представила: улетит с трепангами, может, когда-нибудь случится, что корабль попадет в руки к разумным существам, вдруг они смогут передать ее записки на Землю. И вот они будут клясть ее последними словами за то, что не описала свою жизнь подробно, день за днем, не описала ни трепангов, хоть знает их теперь как своих родственников, ни других, с которыми ей пришлось иметь дело на корабле — некоторые из них давно погибли, другие попали в музей, третьим, видно, суждено будет погибнуть, потому что трепанги смогли узнать — уж они куда больше Надежды разбираются во всякой технике, — что корабль так долго не возвращается к тем, кто его посылал, не потому, что так положено, а из-за того, что в системах его произошли неполадки. Если так дело пойдет дальше, он будет до

скончания века носиться по Вселенной, понемногу ломаясь, медленно умирая.

Все последние дни проходили в спешке. Надежда делала множество дел, значение которых она не всегда понимала, но знала, что они важны и нужны для цели, ясной трепангам.

Вот и сейчас, как допишет, сложит то свое добро, что не будет брать с собой, и надо бежать открывать три двери, которые нарисовали ей трепанги на плане. Эти двери трепангам не открыть, потому что квадратики слишком высоки для них.

Надежда поняла, что они возьмут с собой ту «подводную лодку», которая когда-то ее захватила в плен. На ней и полетят. Но для того чтобы сделать это, надо обязательно вывести из строя главную машину. А то к лодке не пройти, и машина просто не выпустит их с корабля. И для этого Надежда тоже была нужна.

Надежда не спала вторую ночь. Не только потому, что была охвачена возбуждением, но и потому что трепанги не спали вообще и не понимали, зачем ей сон. Стоило ей улечься, как сразу в мозгу она ощущала толчок — трепанги звали ее.

Складывая листки, Надежда вдруг засомневалась, оставлять ли их здесь. Может, лучше взять с собой на лодку? Нет, рассудила потом, сама-то она всегда может рассказать. А на корабле ничего не останется.

Толчок в голову. Надо бежать. Надежде вдруг показалось, что она уже не вернется сюда. Жизнь, тянувшаяся так медленно и монотонно, вдруг набрала страшную скорость и помчалась вперед. И именно сейчас может она оборваться...

— Мы постараемся все-таки повернуть сам корабль к нашей планете, — сказали ей трепанги. — Но это очень рискованно. Ведь для этого мы должны заставить мозг корабля подчиниться нам. Если нам это не удастся, то мы постараемся вывести его из строя. И воспользуемся спасательной лодкой. Но прилетит ли она, куда надо, сможем ли мы ею управлять — мы тоже не уверены. Поэтому, возможно, что нам грозит смерть. И мы должны сказать тебе об этом.

— Знаю, — сказала Надежда. — Я была на войне.

Но это ничего не говорило трепангам.

Трепанги тоже не теряли времени даром. Они сделали такую палку, которой, если стукнешь глупышку, он останавливается, выключается. Палку дали и Надежде. Она должна была идти впереди и открывать двери.

Два трепанга пошли за ней следом. Два других поспешили, поползли, подпрыгивая, наверх, где тоже было отделение с какими-то машинами — как капитанский мостик на пароходе, только без окон.

— Три двери,— повторял трепанг.— Но за последней дверью, возможно, не будет воздуха. Или будет не такой, как в нашем отделении. Сразу не входи. Подождем, пока наполнится. Ясно?

Трепанги всегда говорили ясно, они очень старались, чтобы Надежда понимала их приказы и просьбы.

За первой дверью Надежда как-то была. Помнила, что там широкий проход и по стенам стоят запасные глупышки. Как мертвые. Трепанги сказали ей, что там глупышки подзаряжаются, отдыхают. Почему она туда пошла и когда это было — Надежда не помнила. Но коридор с мертвыми глупышками в нишах запомнился отчетливо.

— Они тебя не тронут,— сказал Дола.— И мы тоже вооружены.

— Не успокаивай,— сказала Надежда.

— Только не рискуй,— сказал Дола.— Без тебя нам не выбраться. Помни это.

— Отлично помню. Не волнуйся.

Надежда провела ладонью по квадрату в стене, и дверь отошла в сторону. В том коридоре был странный запах, сладкий и в то же время горелый. Все ниши были заняты.

— Им приходится теперь дольше подзаряжаться,— сказал Дола, ползший сзади.— Ты видела, что их меньше стало в наших отсеках.

— Да, заметила,— сказала Надежда.

— Осторожнее!

Один из глупышек вдруг резко выскочил из ниши и поехал к ним, собираясь загородить дорогу.

— Быстрее,— сказал Дола.— Быстрее.

Надежда побежала вперед и постаралась перепрыгнуть через глупышку, бросившегося к ней под ноги.

Но глупышка — как это она забыла? — тоже подпрыгнул и ударил ее током. К счастью, несильно. Навер-

но, сам не успел подзарядиться. Надежда упала на колени и выронила палку.

Глупышку остановил Дола, который тоже имел такую же палку, как у Надежды, только покорооче.

— Что с тобой? — спросил он. Голос у трепанга шипящий, без всякого выражения, но по ощущению в голове Надежда поняла, как он волнуется.

— Ничего, — сказала Надежда, поднимаясь и заставляя себя забыть о боли. — Пошли дальше.

До следующей двери было шагов двадцать. Еще один глупышка стал вылезать из ниши, но делал он это медленно.

— Машина уже получила сигнал, — сказал Дола. — Они с ней связаны.

Надежда добежала, ковыляя, до двери, но квадрата на нужном месте не оказалось.

— Я не знаю, как открыть, — сказала она.

Сзади было тихо.

Она оглянулась. Дола стоял сзади. Неподвижно. Второй трепанг отбивался палочкой от трех глупышек сразу.

— Скорее, — сказал, наконец, Дола.

— Может, есть другой путь? — спросила Надежда, чувствуя, как у нее холодеют руки. — Эту дверь нам не открыть.

— Другого пути нет, — сказал Дола, и голос его шептал, шелестел откуда-то снизу, издалека. Дверь была заперта надежно.

Еще глупышки, другие, вялые, медленные, выползли из ниш и казалось, что на трепанга надвигается стадо слишком больших божьих коровок.

В этот момент дверь открылась сама. Распахнулась резко, так что Надежда еле успела отпрыгнуть в сторону.

Дола тоже успел отпрыгнуть в сторону. Трепанги умеют иногда прыгать довольно резво.

Из двери выскочил глупышка, которого Надежда никогда раньше не видела. Он был чуть ли не с нее ростом, и скорее был похож на шар, а не на черепашку, как прочие. У него было три членистые руки, и он громко и угрожающе жужжал, словно хотел распугать тех, кто осмелился зайти в неположенное место.

Откуда-то, то ли из его груди, то ли сверху вырвалось пламя и пролетело, заполняя коридор, совсем ря-

дом с Надеждой, и она ощутила его обжигающую близость. Она зажмурилась и не увидела, как Дола успел, подобрав большую палку, остановить глупышку, заставить его замереть.

Черепашки, толпившиеся в дальнем конце коридора, уже потемнели, словно обуглились, а второй трепанг, который сдерживал их и не успел отскочить, когда открылась дверь, превратился в кучу пепла на полу.

Все это Надежда видела, как во сне, словно ее не касались ни опасность, ни смерть. Она понимала, что ее дело — пройти за вторую дверь, потому что дверь может закрыться и тогда все, ради чего погибли Баль и этот трепанг, окажется бессмысленным и ненужным.

И Дола сразу последовал за ней, не останавливаясь, не оборачиваясь.

За второй дверью оказался круглый зал, словно верхняя половина шара. Они успели вовремя. К двери уже катился второй большой глупышка.

Но, видно, у него было задание стрелять и жечь только в коридоре, а изменить задания машина не успела — Дола бросился к нему и обезвредил раньше, чем тот начал действовать.

Перед Надеждой было несколько дверей, совершенно одинаковых, и она обернулась к Доле, чтобы он сказал, куда идти дальше.

Тот уже спешил вперед и быстро, изгибаясь, как испуганная гусеница, высоко поднимая спину, пополз мимо дверей, на какую-то долю секунды останавливаясь перед каждой и словно вынюхивая, что за ней находится.

— Здесь, — сказал он. — Ищи как войти.

Надежда уже стояла рядом. Эта дверь также была без запора. И какое-то тупое отчаяние овладело Надеждой. Она тогда просто толкнула дверь рукой — и та, словно ждала этого, тут же провалилась вниз.

Они были перед Машиной. Перед хозяином корабля, перед тем, кто отдавал приказы спускаться на чужие планеты и забирать все, что попадется, перед тем, кто поддерживал на корабле порядок, кормил, наказывал и хранил его пленников и добычу.

Машина оказалась просто стеной с множеством окошек и разноцветных лампочек, серых и голубых плиток и рукоятей. Это была Машина и ничего более. Она удивила Надежду. Нет, не разочаровала, а удивила, потому

что за годы, проведенные здесь, Надежда много раз пыталась представить себе хозяина корабля и наделяла его множеством страшных черт. Но именно безликость Машины поразила ее.

Маленький глупышка, который сидел где-то высоко на машине, соскользнул вниз и покатился к ним. Надежда хотела ткнуть его палкой, но палка была у Дола, и тот прополз навстречу глупышке и остановил его.

— Что дальше? — спросила Надежда, переводя дух.

Дола не ответил. Он уже стоял перед машиной и крутил своей червяковой головкой, разглядывая ее.

Что-то щелкнуло, словно от взгляда Дола, и зал наполнился громким прерывистым шипением. Надежда отпрянула, но еще не остановившись, уже догадалась, что это — голос другого трепанга.

— Все в порядке, — сказал тогда Дола. — Подсади меня вот сюда. Я поверну эту ручку.

Надежда подсадила его повыше, и он сделал что-то в машине.

— Наши, — сказал Дола, уже опустившись снова на пол и ползя вдоль машины, — на пульте управления. Если все будет в порядке, мы сможем управлять кораблем.

Дола прислушивался к шипению и говорил Надежде, что надо сделать, если сам не мог дотянуться до того или иного рычага или кнопки. И Надежда вдруг поняла, что они находятся просто в машинном отделении парохода, и капитан со своего мостика отдает им приказания: «Тихий ход, полный ход». И скоро они поедут дальше, домой.

Ее охватила странная, сладкая усталость. Она села на пол, потому что ноги отказались ее держать, и сказала только Доле:

— Я отдохну немножко.

— Хорошо, — сказал Дола, прислушиваясь к словам своих товарищей.

— Я отдохну, а потом буду тебе помогать.

— Они пытаются перевести корабль на ручное управление, — сказал ей Дола через некоторое время, и голос его донесся издали-издали.

И тут же Дола вскрикнул. Она никогда не слышала, чтобы трепанги кричали. Что-то случилось такое, что заставило его сильно испугаться.

Огоньки на лице машины гасли один за другим, перемигиваясь все слабее, будто прощались друг с дружкой. — Быстро, — сказал Дола. — К катеру.

Чего-то они не учли. Где-то в машине, на вид покрившейся восставшим пленникам, сохранились клеточки, которые приказали ей остановиться, умереть, лишь бы не служить другим, чужим.

Надежда поднялась на ноги, чувствуя, как Дола толкает ее, торопит, но никак не могла должным образом испугаться — сознание ее продолжало цепляться за спасительную мысль: «Все кончилось, все хорошо, теперь мы поедем домой».

И даже когда она бежала за Долой по коридору, мимо обожженных глупышек, даже когда они выскочили наружу и Дола велел ей скорее сносить к катеру еду и какие-то круглые, тяжелые предметы, помогая ей при этом, даже тогда она продолжала убаюкивать себя мыслью о том, что все будет в порядке. Ведь они же одолели машину.

У люка, который вел к катеру, Надежда сваливала продукты и бежала снова. И Дола все старался объяснить ей, но забывал слова и путался, что теперь машина перестала вырабатывать воздух и тепло, и скоро корабль умрет, и, если они не успеют погрузить и подготовить к отлету катер, их уже ничто не спасет.

Два других трепанга прибежали с капитанского мостика, притащив какие-то приборы, и стали возиться в катере. Они даже не замечали Надежду — движения их были торопливы, но точны, словно каждая из их рук — а их у трепангов по два десятка — занималась своим делом.

Сколько продолжалась эта беготня и суматоха, Надежда не могла сказать, но где-то, на десятом или двадцатом походе в оранжерею она вдруг поняла, что в корабле стало заметно холодней и труднее дышать. Ее даже удивило, что предсказания Дола сбываются так быстро. Ведь корабль же закрытый. Она не знала, что устройства, поглощавшие воздух, чтобы очистить и согреть его, еще продолжали работать, а те, кто должны были этот воздух возвращать на корабль, уже отключились. Корабль погибал медленно, и некоторые его системы, о чем тоже Надежда знать не могла, будут работать еще долго, месяцы, годы.

Надежда хотела было забежать к себе в каюту и забрать вещи, но Дола сказал ей, что придется отбывать через несколько минут, и тогда она решила вместо этого притащить еще один шар с воздухом, потому что он нужен был всем, а без юбки или косынки, без чашек она обойдется.

Она тащила шар по коридору и, несмотря на стужу в корабле, ей было жарко. Она задыхалась.

И если бы она не была так занята мыслью о том, как добраться до катера, она бы заметила еще одного большого глупышку, который, видно, охранял какое-то другое место на корабле, но почуял неладное, когда умерла машина, и покатился по коридорам отыскивать причину беды.

Надежда уже подбегала к катеру, уже оставалось ей пройти несколько шагов, как глупышка, который тоже увидел катер и направил свой огненный луч прямо в люк, чтобы сжечь все, что было внутри, увидел ее. Неизвестно, что подумал он, и думал ли он вообще, но он повернул луч.

Этой секунды было Доле достаточно, чтобы захлопнуть люк. И следующий выстрел глупышки лишь заставил почернеть блок катера.

Исчерпав свои заряды, глупышка застыл над кучкой пепла.

Дола открыл люк и сразу все понял. Он не мог задерживаться. Может быть, если бы он был человеком, то собрал бы пепел, оставшийся от Надежды, и похоронил его у себя дома. Но трепанги таких обычаев не знают.

Дола завинтил крышку люка, катер оторвался от умирающего корабля и понесся к звездам, среди которых была одна, нужная трепангам. Они еще не знали, удастся ли им до нее добраться...

Павлыш поднял с пола обгоревший клочок материи — все что осталось от Надежды.

Павлыш поднялся и подошел к холодному, пустому, сделавшему все, что от него требовалось, роботу, который так и простоял все эти годы, целясь в пустоту. Робот выполнял свой долг — охранял корабль от возможных неприятностей.

— Ты уже часа два молчишь, — сказал Даг. — Ничего не случилось?

— Потом расскажу, — сказал Павлыш. — Потом.

Они сидели с Софьей Петровной у самого окна. Она пила лимонад. Павлыш — пиво. Пиво было хорошее, темное, и сознание того, что его можно пить, что ты находишься в простое и до ближайшей медкомиссии месяца три, не меньше, обостряло сладкое ощущение небольшого, простительного проступка.

— А разве вам можно пить пиво? — спросила Софья Петровна.

— Можно, — сказал коротко Павлыш.

Софья Петровна отвернулась от Павлыша и посмотрела на бесконечное поле, на причудливые на фоне оранжевого заката силуэты планетарных машин.

— Долго что-то, — сказала она.

Софья Петровна казалась Павлышу скучным и правильным человеком. Она, наверно, отлично знает свое дело, учит детей русскому языку, но вряд ли дети ее любят, думал Павлыш, разглядывая ее острый, завершенный профиль, гладко причесанные и собранные сзади седые волосы.

— Почему вы меня разглядываете? — спросила Софья Петровна, не оборачиваясь.

— Профессиональная привычка? — ответил вопросом Павлыш.

— Не поняла вас.

— Учитель должен видеть все, что происходит в классе, даже если это происходит у него за спиной.

Софья Петровна улыбнулась одними губами.

— А я решила, что вы ищете сходство.

Павлыш не ответил. Он искал сходства, но не хотел в этом признаваться. Шумная компания курсантов в синих комбинезонах заняла соседний стол. Комбинезоны можно было снять еще в ангаре, но курсантам нравилось в них ходить. Они еще не успели привыкнуть ни к комбинезонам, ни к пилоткам с золотым гербом планетарной службы.

— Что-то они запаздывают, — повторила Софья Петровна.

— Нет, — Павлыш взглянул на часы. — Я же советовал вам подождать дома.

— Дома было как-то не по себе. Создавалось впечатление

чатленные, что кто-то сейчас войдет и спросит: почему вы не едете?

Софья Петровна говорила правильно и чуть книжно, словно все время мысленно писала фразы и проверяла их с красным карандашом.

— Все эти годы,— продолжала она, приподняв бокал с лимонадом и разглядывая пузырьки на его стенках,— я жила ожиданием этого дня. Это может показаться странным, так как внешне я старалась ничем не проявлять постоянного нетерпения, владевшего мною. Я ждала, пока расшифруют содержание блоков памяти того корабля. Я ожидала того дня, когда будет отправлена экспедиция к планете тех существ, которых моя бабушка называла трепангами. Я ждала ее возвращения. И вот дождалась.

— Теперь уже скоро,— сказал Павлыш.

— Я знаю, насколько вы были разочарованы при нашей первой встрече, когда я не проявила ожидавшихся от меня эмоций. Но что я должна была делать? Я же представляла себе бабушку лишь по нескольким любительским фотографиям, по рассказам мамы и по четырем медалям, принадлежавшим бабушке с тех лет, когда она была медицинской сестрой на фронте. Бабушка была для меня абстракцией. Моя мать уже умерла. А ведь она была последним человеком, для которого сочетание слов Надежда Сидорова означало не только любительскую фотографию, но и воспоминание о руках, глазах, словах. Со дня исчезновения бабушки прошло девяносто лет... Я ощутила связь с ней лишь потом, когда вы уехали. Когда я прочитала и перечитывала дневник бабушки. Я стала мерить собственные поступки ее мерками, ее терпением, ее одиночеством.

Павлыш наклонил голову, соглашаясь.

Даг быстро шел между столиками, издали заметив Павлыша и Софью Петровну.

— Летят,— сказал он.— Диспетчерская получила подтверждение.

Они стояли у окна и смотрели, как на горизонте опустился планетарный катер, как к нему понеслись разноцветные под закатом капли флаеров. И потом спустились вниз, потому что Даг был отлично знаком с начальником экспедиции Клапачом и надеялся, что сможет поговорить с ним раньше журналистов.

Клапач вылез из флаера первым. Остановился, оглядывая встречающих. Курносая девочка с очень белыми, как у Клапача, волосами, подбежала к нему, и он поднял ее на руки. Но глаза его не переставали искать кого-то в толпе. И когда он подходил к двери, то увидел Дага, Павлыша и Софью Петровну. Он опустил дочку на землю.

— Здравствуйте,— сказал он Софье Петровне.— Я уж боялся, что не придете.

Софья Петровна нахмурилась. Ей было не по себе от ощущения, что на нее смотрят телевизионные камеры и фотоаппараты.

— Она долетела? — спросила Софья Петровна.

— Нет,— сказал Клапач.— Она погибла, Павлыш был прав.

— И ничего...

— Нам не пришлось долго расспрашивать о ней. Посмотрите.

Клапач расстегнул карман парадного мундира. Летный состав всегда переодевался в парадные мундиры на внешних базах. Остальные члены экипажа стояли за спиной Клапача. На площадке перед космопортом было тихо.

Клапач достал фотографию. Объектив телекамеры спустился к его рукам, и фотография заняла экраны телевизоров.

На фотографии был город. Приземистые купола и длинные строения, схожие с валиками и цепочками шаров. На переднем плане статуя на невысоком круглом постаменте. Худая, гладко причесанная женщина в мешковатой одежде, очень похожая на Софью Петровну, сидит, держа на коленях странное существо, похожее на большого трепанга.

— Пап,— сказала курносая девочка, которой надоело ждать.— Покажи мне картину.

— Возьми,— Клапач отдал ей фотографию.

— Червяк,— сказала девочка разочарованно.

Софья Петровна опустила голову и короткими, четкими шагами пошла к зданию космопорта. Ее никто не останавливал, не окликал. Лишь один из журналистов хотел было кинуться вслед, но Павлыш поймал его за рукав.

Фотографию у девочки взял Даг.

Он смотрел на нее, видел мертвый корабль, проваливающийся в бесконечность космоса...

А через минуту площадь перед космопортом уже гудела от голосов, смеха и той обычной радостной суматохи, которая сопровождает приход в порт корабля или возвращение на Землю космонавтов.

техникой, пришлось повозиться с неделю, чтобы в целости опустить ее на землю и перенести в эту часть храма.

— Все равно это дикари, темный, коварный, невежественный народ. Фанатики, они ведь приносили в жертву своему проклятому идолу живых младенцев.— Центурион усмехнулся.— Чего там, говорят, у них даже терм не было, вот уж воистину животные.

— У них было море,— отпарировал инженер.— Эта нация купцов и путешественников почти не разлучалась с морской стихией, а волны понта куда очистительней и полезней, чем тухлая вода наших превосходных акведуков. Кроме того,— схибно добавил он,— эти первобытные дикари, эти животные едва не обрубили крылья римскому орлу. Не знаю, чему вас учат в военных академиях, но, видимо, общее представление о Каннах у тебя должно быть, мой любезный центурион?

— Мы их раздавили и дотла разрушили их гнездо. Какое имеет значение, сколько ставок ты проиграл, если кон за тобой.

— Да, конечно, только для этого понадобились три войны, два Сципiona Африканских и что-то около ста тысяч римских жизней.

Центурион фыркнул. Его сместили и раздражали штатские суждения о войне. Может быть, господа пацифисты укажут другой способ защитить вечный город? Небось, когда по форуму пронеслось «Hannibal ante portas»¹, эта публика, наложив в штаны, помчалась требовать всеобщей мобилизации, чрезвычайных полномочий консулам, беспощадной расправы с отложившимися италийскими союзниками. Теперь, когда порядок наведен и Рим всей своей необоримой мощью стоит на страже мира, каждому вольготно рассуждать о вреде милитаризма. Центурион остро ощутил несправедливость мироустройства, она касалась его самым непосредственным образом, поскольку он отдал ратному делу без малого три десятка лет и видел в нем не только профессию, обеспечивающую приличный прожиточный минимум, но и долг, призвание, до некоторой степени — историческую миссию.

— Это в тебе говорит происхождение,— неожиданно

¹ Ганнибал у ворот.— Лат.

нашелся он; к нему начало возвращаться благодушное настроение.

— Я римский гражданин, — возразил инженер.

— Не на сто процентов, у тебя мать гречанка.

— Гражданство не измеряется процентами.

У центуриона в запасе было множество аргументов, уж что-что, а тему зловредного эллинского влияния он мог считать своим коньком. Два карательных похода в Македонию, годовой постой в Пирее, бесконечные дискуссии с местной интеллигенцией — все это была отличная школа. Но здравый смысл подсказывал, что не следовало заходить слишком далеко. Инженер послан из центра, вполне вероятно, что у него есть связи в военном ведомстве, а может быть, кто знает, знакомства при дворе. Солдаты нужны всегда, но в мирные времена благоволят больше строителям.

Центурион нарочито громко зевнул, как бы извещая собеседника о своих миролюбивых намерениях.

— Уж очень палит, — сказал он, прикрываясь ладонью от солнца. — Вот бы когда море не помешало. Странно, почему это финикийцы вопреки обыкновению возвели храм так далеко от побережья.

— Это был не только храм, это прежде всего была крепость. Видимо, место выбиралось с расчетом защитить приморские центры — Тир, Сидон, Библос с тыла от набегов нумидийцев.

Расчет центуриона оказался верен, инженер подхватил предложенную ему тему, забыв о назревавшей ссоре. Впрочем, может быть, все дело было в том, что и сам он не рвался испортить отношения — в конце концов, хочешь-не-хочешь, им предстоит провести вместе не один год в этой горячей пустыне, в чужой и, в общем, враждебной среде.

Они находились в центре огромной строительной площадки, на искусственной насыпи, откуда удобно было наблюдать за ходом работ. Не так просто было понять, чем здесь заняты люди — стройкой или разрушением. Одни разбирали стену старинной кладки, другие, идя едва ли не по пятам, возводили новую. Бывшая здесь группа строителей суежилась вокруг колонны, которую следовало снять с пьестала и мягко, не повредив фриза, опустить на землю. Там шла подготовка к монтажу новой колонны, куда длинней и мощней ее предшествен-

ницы. Чуть в сторонке под соломенным навесом располагалась мастерская по обработке камня — его тесали, придавая нужный размер, высекали рисунок, чаще всего два-три штриха, которые казались простым узором и лишь в соседстве с другими плитами складывались в фигуры людей и богов, изображения животных и предметов, сливались в непрерывную сюжетную ткань барельефа; угловые опорные камни к тому же скреплялись бронзовыми стержнями и скрепами. За мастерской камня шла мастерская мрамора, к ней примыкали литейный цех, кузня, кирпичный завод, фабрика по обработке дерева, десятки других предприятий рабочего и подсобного назначения, вплоть до отряда полевых кухонь и воинских постов, раскинувшихся на окраинах строительной площадки. Впрочем, и за ее пределами можно было обнаружить кой-какие наспех сколоченные сооружения — трактиры, маркитантские лавки, публичные дома, владельцы которых слетелись в Гелиополис, бывший град Ваала¹, со всего финикийского побережья в расчете на щедрость римских легионеров и безрассудную расточительность скульпторов, художников, мастерового люда. И не ошиблись, ибо стройка приняла давно не виданные в здешних местах, опустошенных пуническими войнами, масштабы, сравнимые едва ли не с такими деяниями древнего человека, как возведение пирамиды Хеопса или Вавилонской башни.

Инженер с гордостью подумал, что здесь трудились в унисон подвластные его воле 10 тысяч свободных и 40 тысяч рабов. Он не выносил военщины с ее манерой обо всем рассуждать в терминах боевой стратегии, и все же не удержался от сравнения, льстившего тщеславию: 50 тысяч — это 12 легионов, с такими силами полководцы вечного города завоевывали целые империи, а иным удачливым смельчакам понадобилось куда меньше, чтобы покорить сам Рим и объявить себя Цезарем, Эпафродитом, богом. Инженер спохватился, испуганный полетом своего воображения и раздосадованный собственной суеτηностью. Впрочем, центурион лишен способности угады-

¹ Небольшой ливанский поселок Баальбек знаменит комплексом сохранившихся здесь древних храмов. Его название происходит, скорее всего, от имени финикийского божества — Ваала. В греческо-римский период городок назывался Гелиополисом.

вать тайные помыслы по мимолетному выражению лица. К тому же, кажется, что-то отвлекло его внимание.

Проследив за направлением взгляда своего собеседника, инженер улыбнулся. За чертой лагеря, у лесной полосы, начинавшейся примерно в пятнадцать стадиях от центра площадки, тянулась к небу густая волна черного дыма. Это явно не был простой костер, сложенный для приготовления пищи. Центурион поднялся, напряженно всматриваясь и пытаясь понять характер дыма. Уж не лесной ли пожар, и не дело ли рук злоумышленников, решивших таким путем оголить стройку, облегчить себе возможность внезапного нападения? Кто мог отважиться напасть на римский гарнизон, и чего ради, что за добыча камни Ваалова храма? Однако бдительность превыше всего.

Центурион был готов подзвать легионера, который исполнял при нем обязанности связного, но инженер остановил его жестом.

— Не поднимай тревоги, — сказал он. — Дым, который ты видишь, ничем для нас не опасен и даже может принести пользу. Ты ведь не возражал бы сократить наше пребывание в этом пекле на пару лет?

— Клянусь богами! Уж не нашел ли ты способ возносить свои колонны с помощью дыма?

— Ты и не представляешь, насколько близок к истине, — ответил инженер.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Они пустили коней шагом и почти не разговаривали в дороге. Подъезжая, центурион сообразил, почему ничто в этом месте не привлекало раньше его внимания. Лес здесь смыкался с отрогами гор, и деревья плотно обступали широкую плоскую скалу, в центре которой зияла просторная впадина — пещера, скорее даже полусвод. Дым должен был стелиться вдоль естественного желоба, размытого в скале падающей струйкой воды, а затем таять где-то меж вершин. И только резкий юго-западный ветер, погнавший его к Гелиополису, обнаружил мастерскую.

Да, это была мастерская, похожая на те, какие центуриону приходилось видеть в Македонии, неподалеку от рудных промыслов, где опытные мастера плавил металл.

ковали оружие, домашнюю утварь, цепи для рабов, украшения для женщин. Жар, исходящий от внушительного очага, накалял и без того горячий воздух пустыни и казался материально осязаемым. Его струи искажали очертания предметов, придавали красноватый блеск лицам и телам копошившихся вокруг людей. Повсюду можно было видеть обычные принадлежности мастерской: молот, наковальню, инструменты разных размеров и назначения, аккуратно сложенные готовые детали и груды ржавых отходов. Но все это центурион с его цепким тренированным взглядом заметил позднее, ибо его внимание сразу было поглощено диковинным сооружением в центре мастерской.

Фундамент его составлял медный котел, укрепленный на круговой кирпичной кладке. По форме его можно было бы принять за посудину для изготовления пищи, не будь он столь несуразно велик и к тому ж лишен крышки. Справа и слева из чрева котла исходили трубы в толщину человеческой руки от локтя до плеча, причем правая, короткая, была плотно прикрыта заслонкой, а левая сочленялась с другой трубой, поуже, которая, поднявшись под прямым углом, ввинчивалась в сосуд, по очертаниям напоминавший амфору, в каких перевозят на дальние расстояния, чаще по морю, масло и вино. Из горловины сосуда, в свою очередь, выползала трубка, она соединялась с другими, многократно изгибалась, раздвигалась, и это хитросплетение, парившее в воздухе, как ветви иссохшего дерева, завершалось двумя короткими прямыми коленами, вставленными в большой ящик. Величиной с платяной сундук, тоже изготовленный из меди, он казался необычно тяжелым, может быть, потому, что покоился на массивной металлической треноге. Из сундука исходил круглый стержень, а на него, как на ось, было насажено огромное деревянное колесо с широкими лопастями.

— Смахивает на кухню, — пробормотал центурион, сгоняя с лица выражение любознательной растерянности и принимая вид человека, который ждет объяснений.

— Да, — усмехнулся инженер, — только кухню Вулкана. Здесь готовят блюда не из индюшатины и кабанятины, а из благородных стихий — огня, воды, воздуха.

Инженер соскочил с коня и, бросив поводья рабу, шагнул к странной конструкции. Он поднял руку жестом

братора, требующего внимания, голос его зазвучал громче обычного, с нотками торжественной приподнятости. Конечно, центурион отнюдь не составлял благодатной аудитории. Но он был первым римлянином, который увидел это, а кроме того, хотя и солдафон, мужлан, но человек, не лишенный здравого смысла, с большим житейским опытом и практической сметкой.

— Запомни эту минуту, центурион. Ты присутствуешь при рождении восьмого и самого великого из чудес света. Ибо все прочие лишь прославляют человека, а это делает его Геркулесом. Природа одарила тебя богатырским телосложением, физические упражнения и походная жизнь придали твоим мышцам твердость камня. Но если даже ты позовешь на помощь всю свою сотню, а твои легионеры покажут себя такими же молодцами, как их командир, то вам не оторвать от земли и десятой доли той тяжести, какую легко подымет это колесо. Да, центурион, ты не ослышался, оно в десять раз сильнее твоей центурии, ибо в нем живет божественная сила огня — стихии горючей, светящейся, сухой и легкой, как сказал Аристотель, отец наук.

Центурион спешил, подошел к инженеру.

— Ты забываешь, — сказал он, — что здесь под моим командованием находится целая когорта, а если добавить приданные нам вспомогательные отряды, то наберется с поллегиона. Но это к делу не относится. — Он положил руку на плечо собеседнику, переходя на доверительный тон. — Я ведь из крестьян, кое-что смыслю в технике, разумеется, больше в военной. Это колесо с лопастями напоминает мне водяную мельницу, которую я впервые увидел у нас в Кампаньи, когда мы с отцом повезли зерно на помол, да и потом видел не раз в других местах, причем разных конструкций. Но зачем оно здесь, где нет реки или, как ты возвышенно выражаешься, водяной стихии? И для чего чан?

— Не чан, а котел. Я постараюсь объяснить тебе, как действует это удивительное устройство.

Люди, суетившиеся вокруг, казалось, не замечали их, продолжая заниматься своим делом. Инженер жестом пригласил центуриона присесть на стоявшую рядом каменную скамью, над которой был сооружен соломенный навес.

— В мельнице, о которой ты говоришь, — начал он, —

колесо берет силу у речного потока и с помощью зубчатых передач отдает ее мельничному жернову. Иначе говоря, оно выполняет роль двигателя, в то время как жернов выполняет роль рабочего механизма. К слову, его можно заменить любым другим механизмом, например, откачивающим воду из рудной шахты или поднимающим ворота в крепостной стене.

— Теперь обрати внимание, что в нашей конструкции колесо предназначено служить как раз рабочим механизмом, то есть непосредственно выполнять для нас какую-то полезную работу. Расположенные на нем лопасти не должны вводить в заблуждение, они сделаны не для того, чтобы отнимать силу у движущейся воды, а для выноса земли на поверхность при рытье котлована — ты увидишь позднее, как это делается. Но где же в таком случае двигатель? — Инженер сделал секундную паузу и, указывая на котел, заключил: — Вот он!

— Ты хочешь сказать, что в этом чане... — начал было центурион, но инженер прервал его:

— Именно это я и хочу сказать. В котле с помощью огня, воды и воздуха образуется воистину геркулесова мощь. Чтобы понять все значение совершающегося в нем таинства, заметь, что до сих пор боги вразумили людей на использование силы воды и воздуха — я имею в виду ветер, надувающий паруса наших кораблей или вращающий крылья ветряных мельниц. Огонь же, если не считать приготовления пищи, служил разрушению и был нашим злейшим недругом. Здесь он впервые приручен и вместе с другими стихиями будет послушно исполнять нашу волю.

— Ладно, ладно, — заметил центурион с раздражением, — я уже постиг величие момента, постарайся все-таки быть ближе к делу.

Инженер подавил обиду, утешившись мыслью, что, действительно, незачем метать бисер перед свиньями.

— Хорошо, — сказал он, — обойдусь без теории и буду предельно популярным. Под воздействием нагрева вода, залитая в котел, превращается в пар, имеющий свойство почти мгновенно заполнять пространство, во много, может быть, в тысячи раз большее, чем занимала до того вода. Он сосредоточивается в сосуде, напоминающем по форме амфору, а затем устремляется в ящик, где, собственно, и находится главная часть конструкции. Возможно, тебе приходилось слышать о пожарном насосе

Ктесибия? Его описывает в одной из своих десяти книг об архитектуре Марк Витрувий Поллион. Так вот этот механизм, разработанный по принципу деревянных цилиндрических насосов с кожаными поршнями, издавна известных многим народам, позволяет преобразовать буйную и притом действующую без смысла, сразу по всем направлениям, силу пара в размеренное и непрерывное движение. Ну, а задача передать это движение на колесо, заставить его вращаться, решается посредством хитроумного приспособления, также изобретенного в незапамятные времена. Впрочем, подожди... — Инженер поискал глазами и удовлетворенно хмыкнул, заметив валявшийся неподалеку тонкий металлический прут. Подобрал его и зажав между колен, он выгнул прут посередине, затем упер одним концом в землю, взялся за выгнутое место и задвигал рукой по прямой — при этом кисть его заметно совершала круговое движение. Центурион понимающе кивнул, инженер отбросил прут, потер руки, стряхивая прилипший к ладоням песок.

— Я оставляю в стороне некоторые важные подробности, например механизм периодического нагревания и охлаждения трубок, без которого установка обречена бездействовать. Этого не понять, не имея специального технического образования. Признаюсь, не все еще ясно и мне самому.

— Лично мне, — сказал центурион, — наплевать на то, как устроена моя лошадь. Достаточно знать, чем ее следует кормить и как за ней ухаживать, чтобы она не пала в походе и вынесла в бою.

— Не забывай, однако, что лошадь, как и все живое вокруг нас, сотворена волею богов и по неведомым нам законам провидения. Машина же... да, я полагаю, лучше всего назвать это сооружение огненной машиной, созданной руками и разумом человека, хотя, конечно, тоже по наущению Юпитера, пожелавшего поделиться со смертными частицей своего огненного могущества. Ты не можешь убить лошадь, чтобы посмотреть, как она устроена, и затем вновь оживить. А я могу разобрать машину и собрать ее опять.

— И все-таки чего-то в ней не понимаешь?

— Не понимаю. Ни я, ни тем более он.

— Кто это он?

— Изобретатель.

— Почему же ты оказался на стройке храма вместо того, чтобы ковыряться в своем саду?

— Потому что я хотел построить машину.

— Видишь ли,— вмешался инженер,— в одну из своих поездок по окрестностям в поисках строительных материалов, я попал на участок Гелиобала. Это оазис в здешних пустынных местах, тем более удивительный, что вокруг нет никаких признаков реки или хотя бы горного ручейка. «Где ты берешь воду?» — спросил я у хозяина. «Из земли» — прозвучал ответ. «Сколько же нужно людей, чтобы оросить такой сад?» — «Я обхожусь сам». И он показал мне колодец, у которого работала огненная машина, непрерывно качая воду и подавая ее в оросительную сеть. Она была проще и значительно меньше этой, но построена по тому же принципу. Гелиобалу даже не приходило в голову, что он изобрел двигатель, который способен перевернуть мир. Не смешно ли?

— Никто не способен перевернуть мир, кроме Юпитера,— строго заметил центурион.

Инженер пропустил реплику мимо ушей.

— Ты понимаешь,— продолжал он,— что мне сразу пришла мысль о возможности использовать огненную машину на стройке храма. Гелиобал долго упирался, хотя я и сулил ему крупное вознаграждение.

— Я пришел потому, что хотел построить большую машину,— сказал Гелиобал.

— Вот как! — центурион метнул на него тяжелый взгляд. — Ах, да,— сказал он с иронией,— ты же ведь свободный человек. Может быть, даже прямой потомок Газдубала и Ганнибала? — Он сделал паузу, но финикиец молчал. — Кем бы ты ни был, запомни: если б ты отказался служить Риму за деньги, я мог бы тебя просто реквизи́ровать.

— Не горячись! — сказал инженер, кладя руку на плечо распялявшегося офицера. — Не забывай, что земля — единственное, что кормит его семью, ему было нелегко с ней расстаться. Кроме того, Юпитер избрал этого человека своим орудием, чтобы передать через него секрет приручения огня. — Заметив, что аргумент произвел на центуриона впечатление, инженер поспешил окончательно погасить вспышку. — А сейчас настал момент испытания. Займи свое место, Гелиобал, отдай приказ своим людям, мы начинаем!

Последующие несколько минут были заполнены быстрой и хлопотливой подготовкой к пуску двигателя. В ней, однако, не было излишней суеты. Люди, обслуживающие машину, а их оказалось не меньше трех десятков, знали свою задачу, действовали толково и четко. Гелиобал изредка делал негромкие замечания, его понимали с полуслова, даже полужеста. Центуриону как военному человеку, обожавшему порядок, процедура понравилась. Он невольно сравнил ее с бестолковщиной на разных участках стройки, без которой, пожалуй, не обходилось ни в каком деле, где одновременно трудились несколько десятков рабов. Странно уже то, что здесь никого не нужно подгонять бичом. Почему это? Уж не потому ли, что им всем, как Гелиобалу, просто хотелось построить машину, а теперь просто хочется, чтобы она работала? Чушь!..

По сигналу инженера Гелиобал и двое его подручных, оставшихся у машины, подбросили несколько поленьев в очаг, начали открывать заслонки, передвигать рычаги, совершать какие-то другие сложные манипуляции, смысла которых центурион не мог постичь. Да он и не глядел на людей, его внимание, как и внимание всех участников и зрителей происходящего, было приковано машиной. Сперва она обнаружила признаки пробуждения, в котле заклокотало, по трубкам, как по жилам, понеслись горячие потоки, их поверхность начала быстро запотевать, в местах сочленений стали вырываться на волю клочья пара и стекать на песок капли влаги. Шум огня, скрип и скрежетдвигающихся металлических деталей, вой пара в закоулках машины, грохот рабочего колеса слились в мощный и неумолчный гул.

Как зачарованные, смотрели люди на огненное чудо, созданное их руками. Иные кинулись навзничь, зарылись в песок, охваченные ужасом. Другие, посмелее, все же предпочли отбежать на изрядное расстояние. Смелчаки стояли плотным кругом, насколько позволяли жар очага и витавшее в воздухе легкое паровое облачко; отблеск пламени гулял по их восхищенным лицам. А впереди, почти у самой топки, непонятно как выдерживая прикосновения языков огня, Гелиобал, подобный Вулкану в своей кузне, управлял таинством машинного действия с помощью длинного тонкого ломика.

Колесо вращалось все быстрее и быстрее, пока стало невозможно различить спицы, а затем и обод, о движе-

нии которого можно было судить по свисту разрезаемого воздуха и сферической форме оставляемого им следа. С чем сравнить эту бешеную скорость? Наверное, ни с чем из того, что можно встретить на земле. Разве что так мчится колесница Гелиоса, когда солнечный бог объезжает свои бескрайние небесные владения.

— Мы показали наивысшую скорость, на какую способна огненная машина, — прокричал инженер, — но ты сам понимаешь, что такая скорость практически бесполезна. Система рычагов позволяет умерить бег колеса и сделать его пригодным для работы. Вот, смотри.

Под воздействием операций, сделанных Гелиобалом, вращение колеса резко замедлилось, теперь оно совершало оборот за полминуты. По знаку инженера несколько человек подтащили к машине наспех сколоченную деревянную конструкцию, целую башню, на плоской вершине которой была сооружена система блоков. Они перекинули через блочный механизм толстый канат и, обвязав один его конец вокруг тяжелого камня, закрепили другой на колесе. Центурион проследил глазами, как камень пополз в высоту и повис у края площадки.

— Это один из возможных способов применения огненной машины, — пояснил инженер. — О другом я уже тебе говорил. Должно быть, ее можно использовать не только для подъема тяжестей, будь то деталь потолка для здания, вода из колодца или земля из шахты. Но до новых способов надо еще додуматься, не говоря о том, что каждый из них требует оригинальных технических решений и сложных, дорогостоящих приспособлений... Останови двигатель, — крикнул он Гелиобалу, — отпусти людей поест и отдохнуть, а сам подойди к нам.

— Конечно, — продолжил он, обращаясь к центуриону, — первая моя цель ограничивается тем, чтобы употребить машину на стройке храма Юпитера. По моим расчетам, пройдет шесть полных лун, прежде чем это случится. Зато потом мы полетим вперед, как на крыльях. Император будет доволен.

Инженер остановился, заметив, что центурион его не слушает, с нетерпением поглядывая в сторону Гелиобала. Он шагнул навстречу финикийцу и уперся в него взглядом; в руке, выдавая возбуждение, подрагивал хлыст.

— Ты молодец, Гелиобал.

— Благодарю, господин.

— Я попрошу легата, чтобы римский наместник удвоил твой земельный участок.

— Да сохранят тебя боги.

— Я хочу иметь такую же машину на своей ферме.

— Как прикажешь.

— Но это не самое важное. Скажи, Гелиобал, готов ли ты оказать услугу великому Риму?

— Какую именно? — в голосе изобретателя прозвучало беспокойство.

— Огненную машину надо приспособить к боевым действиям. Она должна умножить мощь римских легионов и принести новую славу нашему непобедимому оружию. Понял, Гелиобал? Я хочу, чтобы машина научилась делать что-либо для войны, скажем, пробивать стены или осыпать противника градом камней или обжигать его воинов горячей струей пара.

— Машина не создана для этого, господин.

— Так ты ее переделаешь!

— Невозможно.

— Поберегись, вонючая финикийская тварь!

— Ты можешь меня убить, господин, но моя машина не станет боевым слоном.

Раздался резкий свист бича, и по лицу Гелиобала наискось пролегла кровавая полоса. Подскочивший инженер успел лишь задержать руку, поднятую для повторного удара. Центурион вырвался, отбросил бич, овладев собой.

— Запомни,— сказал он холодно,— либо ты сам делаешь то, что я сказал, либо это сделают без тебя другие. Можешь не сомневаться, в Риме найдутся для этого подходящие люди. Твоя огненная машина будет швырять камни и рушить крепостные стены, с ее помощью вихрем понесутся наши боевые колесницы...

Центурион заметно отшатнулся, когда Гелиобал кинулся к нему в колени. Но финикиец не замыслил зла, он всего лишь поцеловал руку римлянину, вскочил и побежал прочь, радостно что-то прикрикивая. Он смешно переваливался на коротких ногах массивным телом.

Лицо центуриона разгладилось.

— Видишь,— сказал он инженеру,— с этой нацией рабов надо уметь разговаривать. Они понимают только язык силы.

Много десятилетий назад римские архитекторы по воле императора приступили к возведению грандиозного ансамбля, состоящего из храмов Юпитера, Венеры и Бахуса, помещений для жрецов, крепостных сооружений, казарм для гарнизона, жилых домов для администрации, всевозможных подсобных построек, вплоть до просторных конюшен. В истории строительства, растянувшегося на несколько поколений, было немало торжественных минут. Старцы Гелиополиса сохранили память о церемонии закладки фундамента, на которой присутствовал Сципион африканский, полководец, знаменитый внук знаменитого деда, положивший конец существованию финикийской державы. В памяти местных жителей осталось освящение жрецами постамента, призванного стать опорой для храма Юпитера и сложенного из плит исполинского размера¹. Но все эти события, по словам тех, кто мог сравнивать, уступали торжеству установки колонн — этих гранитных громад высотой в 40 локтей² и диаметром почти в четыре с половиной. 54 такие колонны должны были составить величие и красоту храма. Доставить каждую из них за сотни километров и водрузить на отведенное ей место — было подвигом.

Колонны собирались из трех частей, и метод их установки ничуть не отличался от того, какой применяли в Вавилоне тысячу лет назад и в Египте — две тысячи лет назад: делали насыпь, втаскивали обвитую канатами колонну, подгоняли к месту, ставили на попа. Если нужен был следующий ряд, насыпали холм, втаскивали колонну...

И вот теперь на одной площадке почти одновременно вели монтаж люди и огненная машина. Тысяча рабов, подгоняемых надсмотрщиками, в едином порыве напрягали мускулы. Здесь нельзя было использовать ни буйволов, ни лошадей, ибо животные могли прийти в возбуждение, понести, погубить все дело.

Локоть за локтем ползла красавица колонна к месту,

¹ Храм Юпитера стоял на платформе длиной 87,7 м и шириной 47,7 м, выложенной из каменных плит весом более тысячи тонн каждая.

² Л о к о т ь — древняя мера длины, колебавшаяся от 40 до 60 см. Здесь он принят за 50 см. Точный размер колонн храма Юпитера: высота 20 м, диаметр — 2,2 м.

где ей предстояло стоять тысячелетиями. Потом наступали ответственные часы подъема, которые растягивались на сутки. Люди падали от изнеможения, или под ударами бича давили друг друга, или сгорали под солнечными лучами.

Свою первую колонну огненная машина с помощью высотной башни и системы блоков поставила на место за неделю, вторую — за три дня. Третью Гелиобал не без самодовольства пообещал поставить за день. Он и его команда начинали приобретать сноровку в управлении двигателем.

Чем больше инженер общался с финикийцем, тем большим проникался к нему уважением. Выросший в крестьянской семье и не получивший никакого образования, Гелиобал тем не менее был весьма интересным собеседником. Ясный и глубокий природный ум позволял ему быстро схватывать суть вещей, а во всем, что касается техники, он обладал к тому же интуитивным даром находить неожиданные решения. Изобретательство было его стихией, едва ли не каждый день он придумывал какие-то новшества, без устали совершенствовал различные узлы своего механического создания, либо вдруг поражал воображение инженера какой-нибудь фантастической и заманчивой идеей вроде предложения приспособить к своему двигателю крылья и повторить полет легендарного Икара. «Ты слишком тяжел для этого», — отшутился инженер, но потом не раз возвращался мыслью к этому дерзкому замыслу.

В молодости Гелиобал, по его словам, отдал дань национальному призванию финикийцев, проплавав несколько лет матросом на купеческом судне. Ему удалось побывать в соседних странах, увиденное и услышанное в годы странствий во многом возместило недостаток систематических знаний. Не чужд он был истории, политике, искусству. Как-то раз после трудного дня, когда они отпустили своих помощников и условились о задании на завтра, изобретатель с горечью спросил, зачем римлянам понадобилось ставить храмы там, где находился древний храм Ваала. Разве недостает места вокруг? И не кажется ли инженеру, что в их интересах было бы создавать подобные сооружения на своей земле, а не за морями — горами, где их надо защищать от варваров и от песков пустыни?

Последнее замечание показалось инженеру дерзким, он чувствовал, что следует осадить финикийца, но не решился, сам себя ругая за мягкотелость. И постарался вложить все свое раздражение в ответ: потому что великий Рим не знает границ, и там, где он стал своим победоносным сапогом, будет стоять вечно; потому что римляне не только оказались более отважны и искусны в бою, чем финикийцы, но и превосшли их своей культурой; потому что истинные боги утверждают себя, свергая богов ложных.

— И все же,— упрямо заметил Гелиобал,— разве непременно надо было разрушать храм Ваала, чтобы возвести храм Юпитера?

Инженер смолчал. Позднее он попытался разобраться во всем этом. Замысел проглядывал ясно: закрепить военную победу, раздавить финикийян духовно, создать очаг распространения культа римских богов для всех расположенных вокруг колоний вечного города. Со временем эти политические цели могли тускнеть, но приобретали силу соображения экономические: стройка висела на балансе казны, и чем больше средств она поглощала, тем труднее было от нее отказаться. Видимо, немало значило и тщеславие императоров, их желание прославить себя и Рим, создав чудо из чудес как раз в этом районе, где чуть ли не каждая древняя цивилизация оставила свои величественные памятники.

Впрочем, времени на подобные досужие размышления у инженера оставалось не так-то много. Помимо привычных хлопот на стройке, ему приходилось тратить много физических и душевных сил на огненную машину, которую он привык считать своим детищем. Чуть ли не каждый день с ней или вокруг нее случалось нечто такое, что требовало немедленного внимания. Иногда возникали банальные технические проблемы, для решения которых опыт и специальные знания инженера были гораздо предпочтительней изобретательного и оригинального ума Гелиобала. Но чаще всего заботы порождались настроением лагеря, и сладить с ними мог только инженер с его административной властью и политической изворотливостью.

Уже слухи о существовании огненной машины произвели сенсацию в многочисленном и разношерстном населении Гелиополиса. Первое же ее появление и особенно

запуск двигателя породили смятение, какое могла бы вызвать разве что весть о нашествии свирепых кочевых племен. Постепенно первый шок миновал, но многие так и не смогли оправиться от страха, усмотрев в двигателе воплощение черных разрушительных сил. Другие испытывали по отношению к нему благоговейный ужас или просто безграничное почтение. Однако по мере того как машина принимала все более деятельное участие в строительных делах и становилась видна ее очевидная польза, число ее поклонников росло, восхищение и благодарность вытесняли все прочие чувства. С особой любовью относились к ней огнепоклонники, рассматривая двигатель как одну из метаморфоз огня, еще одно свидетельство могущества этого благородного божества.

И все же не было оснований для успокоенности. Дело в том, что огненная машина сразу же вызвала настороженное или откровенно враждебное к себе отношение со стороны жреческого сословия города и стройки. Учитывая огромное влияние жрецов на настроения толпы, этим никак не приходилось пренебрегать. Дело поначалу дошло до того, что священнослужители разных религий, забыв вечные распри, объединились, чтобы изгнать чудище. Инженер никак не мог уразуметь причину этой ненависти к машине и довольствовался объяснением, что жрецы просто усмотрели в ней опасного конкурента, способного отвлечь от них души верующих.

Как бы то ни было, явно по наущению жрецов отдельные злоумышленники попытались нанести двигателю увечье. К счастью, этому помешал Гелиобал, не отходивший от него ни днем, ни ночью; пришлось установить специальный караул. Священники продолжали исподволь нагнетать недовольство, в воздухе запахло возмущением. Но тут дело спас центурион. Он вмешался и потому, что в его обязанность вменялось поддержание железного порядка, и потому, что питал к машине скрытую симпатию, связывал с ней какие-то особые свои планы.

Действовал центурион со свойственной ему решительностью. Захваченные злоумышленники были распяты и выставлены на всеобщее обозрение, а уstraшенные жрецы, знавшие крутой нрав офицера и не сомневавшиеся, что он не задумается занести руку и на служителей культа, были созваны на совещание. Центурион обратился к ним с речью, которая не отличалась красотой слога и ри-

торическими ухищрениями, но содержала две принципиальные мысли. Первая состояла в том, что машина в будущем послужит вящей славе римского воинства, а вторая сводилась к тому, что в образе машины на помощь стройке явился сам бог Вулкан, засвидетельствовав тем самым покровительство свыше. Такая интерпретация поставила жрецов в тупик, ибо в соответствии с нею любые враждебные акции против машины приобретали одновременно характер выступления против отечества и религии. Им пришлось смириться, по крайней мере временно.

...Инженер не мог удержаться от смеха, вспомнив рассказ центуриона о том, с какими постными лицами расходились с небольшого временного форума жрецы. Полог шатра откинулся, и на пороге появился он сам собственной персоной. Слава богам! За последнее время они сблизились, вероятно, на почве общей симпатии к машине и ответственности за ее судьбу. Инженер старался теперь не замечать грубости центуриона, его явного невежества во многих сферах, склонности к бахвальству. Все это отступало на задний план перед тем простым обстоятельством, что в присутствии война он чувствовал себя как за каменной стеной.

— Как в Библосе? — спросил он, предлагая гостю присесть и разделить с ним ужин.

— Все так же, — ответил центурион, плюхаясь на мягкие подушки и запуская пятерню в блюдо с дичью. — Мне эта операция надоела до рвоты. Трястись за десятки миль ради того, чтобы провести вечер в обществе потасканной гетеры, которая к тому ж ухитрилась завлечь меня на театральное представление, с ума можно сойти! Единственное, что утешает, так это возможность подышать свежим воздухом и ощутить соленые брызги понта.

— Ты стал поэтом, — усмехнулся инженер.

Центурион не ответил, продолжая интенсивно работать челюстями.

— Можно мне, господин? — спросил казначей, входя для обычного доклада о состоянии финансов. Он достал из своей сумки аккуратно сложенные таблички и начал быстро просматривать записи, видимо, решая, с чего начать.

— Сегодня я не расположен долго тебя выслушивать, — сказал инженер. — Скажи только о том, что за-

служивает особого внимания. Если ничего такого нет — можешь отправляться в свой кабак.

Казначей не моргнул глазом.

— Как раз сегодня, — сказал он, — я сделал кое-какие расчеты и хотел тебя с ними познакомить. Если ты позволишь. — С этими словами он подошел к стоящему у стенки пифосу¹, налил черпаком кружку вина и удобно устроился на четвереньках.

— Говори, — приказал инженер, лениво отмечая про себя, что казначей, как всегда, не дождался разрешения.

— За последнее время, — начал казначей, — на стройке храма Юпитера были возведены две колонны, шестнадцатая и семнадцатая. В монтаже шестнадцатой участвовали восемьсот рабов, содержание каждого обходится по одному оболу в день. Если сюда добавить оплату свободным мастерам и всякого рода дополнительные расходы, установка шестнадцатой обошлась нам в два таланта. Семнадцатая была поставлена огненной машиной. Стоимость новой конструкции, которая понадобилась в связи с тем, что колонна возводилась на удалении от машины, подвоз дров, воды и масла, а также содержание рабов, подготовивших колонну к установке, составляют в сумме два с половиной таланта. Если сюда добавить ту часть стоимости машины, которая приходится на данную операцию, то семнадцатая обошлась нам в три с половиной таланта.

Центурион, давно переставший жевать, перевел взгляд на инженера. Тот, явно расстроенный, что-то быстро прикидывал стилем на небольшой карманной табличке.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил, наконец, центурион.

— Только то, что сказал. Машина нерентабельна. С ней можно разориться.

— Погоди, — поднял голову инженер, — как ты определял первоначальные затраты?

— Очень просто: разделил стоимость машины на 27 колонн, то есть ровно половину их общего количества. Другую половину поставят рабы.

— Машина может легко поставить все колонны.

— Справедливо, господин. Но что в таком случае будут делать рабы? Разогнать их ты не можешь, так как

¹ Глиняная бочка для вина или масла.

машина неспособна производить ряд операций. Но если мы все равно держим их на стройке и тратим на каждого обол, то полное безумие — позволить им бездельничать. Над нами посмеются не только ученые — экономисты, но и каждый полуграмотный сельский подрядчик.

Наступило молчание. Казначей опрокинул в себя кружку.

— Погоди, — воскликнул инженер, — но ведь машина сделала работу за два дня, а рабы за десять. Почему ты не учиываешь это в своей идиотской статистике?

Казначей отер губы полой гиматия¹.

— Потому что, — ответил он, — нам некуда спешить.

— Как некуда? — загремел центурион, вскакивая. — Ты явно спятил, мошенник!

— Не горячись, господин, — спокойно возразил казначей. — Прими только во внимание, что каждые две колонны поступают в Гелиополис не чаще, чем через три луны, и подвозить их быстрее невозможно.

***** 5 *****

Инженеру не спалось. Лежа на спине и глядя в ночное небо, он вновь и вновь переживал события последних дней. Воистину правы те, кто верит, что судьбы людей не зависят от их воли и целиком находятся в распоряжении Рока. Совсем недавно он числил себя среди почитаемого сословия строителей, к нему благоволил сам император, ему было доверено руководить созданием архитектурного чуда эпохи. И вот теперь все поставлено на карту: либо его вознесут, как лицо, оказавшее государству чрезвычайные услуги, либо обвинят в растрате и превышении власти, в богохульстве, с позором выгонят со службы, если не хуже.

Как все это случилось? Конечно, он мог оправдаться перед самим собой тем, что ездил в длительную командировку в Каппадокию и Киренаику, подыскивал новые сорта мрамора, заключал договоры с подрядчиками, вербовал опытных мастеров. Но ведь признаки неблагополучия обнаружились давно; он явно пренебрег здравыми суждениями казначей, которые к тому же опирались на точные статистические выкладки. Видимо, следовало

¹ Плащ.

с самого начала искать иного применения огненной машине — там, где ее не могут заменить люди, сколько бы их у вас под рукой не было.

Задним умом крепок, подумал о себе инженер. Перед ним пронесли события тревожной ночи бегства. Была на исходе вторая стража¹, и он крепко почивал в своей постели, когда кто-то стал трясти его самым бесцеремонным образом. Проснувшись, инженер долго не мог сообразить, чего от него хотят, пока в шатер не ворвался центурион в полной форме и вооруженный по всем требованиям воинского устава.

— Поднимайся,— закричал он,— они идут уничтожить огненную машину!

Набросив на себя хитон и выскочив на улицу, инженер сразу почувствовал приближение грозы. Сколько мог охватить глаз, пространство вокруг было заполнено огнями, которые колыхались во мраке. Исходящее от них красноватое сияние становилось все ярче: тысячи рабов с факелами в руках шли от своих бараков к центру строительной площадки. Как это бывает в подобных случаях, толпа на ходу набиралась раздражения и теряла остатки здравого смысла, ею неудержимо овладевал дух погрома. Отдельные злобные выкрики и угрозы переросли в рокот, воздух наполнился чадом, кое-где появились очаги пожаров.

До сих пор не удалось установить главных зачинщиков бунта, хотя было ясно, что искать их следует в среде жрецов и надсмотрщиков. Во всяком случае конспираторы действовали исподволь. Центурион признался, что ему доносили о брожении в бараках. Кто-то распускал слухи, что в скором времени все работы на стройке будут переданы машине, надобность в людях отпадет, рабов отправят в школы гладиаторов или на соляные рудники — так и так их душам уготована быстрая переправа по ту сторону Стикса. И все этот проклятый финикиец с его огненным чудищем! Центурион, к сожалению, пропустил донос мимо ушей, а следовало поискать агитаторов, мутивших народ, распять и выставить на обозрение — может быть, удалось бы предотвратить бунт.

Когда инженер, тяжело дыша, добрался до платформы храма Юпитера, когорта уже заняла круговую обо-

¹ С 9 до полуночи.

рону. Центурион ручался, что его legionеры не дрогнут, но разве могут четыре сотни воинов сдержать натиск многотысячной толпы, которая катится как лава? В их распоряжении оставалось не более получаса, но изобретательный ум инженера не подсказывал никакого решения, на него напоззло оцепенение. Неожиданно из темноты появился человек в длинном ритуальном плаще служителя культа. Инженер и центурион узнали Саллюстия, верховного жреца будущего храма, выполнявшего на стройке роль главного консультанта и заказчика.

— Ваше безрассудное увлечение огненной машиной довело до мятежа, — заявил он, не теряя времени на приветствие, — я берусь спасти положение.

— Вот как! — воскликнул центурион. — Не твоих ли рук дело вся эта вакханалия?

— Я не буду отвечать на подобные подозрения, — с достоинством возразил жрец. — Видел ты когда-нибудь, чтобы римский священнослужитель побуждал рабов к беспорядкам?

— Уж очень дружно эта гнусь выползла из своих барак, — пробормотал центурион, — здесь явно ощущается организация.

— Надо быть безмозглыми, чтобы не видеть, что за этим стоят козни христиан, пытающихся любой ценой сорвать строительство языческих, по их понятиям, храмов.

— Что ты предлагаешь, Саллюстий? — спросил инженер.

— Вы немедленно уведете legionеров и укроетесь с ними где-нибудь в роще. Ворвавшись на постамент, толпа уничтожит огненную машину и начнет приходить в себя. В этот момент я и мои коллеги обратимся к ней с увещаниями и угрозами; надеюсь, нам удастся овладеть положением. Только в этот момент, ибо позднее опьянение свободой и страх перед наказанием поведут толпу к новым целям. Самые отчаянные предложат захватить Гелиополис или даже идти на Библос. Кто знает, не выльется ли это в очередное восстание по всему побережью Сирии.

— Я не отдам машины.

— Я тоже, — заявил центурион.

— Безумцы, вы рискуете потерять все! К тому же, разве нельзя построить другую машину?

Аргумент произвел впечатление. Топот многих тысяч босых ног нарастал, свет факелов прорвал тьму, казалось, над стронтельной площадкой всходило утро. Переглянувшись, инженер и центурион одновременно кивнули жрецу. Теперь, когда решение было принято, следовало действовать с предельной быстротой. Центурион передал приказ по цепи; через считанные минуты оборона была снята, когорта построилась и походным маршем двинулась по дороге в Библос, которая пока еще не была заблокирована рабами. Инженер кинулся к машине, чтобы увести Гелиобала и группу механиков, которые, как он заметил издавелека, лихорадочно копошились вокруг двигателя.

— Бегите! — крикнул он, приближаясь. — Легионеры не будут вас защищать. — Только сейчас инженер увидел, что машина, правда, без рабочих механизмов, была погружена на повозку. Гелиобал и двое его ближайших помощников с помощью канатов подвязывали отдельные ее части к высоким бортам; у инженера мелькнула мысль, что повозка готовилась заранее и специально предназначалась для транспортировки машины. Самым удивительным было то, что под котлом в большой медной жаровне пылал огонь, пар уже бежал по жилам машины и все ее тело содрогалось, напоминая норовистого коня, который дрожит, фыркает, грызет удила, горя нетерпением пуститься вскачь.

Услышав приказ инженера, люди, которые трудились вокруг машины, побросали все и мгновенно рассыпались, кто куда. Только Гелиобал и его подручные продолжали заниматься своим делом. Инженер не верил своим глазам и со злостью отшвырнул руку, которая легла ему на плечо. Между тем это был центурион, державший поводья лошадей.

— Ты слышишь меня, Гелиобал? — завопил инженер.

— Да, господин, — прозвучал ответ.

— Чего же ты медлишь? Машину не спасти. Мы построим другую.

— Нет, господин.

— Он сошел с ума, — сказал центурион. — Оставь его, едем, через три минуты толпа будет здесь.

Они вскочили на лошадей.

— Гелиобал! — крикнул инженер. — Я зову тебя в последний раз, еще можно спастись!

— Спасайся, господин мой, я тебя сейчас догоню.

Первые ряды рабов уже взбирались на постамент храма. Инженер вслед за центурионом пустил коня в галоп. Только через несколько минут скачки до него вдруг дошел смысл последней реплики изобретателя. Сомнений быть не могло, несчастный действительно спятил. Он подтянул поводья и оглянулся.

Всю свою жизнь будет помнить инженер поразительное зрелище, развернувшееся перед ним на протяжении нескольких секунд. С торжествующим гиком неслись масса тел и полыхающее над ней зарево факелов к огнедышащей машине. Еще мгновение и все будет кончено, от величайшего творения техники останется мертвая груда металла, а его создателя розорвут на куски. Инженер закрыл глаза и тут же открыл их, чтобы увидеть чудо. Неожиданно повозка с машиной тронулась с места и, набирая скорость, понеслась навстречу толпе. Вопль ужаса пронесся над Гелиополисом, когда рабы завидели мчащийся им навстречу экипаж, громыхающий по плитам постамента и рассыпающий искры. Он двигался сам, без лошадей или буйволов, и было ясно как день, что движение это порождено некоей силой божественного происхождения.

Кольцо рабов мгновенно распалось, задние ряды пустились наутек, а передние в панике бросились на землю, уткнулись головами в песок, чтобы укрыться от гнева Юпитера или Ваала — кто мог знать, какой именно бог решил явиться в облике машины. Когда повозка пронеслась мимо остолбеневшего инженера, он разглядел тяжелую фигуру Гелиобала, деловито подбрасывавшего в жаровню уголь. Инженер тронул коня. Лишь в 20 милях от Гелиополиса ему с центурионом удалось нагнать машину. Она мирно пыхтела у обочины; «на пару», как выразился Гелиобал, возившийся с треснувшей задней осью повозки.

— Ты хотел удрать, чтобы одному завладеть машиной! — сказал центурион грозно, кладя руку на меч.

Изобретатель даже не обернулся к нему лицом.

— Будь у меня такие намерения, — холодно возразил он, — я бы просто прибавил огоньку.

И центурион замолчал. Самое странное, что он, видимо, пришел в хорошее расположение духа.

Дорогой Гелиобал рассказал, что, несмотря на запрет, давно начал разрабатывать идею соединения двигателя с колесницей. Немало бессонных ночей провел он над созданием механизма, передающего движение с вала на ось повозки. Ему удалось найти оригинальное решение для управления ею. Инженер оценил его простоту и изящество, взявшись за рулевые рычаги, которые с помощью пружинной тяги позволяли разворачивать переднюю ось на четвертую часть окружности.

У Гелиобала была своя разведка в бараках: друзья — финикийцы предупреждали его о подпольной работе агитаторов и растущей враждебности к машине. Он понял, что надо торопиться, но не рискнул поделиться опасениями с инженером и решил готовиться втайне.

К счастью... Уместно ли употреблять это слово? Машину удалось спасти, но какой ценой. К инженеру вернулись невеселые мысли: как-то их встретят в Риме, если вообще удастся туда добраться? Пытаясь отвлечься, он приподнялся, взглянул поверх кормы. Море было покойно, след луны бежал за триерой, на Востоке в предрасветных сумерках начинала очерчиваться холмистая линия итальянского побережья.

Центурион тоже ворочался на своем неудобном ложе. В отличие от инженера он пребывал в приподнятом настроении. Правда, на секунду у него мелькнула мысль, что какой-то болван из генерального штаба вздумает обвинить его в дезертирстве и предать военному суду. На всякий случай он принял свои меры: отрядил гонцов к наместнику провинции и своему непосредственному воинскому начальнику — легату с туманными донесениями об «особых обстоятельствах, побудивших его во имя интересов великого Рима временно покинуть вверенный ему пост». С этой предосторожностью он головой окунулся в авантюру.

Центурион с удовольствием припоминал их путешествия к берегу моря, особенно минуты, когда он взял на себя управление огненной колесницей. Они предпочли объехать Библос миль за тридцать и после недолгих поисков обнаружили небольшую гавань, где стояли на приколе несколько купеческих судов. Этот осел-инженер вздумал нанять одно из них, но хозяин, почувствовавший, что они спешат и, вдобавок, избегают встречи с местными властями, заломил сумасшедшую цену. Тогда центурион

вынужден был взять дело в свои руки. Он объявил корабль реквизированным и велел воинам, которых взял с собой, связать судовладельца и бросить его в трюм. Когда инженер по доброте душевной вступился за прохвоста, центурион резонно возразил, что только так они смогут вернуть судно хозяину.

Забавно, что из кораблей, стоявших у причала, они предпочли самый дряхлый — триера была спущена на воду где-то во времена Антония и Клеопатры. Но на этом настоял Гелиобал, и когда объяснил почему, все они прониклись энтузиазмом. Изобретатель не собирался прибегать к веслам и парусам, он имел наготове проект соединения огненной машины с кораблем, а триера с ее низкой посадкой больше всего подходила для этой цели. Им понадобились целые две недели, чтобы изготовить и установить огромное лопастное колесо, наладить передаточный механизм. Зато как лихо пронеслись они на всех парах вдоль берега, повергнув ниц всех случайных зрителей очередного чуда. Центурион с удовольствием хмыкнул, вспоминая эпизоды их плавания к итальянским берегам: встречу с военным кораблем, капитан которого приказал им остановиться и был посрамлен сверх меры, когда триера, издевательски описав вокруг него несколько окружностей, показала корму и молнией исчезла за линией горизонта; или переполох, поднявшийся в прибрежных селах Мелиты¹, когда люди завидели огнедышащий корабль, стремительно мчащийся, почти летящий по волнам.

Честолюбивые мечты одолевали центуриона. Ему рисовались картины битвы, в которой участвовали десятки и сотни огненных колесниц, виды морского боя, где парусным и гребным судам вражеской стороны противостояли быстроходные и потому непобедимые машинные корабли римского флота. Всякий раз он повелевал войсками и переживал триумф, сам император вручал ему золотую фалеру² и возлагал на него лавровый венок. Впрочем, почему бы ему самому, владельцу огненной машины, не взобраться на Палатин?

Бодрствовал и Гелиобал. Забросив очередную порцию угля в жадную глотку своего детища, он прилег непод-

¹ Мальты.

² Награда за доблесть в римской армии.

леку и лениво наблюдал, как одна за другой гаснут звезды, погружаясь в серый свет дня. Мысль его блуждала в технических сферах, где он чувствовал себя волшебником. Почему бы не пристроить к делу молнию, думал он, разве все, что создано богами на этом свете, не предназначено быть использованным на благо человека? Потом перед ним мелькнула огненная машина, пристроенная на теле огромной птицы: двигатель заработал, медные крылья птицы вздрогнули и стали биться о землю, она медленно начала отрываться от земли и взмыла в небо.

Сквозь полудрему он услышал голоса и увидел двух солдат, несших стражу. Зачерпнув вина из бочки, стоявшей у борта, они вполголоса о чем-то переговаривались.

— Дрянное вино! — услышал Гелиобал. — Должно быть в пифос попала морская вода.

— Так не пей, — возразил второй.

Гелиобал увидел, как легионер повернулся, собираясь выплеснуть вино, как его взгляд пал на машину. Финионец почти физически ощутил шальную мысль, мелькнувшую в голове воина: «Поддам-ка я пару, как в термах». Но крикнуть и остановить безумца он уже не успел...

Небольшой отряд римских воинов, несших караул на острове Капреи¹, наблюдал в то утро вспышку пламени примерно в десяти милях от берега. Затем волны донесли приглушенный шум взрыва.

— Звезда упала с неба, — заметил декурион, — здесь это случается часто.

Через несколько часов море вынесло на берег трупы и обломки триеры, среди которых были странные медные трубки, вызывавшие недоумение. А затем выплыл полуживой, обгоревший человек. Был он плотен, невысок ростом, с черной квадратной бородой и маленькими глазками, в которых застыло горе.

— Кто ты? — спросил декурион.

— Я почти бог, — ответил незнакомец. — Я создал огненную машину, которая может двигать колесницу по земле, корабль по морю, птицу по небу.

Декурион переглянулся со своим помощником.

— Ты наглый враль или сумасшедший, — сказал он.

— Я создал огненную машину, — упрямо повторил чернобородый.

¹ Капри.

— Так где же она?

— Взорвалась, утопив корабль. Погибли все: инженер, центурион, солдаты.

— Центурион? На борту был римский офицер?

— Да. И инженер.

— Наплевать на инженера. Ты признался, что твоя идиотская машина послужила причиной гибели корабля.

— Не по моей вине.

— Это уже не столь важно, — возразил декурион. Он велел связать финикийца и бросить его обратно в море.

Группа туристов, приехавших в Ливан с разных концов света, осматривала величественные развалины Баальбека.

— Непостижимо, — воскликнул один из них, — как это древние, с их примитивной техникой, ухитрялись устанавливать тысячетонные плиты и тем более поднимать 45-тонные колонны. Я не ошибся, вы называли нам эти цифры? — обратился он к гида.

— Да, — подтвердил тот, — все удивляются, как вы. Я к этому привык.

— Может быть здесь поработали пришельцы из космоса? — заметил другой турист. — Я встречал где-то подобное предположение.

В результате гибели Гелиобала и его огненной машины паровой двигатель был изобретен позднее на 1600 лет.

Электроэнергия соответственно была приручена на век позже.

Расщепление ядра, видимо, запоздало лет на десять.

АЛЕКСАНДР ГОРБОВСКИЙ

ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО

— Хорошо, что зашел, голубчик! Присаживайся. А я да-авно уж собирался повидать тебя. Георгий Федорович, признаться, просил меня, вы, мол, моего Петра там не забывайте. А я и не забываю! Рассказывай, милый, что ты и как. Как роль?

Ипполит Матвеевич профессионально грациозно склонил седую гриву со всей благосклонностью, на какую только был способен, взирая на молодого человека в ковбойке, почтительно сидевшего перед ним на половинке стула.

— Спасибо, Ипполит Матвеевич. — Всякий раз, когда он говорил, Петр делал такое движение, как если бы он хотел встать. — Спасибо. Я ведь знаю, как у вас мало времени. Но мне, правда, очень нужно было посоветоваться с вами. С ролью у меня что-то неважно получается...

Услышав это, Ипполит Матвеевич придал лицу выражение сочувствия и подвижные его актерские губы сложились скорбным сердечком.

— Говоришь, неважно, голубчик? — сокрушенно повторил он. — Это плохо. Ах, как плохо! Роль-то хоть велика?

В этом-то и была печаль. В масштабах фильма, который снимался, это была даже не роль. Скорее эпизод. Всего несколько фраз. Сначала: «Пошады, цезарь! Пошады!» А потом, когда Белопольский, играющий цезаря, не взглянув на него, прошествует в паланкине мимо, за-

поздало и горестно вскрикнуть: «Я не виновен! Не виновен!» После чего двое статистов, играющих роль стражников, поведут его дальше. И это все.

По мере того как Петр говорил все это, с Ипполит Матвеевичем происходила некая метаморфоза. Медленно вскинутые брови придали лицу его трагическое выражение, глаза наполнились слезами, а линия рта явила собой обиду и уязвленность.

— Голубчик! — воскликнул он огорченно, едва Петр замолчал. — Голубчик! Да господь с тобой! Маленькая роль. Да знаешь ли ты с чего начинал я? В моей роли вообще не было слов. Вообще не было слов! Я играл полового. Но это надо было сыграть! И так, чтобы тебя заметили. И запомнили. А ведь до сих пор помнят! Мне и самому кажется иногда, что это лучшая моя роль. — Ипполит Матвеевич чуть приспустил веки, отчего лицо его сразу обрело выражение, которое можно было бы обозначить словами «вдохновенное воспоминание». — Помню, Станиславский, старик Станиславский, говорил бывало...

Все, что говорил он сейчас, каждый свой жест, каждое движение лица Ипполит Матвеевич знал наизусть. Этот молодой человек в ковбойке был не первым, кто шел к нему, неся свои обиды и печали. Многие бывшие его ученики приходили к нему посетовать на роль, на режиссера или просто на судьбу. Старейший мэтр и сам привык к этому, и со временем как-то сам собой сложился у него этот монолог, который всякий раз перед новым слушателем он разыгрывал в новом блеске. Как большой актер, он ни разу не повторялся, каждый раз внося в игру что-то новое, чего не было раньше.

— Нет маленьких ролей, Петр, дорогой. Есть маленькие актеры. — Даже тривиальность эта, будучи сказана так, как она была сказана, прозвучала откровением. — Ты не думай о том, что идет съемка, забудь, что есть камера. Забудь, что ты актер. Ты должен быть только тем, кого играешь. Кто ты там? Осужденный? Преступник? Что ты сделал, за что тебя ведут?

Петр неуверенно пожал плечами. Этого в роли не было.

— Но сам-то ты должен знать, — снова огорчился Ипполит Матвеевич. — Для себя. Ну убил кого. Или украл. Пусть украл. Курицу. И вот тебя ведут. И все тебя видят. Позор! Проклятая курица! Зачем только ты сде-

дал это! Тебе страшно. Что теперь будет! Что будет! Ты должен поверить во все это, должен думать только об этом. И вдруг появляется цезарь. Одного его жеста достаточно, чтобы тебя освободили. Тут же на улице. Это твой шанс! Твой единственный шанс. И ты кричишь ему: «Пощады! Пощады!» От того, что сделает он в следующее мгновение, зависит вся твоя жизнь. Погибнешь ты или нет. Забудь о камере, забудь об операторе. Их для тебя нет. Есть стражники, цезарь, толпа. Есть только тот мир, в котором ты действуешь. Только он для тебя реален. Художник сам, своею игрой преобразует его в реальность. Если ты сумеешь сделать это, ты станешь актером...

Это Ипполит Матвеевич говорил уже от себя. Это было не из монолога.

На другой день была съемка.

На пустынном берегу, под ярким крымским солнцем толпилась «массовка» — несколько десятков статистов и актеры. Лучники, латники, легионеры бродили, погромыхая бутафорскими своими доспехами. Горожане, облаченные в тоги, собирались в кучки, курили.

Мордатый стражник в кольчуге из проволочных колец хмуро сидел в стороне. Его мутило после вчерашнего и болел зуб.

Актеры держались обособленно. Они не смешивались с толпой. Но это была не только та исключительность, которая достается исполнителю как бы в наследство вместе с патрицианским плащом его прототипа. Это было нечто большее. И Ипполит Матвеевич, облаченный в белоснежную тунуку и тогу, казалось, именно здесь обретал, наконец, свой окончательный и естественный образ, становился тем, кем он был всегда и на самом деле. Соответственно и разговоры, которые велись здесь, и даже сигареты, которые курили, были другими, не теми, что в толпе и среди статистов.

— В Турине, — этак барственно, небрежно, с ленцой повествовал Ипполит Матвеевич, обращаясь к Белопольскому, — в Турине, когда мы прилетели, нам почему-то не сразу подали машину. А тут, как назло, дождь. Я говорю тогда Бондарчуку: «Послушай, Сергей...»

И хотя говорилось все это поверх лиц и поверх голов тех, кто толпился вокруг, сами они не исключали себя из разговора. С суетливой торопливостью они отражали на своих лицах все, о чем шла речь. Правда, великие

не замечали, казалось, ни их самих, ни этой их готовности соучастия.

— Забавно, забавно, — это говорил Белопольский. Петр только подошел к этой кучке и не слышал, о чем была речь до этого. — Этот туринский эпизод напомнил мне один анекдот, который я слышал от Феллини. У одного продюсера была очень красивая жена. Однажды он уезжает на съемки и говорит ей...

Теперь все перевели взгляды на него и повернули лица в его сторону, как подсолнухи — от восхода к закату.

В скольких домах будет рассказан потом этот анекдот, слово в слово:

— Знаете, Белопольский... (Да-да, тот самый! Ну, мы снимались с ним вместе и вообще хорошо знакомы!) Так вот, Белопольский рассказал мне любопытный анекдот. Он слышал его от Феллини. У одного продюсера была очень красивая жена. Однажды он уезжает на съемки и говорит ей...

Петр рассеянно бродил среди актеров, вполслуха прислушиваясь, о чем они говорят, и заставляя себя думать о курице. Он почти видел ее. Сначала, он думал, она черная, но потом оказалось — рябая. Конечно, рябая. Такой шум подняла. Из-за этого-то он и попался. Зачем только он украл ее! Теперь вот такое несчастье, такая беда! В разных концах массовки он видел обоих своих стражей, которые тоже ждали своей минуты, чтобы вести его.

Как все было хорошо, как все было слава богу, пока не попался он с этой курицей. Если бы только можно было сделать, чтобы ничего этого не было! Чтобы все было по-старому!

Массовка между тем начала медленно приходить в движение. Помощники режиссера кричали что-то в серебряные раструбы, сгоняя, располагая и сортируя собравшихся по какому-то одним им ведомому и понятному плану.

Приехала машина с выдвижной площадкой для оператора и камерой. Но Петр лишь мельком и вскользь отметил ее появление. Нужно было ему сразу свернуть голову этой проклятой курице. Тогда никто бы не заметил. На какой-то миг Петр спохватился вдруг, что не знает, где же произошло это. Впрочем, он знал. Конечно на базаре. В птичьем ряду. Столько раз ему сходило это

с рук. Да и сейчас бы, наверное, сошло бы, не попадись ему на пути, когда он бежал, этот нубиец. Надо же, раб подставил ножку свободному! Петр представил себе, как он с размаху упал на камни, и воспоминание о боли в руках и коленях коснулось его.

Съемка между тем уже началась. Воины и горожане, выкрикивая что-то, перебегали с места на место, потом появлялся центурион, делал повелительный жест и все замирали, подняв в приветствии руку.

— Стоп! — кричал режиссер. — Делаем дубль!

Сцена повторялась еще раз.

За ней следовали другие эпизоды. Петр рассеянным взглядом скользил по всему этому, продолжая думать о своем. Ему видно было, как на склоне, среди огромных валунов, появились какие-то фигуры — наверное, курортники или местные жители, которые с любопытством следили за тем, что открывалось им оттуда. И это праздное их любопытство, то, как были они одеты, само их присутствие — все это было диссонансом тому, что происходило здесь. Они мешали сосредоточиться, они мешали думать, и Петр повернулся так, чтобы не видеть их. Какое-то время боковым зрением он продолжал еще чувствовать зрителей, но потом перестал.

Сойдя с возвышения, на котором стоял, Петр прошел к началу дороги, к тому ее месту, где она ближе всего подходила к морю. Оба стражника уже ожидали его там. Он закинул руки назад, и они обмотали их толстой веревкой.

— Не туго? — спросил один, тот, у которого болел зуб.

Петр покачал головой.

И они пошли по дороге. Впереди Петр, оба стражника за ним, не выпуская из рук веревки. Рабы, воины, горожане обгоняли их или шли навстречу. Одни тащили на себе какие-то ноши, другие шли налегке. Петр старался не поднимать взгляда. Еще утром, еще сегодня утром, мог ли он подумать, что день этот завершится таким позором? Наедине со своей бедой, он не сразу понял значение каких-то выкриков, шума и голосов, которые нарастая становились все ближе.

— Цезарю слава!

— Слава! Слава!

— Величие и слава!

Предваряя скорое движение паланкина, перед ним

шли ликторы, за ними воины-преторианцы в малиновых плащах поверх доспехов. Толпа восторженной волной катилась впереди и по сторонам паланкина. Тогда-то не раздумывая, не колеблясь, почти неожиданно для себя, Петр бросился на колени:

— Пошады, цезарь! Пошады!

Голос его перекрыл другие голоса. В это мгновение, в это самое мгновение что-то дрогнуло. Что-то дрогнуло в самом пронизанном солнцем воздухе. Но никто, казалось, не заметил этого. А бритоголовый человек, стремительно проплывавший над толпой, не шевельнулся и не взглянул в его сторону.

— Я не виновен! Не виновен! — но это был уже запоздалый крик отчаяния.

Тут же острая боль в боку чуть не свалила его на землю. Он не успел еще понять, что это, как стражник ударил его еще и еще раз. Он бил ногой, вкладывая в удар всю силу.

— Вставай ты, падаль!

Петр вскочил в недоумении и гнев, но второй стражник так дернул веревку, что у него потемнело в глазах.

— Сын блудницы!

«Они сошли с ума! Они оба сошли с ума!» Он едва успел подумать это, как толпа, бежавшая за паланкином, захлестнула их. Водоворот человеческих тел швырнул Петра сначала в сторону, потом закрутил и понес за собою. Веревка ослабла, он рванул руки и она упала на землю.

— Цезарь! Цезарь! — кричали кругом.

Стражников не было видно.

— Цезарь! Слава! — стал кричать он вместе с другими.

Какая большая массовка. Все незнакомые лица. Откуда-то взялись даже дети.

Вообще-то эта сцена должна уже кончиться. Почему-то она затягивалась. Толпа продолжала бежать, крича, и паланкин все так же мерно колыбался над ней, продолжая свой стремительный путь по каменистой дороге вдоль берега моря.

Какое-то время Петр двигался вместе со всеми.

Все-таки, сыграл он отлично. «Пошады, цезарь! Пошады!» Он не удержался и улыбнулся, вспомнив это. На какое-то мгновение привычный мир действительно пере-

стал существовать для него. А бутафорский мир съемок обрел реальность.

В этот короткий промельк орава бездельников-статистов стала для него толпою римских граждан, а актер, восседавший в нелепом паланкине, превратился в настоящего цезаря. И проклятая курица, которую он украл! Она действительно была для него реальна в тот короткий миг.

Но когда же кончится эта сцена?

Петр уже выбрался из толпы. Он стоял у обочины и смотрел вслед процессии, которая удалялась. Другие тоже отставали по одному, по два. А он все смотрел вслед процессии и пытался понять, что же не так. Что же не так? И вдруг понял. Не было камеры. Нигде не было камеры.

Он бросился было в сторону, туда, откуда он шел со стражниками навстречу процессии, но ни оператора, ни камеры не было и там. Не было вообще никого из съемочной группы. На дороге были только те, кого он считал статистами, да вдалеке слышен был шум удалявшейся толпы.

Тут он снова увидел стражников. В тот же миг они тоже заметили его и, рванувшись с места, бросились в его сторону. По тому, что они сделали это, по тому, как побежали они, он понял вдруг то, чего не понимал и чему не решался верить секунду назад.

Это уже не было съемкой!

У него не было времени додумать эту мысль до конца, но он уже бежал. Бежал со всех ног от этих двоих, что гнались за ним. Он бежал так, как если бы вопрос стоял о его жизни. Но, возможно, так это и было. Так это и было.

Любопытные, злорадные, хищные лица прохожих промелькнули и пронеслись мимо. Кто-то швырнул в него палку. Другой подставил ножку. Воин, шедший навстречу, выхватил короткий меч и, размахивая им, бросился наперерез. Петр метнулся в сторону и сбежал с дороги. Теперь он бежал в сторону, прочь от дороги, вверх по каменистому склону. Мелкий щебень разъезжался под его ногами, набиваясь в сандалеты и мешая ему бежать. Раза два он оглянулся. За ним бежали только стражники. Те, кто был на дороге, остановились и смотрели, чем это кончится.

Выше места, где находился он сейчас, лежали огром-

ные валуны. Это здесь, на этих камнях стояли любопытные, которые так мешали ему. Сейчас здесь не было никого. Если он только успеет добежать до камней, его уже не найти. Преследователи, поняв, видно, безуспешность своих усилий, все больше отставали. А может, им просто мешали бежать их тяжелые доспехи.

Но Петр не мог позволить себе замедлить бег или остановиться. Даже, оказавшись среди валунов, скрытый высокими, поросшими мхом глыбами, задышавшись, он долго продолжал карабкаться вверх. Перед глазами его стояло лицо воина, который выхватив блестящий меч, бросился наперерез. Петр почти физически чувствовал его алчное, исступленное желание всадить в него, бегущего, короткое и острое, как бритва, лезвие.

Петр пробирался вверх, не выходя на открытое место и стараясь оставаться невидимым для тех, кто был внизу, на дороге. Когда, обессиленный, он привалился, наконец, к шершавому камню, и позволил себе отдышаться, до конца подъема оставалось всего несколько метров. Осторожно, крадучись, он выглянул из-за каменной глыбы. Дорога вилась внизу тонкой лентой. Маленькие человеческие фигуры медленно двигались на ней. Но кто из них были его стражи и где они, сверху различить было уже невозможно.

Там, где кончался подъем, начинались заросли терновника, и Петр долго шел, продираясь сквозь них. «Ничего не случилось, — думал он. — Ничего не произошло. Мне все показалось. Статисты, они выпили. Хулиганы. Я пожалуюсь режиссеру. Сейчас выйду на открытое место и увижу шоссе, грузовики, дом отдыха «Спутник».

Действительно, вскоре кусты кончились, перед ним открылось ровное, открытое со всех сторон плато. Он вышел на него неожиданно и так же неожиданно оказался перед ним высокий столб, врытый в землю. Наверху столба была перекладина. На ней был распят человек. Какие-то птицы, мелкие птахи, похожие на воробьев, пронзительно крича, кружились над ним.

Внизу расстилался большой, незнакомый город. Петр уже не удивился этому. Он стал спускаться по склону. Он думал, как жить ему теперь в мире, который породил он сам.

— Внимание! — объявил режиссер. — Внимание. Сейчас будем давать дубль. Всем приготовиться.

Произошло замешательство. Актера, который так удачно сыграл роль преступника, нигде не могли найти.

Режиссер рвал и метал.



ПЛОДЫ «ПРОСВЕЩЕНИЯ»

СЕВЕР ГАНСОВСКИЙ

ЧАСТЬ ЭТОГО МИРА

Они стояли на лестничной клетке. Лифт шел откуда-то снизу, с шестьдесят пятого, что ли, этажа.

Рона сказала:

— Посоветуешься. Все-таки такой человек, как он, должен разбираться. Это мы с тобой живем — ничего не знаем. А Кисч может посмотреть и сразу догадаться, что именно между строк скрывается... По-моему, тут ничего плохого, если ты к нему приедешь. Он сам все время приглашает.

— Ну, приглашает-то больше из вежливости.

— Из вежливости он бы одно письмо написал. Или просто открытки присылал бы к праздникам.

— Да... Может быть.

— Ты не будь таким вялым, — сказала Рона. — Давай посмотрим эту штуку еще раз. Пока лифта нету.

— Давай.

Лех вынул из кармана гибкий желтый листочек. Не сообразишь даже из какого материала сделанный. Буквы и строки сами прыгали в глаза, отчетливые, броские.

**КОНЦЕРН «УВЕРЕННОСТЬ»
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
ВАШИ ТРУДНОСТИ. В ТОМ,**

что желания не сходятся с возможностями.

МЫ БЕРЕМСЯ УСТРАНИТЬ ДИСПРОПОРЦИЮ:

Во-первых, без забот, а во-вторых,
исполнение

ЛЮБЫХ ВАШИХ МЕЧТАНИЙ.

В точном соответствии сумме Вам до конца дней
гарантируется стабильная удовлетворенность.

МЫ ДУМАЕМ, РЕШАЕМ ЗА ВАС.

Однако при этом у вас постоянно будет
о чем разговаривать с близкими.

НИ СЕКУНДЫ СКУКИ!

НАБЛЮДАЕТСЯ ЗАКОНОМ,

ОДОБРЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

— Меня очень устраивает, что будет о чем разговаривать, — Рона взяла листок из рук Леха. — А то ведь с тех пор, как мальчики уехали, у нас с тобой одна тема — телевизионные программы ругать. По целым дням до вечера молчим.

— Да... Но видишь, тут все противоречиво. С одной стороны, «исполнение любых мечтаний», а с другой — «в точном соответствии сумме». Я так понимаю, что они заберут деньги, акции, все сплюсуют, а потом согласно результату снизят наши желания при помощи мозговой операции либо психотерапией. Только так ведь и можно. Мне-то кажется, что это попытка окончательно нас приструнить. Чтобы все были всем довольны, сидели бы по своим углам. У них, наверное, не так уж хорошо с электродами вышло, вот придумали другое, более радикальное...

— У кого — «у них»?

— Ну, которые наверху... Потом вот сама эта сумма. Акции могут падать, деньги тоже иногда делаются де-

шевле или дороже. А тут сказано — стабильная удовлетворенность.

— Нам и нужна как раз стабильность. Мы с тобой сколько потеряли на изменениях курса. Те бумаги, которые держим, постоянно падают в цене. А едва продали что-нибудь, оно взвивается. Это прямо экономический закон — то, что продаем, обязательно становится дороже, а оставленное постепенно обесценивается до нуля.

— Никакого закона. Просто покупают именно те бумаги, которые должны подниматься.

— Ладно, пусть. Я только знаю, что если и дальше так пойдет, потеряем все.

— Да, но каким образом сам концерн будет обеспечивать стабильность, если деньги и бумаги то и дело меняются в цене?

— Вот об этом ты с Кисчем и посоветуешься.

— Может быть, сначала вызвать их агента, расспросить?

— Нет. — Рона покачала головой. — Ты сам прекрасно знаешь, что он нас уговорил бы сразу. Нам с этими агентами не тягаться — они специальные институты кончают, и у них на каждое возражение есть умный ответ. Так тебя выставят, что просто от стыда согласишься на любое предложение... Вообще если агент пришел в квартиру, дело сделано. Поэтому я и считаю, что нужно у Кисча проконсультироваться — как его мнение. И при этом узнаем, кто же он на самом деле. А то вот подписывается Сетерой Кисчем, как будто так и надо...

Лифт пятнадцатой линии лязгнул и уплыл наверх. Лифт девятой остановился, но в тот же миг откуда-то выскочил человек, бросился внутрь, зашелкнулся и укатил. Кабины за решетками так и мелькали. Из-за дверей квартиры напротив доносился джазовый мотивчик, сбоку — стрекотанье какого-то механизма. Поезд воздушной дороги прогрохотал вовне, за стенами, с неба ударила звуковая волна от самолета, пневмопочта выкинула в прозрачный ящик на площадке пачку газет с журналами и целую кипу гибких желтых листов.

— Нажми еще раз. И выйдем на балкон.

Еще только вставало мутное солнце. Ущелья улиц были затянуты красновато-серым маревом копоти.

— Так странно. — Лех оперся на парапет. — Иногда сверху отыщешь какой-нибудь закоулок вдаль, и кажет-

ся, будто там живут интересно, есть что-то таинственное, сокровенное. А придешь — те же подъезды, магазины, стены. И никакой таинственности, только, может быть, секретность.

— Ничего, Лех, не печалься. «Уверенность» нас выручит. По-моему, это не будет что-нибудь вроде богадельни. Да и какая богадельня, если тебе всего сорок семь, а мне на два года меньше?

— Во всяком случае потеря суверенитета полная. — Лех повернулся к Роне. — Понимаешь, я вот сейчас сообразил, в чем разница между «уверенностью» и другими системами. Когда, например, человек на поводке, то заплатил один раз определенную сумму, и тебе только обеспечивают бодрость. Как ты оставшиеся деньги тратишь или новые зарабатываешь, чем вообще в жизни занимаешься — они не знают, и им все равно. То ли в конторе, то ли с револьвером пьяного подстерегаешь за углом. Можешь даже быть членом какой-нибудь ультралевой и бомбы приклеивать к дверным ручкам. А тут уже принципиально другое. Все отдай до конца, что у тебя есть, и за это получишь удовлетворенность, но такую, какую они хотят, по их усмотрению. Причем навсегда... «До конца дней» — вот главные слова. Так что если мы с тобой согласимся, себе уже не будем принадлежать, это точно. Окончательная сдача на милость.

— А когда мы принадлежали? И этот суверенитет — что он дает? Чувствуешь себя человеком, только ведь когда с другими общаешься, вступаешь в какие-то отношения. Но дома телевизор, в универмаге самообслуживание, в поликлинике компьютер ставит диагноз, на работу принимает, там испытывает и оттуда увольняет машина. Людей кругом — трудно протолкнуться, но все они только прохожие, проезжие. Перед толпой стоишь, как перед глухой стенкой. Когда ты уезжал ребят проводить, я за две недели ни разу рта не раскрыла, ей богу. Если во мне есть что-нибудь человеческое, его показать-то некому.

Рона вертела в руках желтый листок.

— Одним словом, надо решать, пока у нас что-то осталось. Вот так ни туда, ни сюда мяться, последнее проживем, и в «Уверенность» не с чем будет идти.

Она протянула листок Леху.

— Слушай, заметил, какая особенность? Я растяги-

ваю его, а буквы остаются такими же, и строчки не изгибаются.

— Да, удивительно... Вот моя кабина.

Дорога пробивала его насквозь, как пуля навывлет, — городишко тысяч на десять жителей.

Чтобы попасть сюда, Лех свернул с государственной восьмирядной трассы на четырехрядную — ему пришлось на переходке перелезть с заднего сиденья на шоферское, самому взявшись за руль, — и оттуда на побитую бетонку вообще без осевой линии. Но даже применительно к этому шоссе городок оказался не конечной, а побочной целью. Бетонка не то чтобы втекала в него и растворялась, а так и гнала себе дальше, выщербленная, корявая.

При всем том, а может быть, как раз из-за этого Лех, едуци, оглядывался по сторонам не без удивленного удовольствия. Вместе с восьмирядной трассой позади остался опостылевший, неизменный всюду индустриально-технологический пейзаж: эстакады, перекрещивающиеся в несколько слоев, стальные мачты и дымоводы до горизонта, сплошные каменные ограды на километры, за которыми неизвестность, гигантские устья вентиляционных шахт, корпуса полностью автоматизированных заводов вперемежку с жилыми домами без окон, неправдоподобно огромные чаши газохранилищ, бетонные поля, утыканные антеннами направленной связи.

Уже четырехрядная дорога радовала глаз тем, что цивилизация сюда не совсем пришла, а только подбиралась исподволь. Здесь многое было начато, но не все закончено. Рыжие от мохнатой ржавчины железные трубы и кигоновые плиты с торчащей арматурой еще не сложились в аккуратные конструкции, а по кирпичным пустырям там и здесь росли груды этого, как его... бурьяна, длинные удилница этой, как ее... ах, да, крапивы! И небо, хотя бледно-серое, свободно от воя реактивных.

А на бетонке вообще начались чудеса. Заросли голубого цикория по обочинам, посевы пшерузы и маириса, перемеживающиеся с просто травой, дерево в отдалении, тишина. От одного десятка километров к другому небо-свод становится чище, ярче, синее. У Леха даже сердце защемило, когда он подумал о том, что вот поставить бы здесь домик, да послать к чертовой бабушке всю технологию.

Э-эх!

Там далеко во Флориде
В зелени домик стоит.
Там о своем Майн Риде
Прекрасная леди грустит...

Это, собственно, и было его главной мечтой — лес, поле, сад, лично ему самому принадлежащее жилище, запас необходимого на несколько лет. Все начала и концы очевидны, не боишься случайностей, зная, что способен одолеть любую беду. Днем работаешь, вечером тихие радости в семейном кругу, и никакое падение акций тебе не угрожает.

Но даже концерну «Уверенность» это вряд ли под силу. Самое большое, что они могут, — добиться, чтобы квартира на восемьдесят восьмом этаже стала ему по душе...

И люди в этом краю были другие. У железнодорожного переезда со скромной будочкой Лех посидел на скамье рядом с женщиной, которая заведовала тут хозяйством. Электротяг первобытной конструкции проволок за собой длинный грузовой состав и угромыхал вдаль. Рельсы остались лежать пустые, спокойные, как бы существующие сами для себя — казалось, ветка из никуда выходит и ведет в никуда. Здесь была даже кошка. Редкостное животное вскочило на скамейку рядом с Лехом, требовательно толкнуло его в руку шерстистым лбом, издало рокочущий звук. Осторожно, опасаясь нарваться на грубость, Лех спросил женщину, не скучно ли ей тут. Она благодушно посмотрела на него:

— А что такое скука?

Потом, подумав, объяснила:

— У меня же нет телевизора.

Кошка забралась к ней на колени, производя с еще большим напором тот же звук. Живут, однако, некоторые.

Правда, к стене будочки был привинчен плакат:

ДОПУСТИМ, ЧТО
в катастрофе погибла ВАША семья,
ВЫ потеряли работу,
ВАМ изменил друг
и неизлечимая болезнь подтачивает
ВАС.

Вы все равно можете быть
СОВЕРШЕННО СЧАСТЛИВЫМ.
Обратитесь к нам.

Прочитав это, Лех горько усмехнулся. Когда потеряна работа, обращаться к ним поздно. Вернее, уже не с чем.

Еще через час пути, ровно в семь, он остановил автомобиль, чтобы по цифрам дорожного указателя убедиться, что едет правильно. Вынул из бумажника последнее письмо Сетеры Кисча, сверился. Тут кругом было разлито уже полное благолепие. Звенели кузнечики, разнообразные цветы, не требуя платы, сверкали головками в густом разнотравье, источала безвозмездный аромат кленовая роща. И вообще пейзаж был таким, каким мог быть в начале семидесятых, даже тысяча восемьсот семидесятых.

Лишь странная косая башня у горизонта, на самой границе обзора портила идиллию, словно гигантский сизый палец указывал в небо — всю жизнь проживешь и не узнаешь, что такое, зачем она. Да еще здесь же рядом с указателем дурацкий рекламный щит задавал провокационную щекочущую загадку:

А ВАМ НЕ СТЫДНО?

Далее шло по нарастающей. На следующем плакате значилось:

МЕЛАНХОЛИЯ

Сегодня такая же дикость,
как **ЗУБНАЯ БОЛЬ**

И серию заканчивал выполненный броским спектральным люминесцентом отчаянный рекламный вопль уже на самом въезде в городок:

Разница между
ДУРНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
и **ЗУБНОЙ БОЛЬЮ**

в том, что первое излечивается
МГНОВЕННО, НАВСЕГДА.

Свяжитесь же
с нашим местным агентом!

Когда Лех миновал две улицы и покатил по третьей, ему показалось, что он уже из книг прекрасно знает этот городишко. В таких местах за неимением другого долж-

ны гордиться прошлым, и, как правило, оно действительно есть: либо захудалая битва поблизости происходила, либо столетие назад — неожиданный бум. Зафиксированный в старых романах привычный набор для подобных населенных пунктов включает газеты «Дружба» и «Согласие», которые постоянно между собой ругаются; торговый центр, памятник генералу (никто не помнит, с кем он воевал), «историческую улицу», где каждому дому не менее двадцати, а тому, в котором ресторан, целых восемьдесят, массу зелени, чистый воздух. Из этих краев — опять-таки судя по романам — старались убежать в молодость, а стариками частенько возвращались доживать.

Лех катил, а городок как будто старался оправдать именно такую литературную репутацию. Напротив редакции «Патриота» расположилась контора газетки «Гражданин», отдыхала, лежа в кольце чугунной ограды, древняя пороховая пушка, и площадь вокруг была замощена булыжником — камни качались под чутким колесом, словно те большие зубы в деснах, которые вылечить труднее, чем настроение.

Пешеходы почти не попадались на тротуарах, но и мобилей не было. С той поры, как Лех покинул бетонку, не встретил ни одного. Удивление брало, просто не верилось, что в преуспевающем задымленном мире могло сохраниться такое отсталое, незамутненное местечко.

Увидев аборигена, Лех остановил машину, чтобы спросить, где тут продаются завтраки. Ему пришло в голову, что его приездом Кисч может быть поставлен в затруднительное положение.

Седой старик охотно поднялся со скамьи перед домом. Сразу выяснилось, что с этим почтенным горожанином склероз делал, что хотел.

— Что поесть?.. У нас каждый... каждый... Черт, забыл, как называется?

— Каждый понедельник?

— Нет, не то.

— Вторник, четверг?

— Каждый дурак... — Старик махнул рукой. — И не это тоже.

— Кретин? — Лех старался помочь.

— Каждый желающий — вот оно. Каждый желающий насытиться идет в бар. Вон там.

— Что вы говорите? Значит, у вас тут нет отделения «Ешь на бегу»?

— А на дьявола они нужны... эти, как их...

— Лепешки?

— Нет, зубы. Зачем они, если только глотать концентрат?

Зубов у старика был полон рот и, судя по цвету, своих.

Он вызвался проводить Леха и в ответ на участливое замечание, что забывчивость можно вылечить, задрал голову.

— А я на нее не жалуюсь, на эту...

— На память? На судьбу, на жизнь?

— На жену не жалуюсь. Она от химических лекарств чуть не померла шестьдесят лет назад, и с тех пор мы ни одной таблетки... А насчет памяти — она у меня отличная. Я, например, вот эти никогда не забываю... Как они называются?

— Слова?

— Не слова, а эти... Ну, которые бегают, прыгают, читают. Вообще все делают.

— Людей не забываете?

— Глаголы. Помню глаголы все до одного. Существительные только иногда вылетают. Ну и плеваты!

Отсутствие мобилей и неунывающий старик гармонировали с обликом ресторана. Заведение было чуть ли не археологической древности, о чем гордо свидетельствовала медная табличка на стене: «Существуем с 1909».

Здоровенные, приятные своей неудобностью стулья с высокой спинкой, темным деревом обшитые стены, электрическая кофемолка — современница Наполеона, неторопливый, приветливый, а не только вежливый официант. Поразительно вкусным оказался дешевый завтрак. Странно было есть вареную картошку, никак не переработанную, совсем непосредственную, огурцы, которые, возможно, были еще не мертвыми, — жуешь, а на том кусочке, что у тебя на языке, электроны устанавливаются на новых орбитах, формируются молекулы, осуществляют по гигантски сложной генетической программе, по законам открытой биосистемы процессы роста и образования клеток.

Насытившись, Лех некоторое время посидел, наслаждаясь тишиной. Торопиться было некуда — Сетера Кисч

не ждет, даже представления не имеет, что через пятнадцать минут старый знакомый свалится ему на голову.

Их переписка началась двенадцать лет назад. Когда-то мальчишками вместе учились, первая для обоих сигарета была общей. Став юношами, разошлись, позабыли друг о друге, как это случается с большинством школьников. А потом через два десятилетия после ученической парты Леха разыскало посланное Кисчем письмо. Из довольно-таки тусклого паренька тот расцвел в крупного электронщика и все эти годы работал в одной и той же научной организации. Теперь он исправно слал свои фотографии, записи голоса, регулярно сообщал о семейных делах, поездках в различные страны, описывал, как проводит праздники — собственная яхта на озере, личный вертолет на загородной даче. И каждое письмо заканчивал просьбой приехать, навестить.

...Розовая улица, улица Тенистая — смотреть на двухэтажные и тем более одноэтажные жилища было само по себе удовольствием. Да еще когда все они с окнами, где цветочные горшки. Да еще если вокруг каждого дома садик.

Почти курорт, стопроцентная прибавка к здоровью!

Лех вышел на перекресток. Здесь Тенистая впадала в ту, которая была ему нужна, в Сиреневую. Номер тридцать восемь на углу, значит, сороковой с другой стороны.

Он пересек маленькую площадь, недоуменно потоптался. Дома под номером сорок не было. Шли сразу пятидесятые. Лех проследовал дальше. И Сиреневая кончалась, упершись в Липовую Аллею. Он глянул на противоположную сторону, но там были нечетные.

Вернулся к месту, с которого начал, вынул из кармана последнее письмо Кисча, перечитал обратный адрес. Материк тот же, страна та, город сходится и улица. Даже почтовый индекс у дома номер пятьдесят был одинаковый с тем, что на конверте. Но только доставало сороковых номеров.

И при этом вся улица старинная, без следов перестройки.

Огляделся. Не шевелились былинки, проросшие между камнями мостовой, неподвижно висело в синем небе легкое облачко. У дома номер пятьдесят сидел на корточках гражданин в старой шляпе, в запыленном вы-

цветшем комбинезоне. Он положил руки на колени, бездумно уставившись в пространство с таким видом, будто не меняет позы уже несколько лет.

Лех направился к нему. У мужчины был рот такого размера, что кончики его помещались рядом с челюстными выступами, у шеи.

— Скажите, если вас не затруднит, где тут номер сорок?

Целую минуту вопрос путешествовал в мозгу субъекта, пока, наконец, не попал в ту область, где совершается осознание. Гражданин в шляпе неторопливо поднял голову, перенес черную прокуренную трубку из одного угла рта в другой. И это был долгий путь.

— Сорокового нету. Сгорел.

— Как сгорел? Когда?

— Еще лет десять назад.

— То есть как это десять? Вот у меня письмо от друга, — Лех, волнуясь, опять вытащил письмо из кармана. — Может быть, вы его знаете. Сетера Кисч, физик. Отправлено в этом месяце, и он указывает адрес.

— У вас от самого Кисча письмо?

— От самого.

Мужчина вынул трубку изо рта, поднялся. Взгляд его стал определенным и жестким.

— Ну-ка дайте... Да, рука его. — Он повертел письмо. — И адрес есть.

Осмотрел Леха с ног до головы.

— Идите сюда.

Следуя за гражданином в шляпе, Лех ступил на крылечко дома номер пятьдесят. Мужчина открыл ветхую скрипучую деревянную дверь. За ней оказалась металлическая, полированная. Внутри, в квадратном помещении без окон, сидел человек в форме, напоминающей армейскую. Но не в армейской, а с петлицами, на которых единицы и нолики. Он читал брошюру.

Большеротый сказал:

— У него письмо от Кисча. Лично. Приглашение приехать.

Человек в форме дочитал до конца страницу, взял письмо, принялся рассматривать. Брошюрка называлась «Почему вы не миллиардер?»

— У вас есть документы? С отпечатками.

Лех достал свой идентификатор.

Человек в форме лениво поднялся, подвел Леха к стене. Ткнул ногой вниз. Повыше открылось темное узенькое окошко.

— Ну, давайте скорее.

Взяв Леха за кисть, он сунул ее в окошко. Что-то защекотало Леху пальцы, он попытался выдернуть руку. Человек в форме, удерживая ее, усмехнулся.

— Чего ежитесь? Первый раз, что ли?

Щекотанье кончилось, Лех вернулся к барьеру. Человек со странными петлицами поднял трубку телефона.

— Дайте двенадцатого... Ага, это я. А двенадцатый?.. Вышел заправить зажигалку?.. Никогда его на месте нет. Слушай, тут такое дело. Явился один тип с письмом от Кисча... Именно от самого. Прямо написано, чтобы он приезжал. И человек тот — я проверил... Подождать? А сколько его ждать — он заправит зажигалку, потом еще обедать пойдет... Ну-ну, ладно.

Положил трубку, повернулся к Леху. Подумал, повозился с чем-то у себя под столом. В стене открылась дверь. Там была кабина лифта.

— Шестой уровень. Комната номер шестьсот сорок или сорок один. Спросите, в общем.

Все это, вместе взятое, до того ошеломило Леха, что он автоматически нажал в лифте кнопку, опустился, и только очутившись в просторном, наполненном народом зале с искусственным освещением, пришел в себя и глухо, растерянно выругался:

— Чтоб им провалиться, дьяволам! Чтоб их задавило!

Получалось, что старые дома с цветочками, пушка за оградой, ресторан с живыми огурцами — обман, ложь. Маскировка, под которой тот же привычный комплекс, та же военно-научно-промышленная тощища, что и везде. На миг у Леха зануло сердце, но через несколько секунд он почувствовал металлический вкус во рту и взбодрился. Собственно, иначе и быть не могло, мир повсюду одинаков, надо брать его таким, как он есть.

Девушка в алюминиевых брюках указала ему на один из коридоров, что радиально расходились от просторного зала. Лех побрел, поглядывая на номера. Шестьсот тридцать шесть, тридцать восемь... Вот, наконец, сорок.

Постучался. Ответа не последовало. Вошел. Тут было что-то вроде прихожей, богато обставленной индийской

мебелью. Две двери вели куда-то дальше. Постучался наугад.

Голос изнутри отозвался:

— Войдите!

Голос Кисча, который Лех хорошо знал по присланным пленкам.

Лех вошел. За кабинетным столом в высоком кресле сидел Сетера Кисч и что-то писал.

У него были две головы.

Мгновение они смотрели друг на друга, потрясенные, — Лех в два глаза, Кисч в четыре. Затем Кисч с легким криком вскочил, щелкнул на стене выключателем. С минуту из темноты доносилась какая-то возня. Голос Кисча, прерывающийся, нетвердый, спросил:

— Кто вы? Что это вообще такое?

— Лех откашлялся, чувствуя, как вдруг пересохло в горле.

— Лех.

— Какой Лех?

— Ты же мне писал. Твой школьный друг.

— А-а-а.

Опять щелкнул выключатель. Кисч стоял посреди комнаты, бледный, с дрожащими губами. Вторая голова исчезла. Или ее не было совсем — Лех не мог сообразить. Повсюду в комнате мерцали зеркала, обмениваясь бликами. Свет был каким-то нереальным.

— Кто тебя сюда пустил?

— Меня?

— Ну, да!

— При мне было твоё письмо. Они посмотрели на подпись. Проверили у меня рисунок пальцев.

— А как ты вообще попал в этот город?

— Но ты же пригласил. Собственно, звал не один раз. Просто настаивал.

— О, господи! — Кисч вздохнул. — Вот это номер! Я и представить себе не мог, что ты на самом деле приедешь.

— Зачем же ты звал тогда?

— Если тебе при случайной встрече случайно сказали «Очень рад познакомиться», ты же не принимаешь этого буквально... Ты бы еще спросил, зачем я вообще начал переписку. Посиди вот тут под землей почти полтора десятилетия!

— Но ты писал, что все время разные там коллоквиумы, съезды...

— Мало ли что я писал. Куда мне ехать в таком виде?

— В таком виде?.. Значит у тебя все-таки... — Леху даже неудобно было выговорить. — Значит, у тебя не одна голова?

— Ну, конечно. Тебе сейчас не видно, потому что специальное освещение и система зеркал... Потом ведь отсюда не выпускают, все засекречено. Случайность, что ты прорвался.

— Да-а...

— Ну, ладно, — сказал Кисч. — Садись, раз уж ты здесь.

Они сели — хозяин в кресло, гость на круглый табурет перед письменным столом. Лех осмотрелся. Комната была большая и сильно заставленная. Кроме многочисленных зеркал, шкафы, диваны, шведская стенка в дальнем конце рядом с копией Брейгелева «Икара». Турник. Роскошный рояль «Сопот», зеленая школьная доска на штативе, полка миникниг, телевизор «Фудзи», слесарно-токарный станок. Прозрачная загородка для игры в теннис и прыжков, мольберт с кистями, свисающая с потолка трапеция.

Кисч побарабанил пальцами по столу.

— За той дверью еще зимний садик и бассейн. Ну, а как ты?

— Да ничего. В целом, как я тебе писал. Живем. Мобилей себе каждый год не меняю, но необходимое пока есть. — Лех замялся. — С деньгами постепенно становится туговато...

— Что Рона? Не очень скучает с тех пор, как сыновья на учебе?

— Привыкла...

Помолчали. Лех поежился. Если уж такой человек, как Кисч, стал чуть ли не заключенным, им с Роной и думать нечего о самостоятельности.

Молчание становилось тягостным.

— Как это тебя — с двумя головами? Или по собственному желанию?

— Ну что ты, кто пожелает? Мы тут занимались регенерацией органов. Сам-то я не биолог, электронщик, но работать пришлось с биоплазмой. Сделали такой электронный скальпель, и как-то я себя поранил... Вообще

у нас дикая свистопляска с разными облучениями. Одним словом, выросла еще одна голова. Сначала смотрели как на эксперимент, можно было еще повернуть по-другому. А потом вдруг сразу стало поздно.

— Почему?

Кися промолчал.

— Ну, а когда тебе приходится думать, — начал Лех. — То есть когда думаешь — одновременно в две головы, что ли? Как на рояле, в две руки? Вернее, в четыре.

— Зачем в две... — хозяин внезапно прервал себя. Его руки взметнулись к переключателю на стенке, потом он неловко, с усилием опустил их. — Перестань! Ну перестань же! — Руки еще раз поднялись и опустились. — Извини, Лех, это не тебе... Так о чем мы? Нет, конечно, я не в две головы. Каждый сам по себе.

— Кто «каждый»? — Лех почувствовал, что холодеет. — Это все же твоя голова?

— Не совсем. Голова, строго говоря, не может быть «твоей», «моей». Только «своей».

— Как? Вот у меня, например, моя голова.

— Но в то же время нету такого тебя, который бы отдельно от этой головы существовал. Поэтому неправильно о своей голове говорить со стороны — вот это, мол, моя.

— Не понял.

— А что тут понимать? Помимо головы личности нет. Но зато там, где имеется голова, мозг, налицо и сознание... Ты себе хоть отдаленно представляешь, что такое твое собственное «Я», твоя личность?

Насчет личности Леху как раз хотелось выяснить.

— Ну, мозг, тело-то можно менять, если нужно.

— Не вполне верно. Мозг с определенной точки зрения — только вместилище для «Я». Если он пуст, личности нет. А содержанием является современность, сгусток символов внешнего мира. Сначала, при рождении ребенка, мозг — *tabula rasa*, которую мы с тобой в школе проходили. Чистая доска, незаполненная структура. Затем через органы чувств туда начинает поступать информация о мире. Не сама внешняя среда, а сведения о ней в виде сигналов на электромеханическом уровне. Таких, которые оставляют знаки в нервных клетках. Знаки постепенно складываются в понятия, те формируются в об-

разы, ассоциации, мысли. В общем, «Я» — это то, что органы чувств видели, слышали, ощущали.

— Как? И все?

— А что тебе еще надо?

— Никакой тайны? Божественной искры, которую нужно беречь, потери которой опасаться?.. Все люди, которые ходят, что-то делают, — не более, как сгущения той же действительности? Но только в символах?

— Тайна в самом механизме жизни, в сути мышления. Не знаю, насколько она божественна. Ну, а личность — тут уж никуда не денешься — внешний мир, переработанный в образы. Правда, у каждого согласно специфике, которая получена в генах. Наследственно. Поэтому Роланд и говорит: «У человека нет природы. У него есть история». То есть он подразумевает, что «Я» — это постепенно, исторически, день за днем развивающийся сгусток образов.

— Какой еще Роланд?

— Гильемо Роланд, перуанский философ.

— Ты и до философии дошел? — Лех вдруг почувствовал озлобление против Кисча. Сидит тут, устроился, и никакая потеря денег ему не угрожает. — Черт знает, какой умный стал. А я примерно тем же олухом и живу, что в школе был. Даже не понять, с чего ты сделался таким гениальным. Питание, что ли, особое?

— Питание ни при чем.

— А что при чем?.. Ты кончал свой физический — в самом конце плелся. И потом в той первой фирме тебя едва терпели.

Хозяин встал и прошелся по комнате, отражаясь во всех зеркалах. Появилась на миг и исчезла вторая голова.

— Понимаешь, если говорить правду, я собственно, и не совсем я. Не тот Сетера Кисч, с которым ты в школе сидел.

— А кто?

— Пмонс.

— Пмонс?! — Лех откинулся назад и едва не упал, потому что у круглого табурета не было спинки. — Ловко! Пересадка мозга, да?

— Ага. Не могу сообразить, встречался ты когда-нибудь с ним, то есть со мной, с Пмонсом... Кажется, встречался. По-моему, у этой Лин Лякомб. В ее доме. Я, буду-

чи еще Пмонсом, демонстрировал у них материализацию Бетховена. Работал в концерне «Доступное искусство».

— Помню,— сказал Лех.— Боже ты мой, я еще молодой тогда был, наивный! Во все верил. Кажется, будто тысяча лет с той поры минула.— Он вздохнул.— Мы вместе с Чисоном приходили на материализацию. Пмонс был, по-моему, такой плечистый мужчина, выдержанный. Значит с ним я сейчас и толкую?

— Подожди... Видишь ли, Сетера Кисч окончил физический с грехом пополам. Потом в фирме тянул ляжку, но все время им были недовольны, и у него самого неудовлетворенность. Родители, конечно, виноваты. Помнишь, какая в те годы была мода — нет степени, значит, неудачник. А я тогда работал в одном ателье закройщиком — как раз кинуло в портновское дело. Является Сетера Кисч, ученый. Заказывать себе костюм. Снимаю мерку, он тоже участвует, советует. Да так ловко у него получается — прирожденный портной. Один раз встретились, еще раз. Чувствую, человек оживает, когда у него ножницы в руках или булавки, что ему просто тоскливо уходить отсюда и возвращаться в свою лабораторию. А я, с другой стороны, электроникой еще интересовался. Книжки читал, схемы собирал. Однако образование среднее, незаконченное...

— Ну-ну,— сказал Лех.— Дальше.

— Стали мы с ним раздумывать. Ему переходить из физиков-теоретиков в закройщики вроде бы позорно. Что родственники скажут, друзья, знакомые. В то же время меня в научно-исследовательскую лабораторию без диплома никто не возьмет, будь я даже Фарадей по способностям. В конечном счете и решили махнуть мозгами. Он мне о себе все порассказывал, я ему свою жизнь обрисовал. И на операционный стол... В электронике у меня отлично пошло: патентов десятки, доктора скоро присвоили. Потом только вот эта история со второй головой... А Сетера в облике Пмонса, в бывшем моем, выдвинулся как портной.

Лех кивнул.

— Ну как же! На мне вот брюки-пмойки.

Он тоже встал и в волнении прошелся по комнате.

— Слушай, раз уж на честность, я тоже не Лех.

— Серьезно? А кто?

— Скрунт. Муж Лин Лякомб... Но тут другая история. Вопрос чувства, понимаешь... Лех, то есть я... то есть нет, правильно, он... Одним словом, Лех был жутко влюблен в Лякомб, в мою Лин Лякомб. А меня, то есть Скрунта, она чуть до инфаркта уже не довела. Помнишь, какая была взбалмошная? То давай за стрелковый спорт принимайся, то рисовать, то изучай высшую математику. Просто измордовала, все хотела усовершенствовать. И хотя я сначала был очень увлечен, позже замучился. А тут подворачивается Лех, который глаз с нее не сводит. Однажды мы с ним уединились, слово за слово. Он и не раздумывал, сразу весь запылал, как только понял. Разговаривали в оранжерее, он как схватится за пальму-бабасу, с корнем выворотил. Но была небольшая сложность: у Леха-то за душой ничего. Договорились, что как только он станет Скрунтом, мною, сразу переведет на бывшего себя восемьдесят процентов состояния.

— И что же? — спросил хозяин, который слушал с чрезвычайным вниманием. — Он тебя обманул, и поэтому ты теперь так скромно живешь?

— Ничего похожего. Лех порядочный человек. Просто, когда я из Скрунта стал Лехом, то даже с теми деньгами у меня ничего не вышло. Успех-то ведь не столько в капитале, сколько в связях.

— Инте-ресно. — Тот, который прежде называл себя Сетерой Кисчем, прогулялся по широкому ковру среди комнаты. Потом остановился, глядя приезжему в глаза. — Скажи, а ты в самом деле Скрунт? Все без обмана рассказываешь, до конца?

— А что? — гость покраснел.

— То, что, когда Пмоис менялся с Сетерой Кисчем, он сам был уже поменянный. Обменявшийся со Скрунтом... Твоего Леха врачи предупреждали, что у Скрунта это уже не первая операция?

— Да, верно. — Приезжий опустился в кресло. — Но вот узнать бы, где в это время был первоначальный Скрунт. Мы бы во всем разобрались.

— В бывшем Пмоисе. Если не дальше.

— Проклятье! — Гость взялся за голову. — Ото всего этого тронуться можно. Уже вообще ничего не понимаю. Тогда кто же я в конце концов!

— Кто его знает.

— А ты?

— Сейчас выясним. Тут все зависит от времени. Если Пмоис в действительности...

— Подожди! — Гость сунул руки в карманы, уставился в потолок. — Надо идти не отсюда. По-настоящему, изначально, я был Сетерой Кисчем, если уж совсем искренне. Так что ты про меня рассказывал: швейная мастерская, иголки-нитки. Потом мое сознание переехало в тело Пмоиса...

— Ты эти тела не путай пока — кто в чьем теле. А то мы вообще не разберемся. Говори о мозгах.

— Ладно. Значит, я, Сетера Кисч, сделался Скрунтом, который, будучи уже поменянным, переехал в тебя... Нет, не так.

— Я тебе сказал, двигайся по мозговой линии, не по тельной. Тельная нас только собьет... Даже вообще не надо никуда двигаться. Мозг-то в тебе Сетеры Кисча? Ты ведь Кисчем начинал жить?

— Еще бы! — Приезжий пожал плечами. — В этом я никогда не сомневался.

— Превосходно. Так вот...

— Я и приехал, чтобы узнать, за кем мое бывшее тело. А то пишет письма Сетера Кисч, мы с женой читаем и думаем, кто же он. Выходит, что ты — это я?

— А я это ты. Между прочим, и я переписку начал, чтобы установить, что за тип окопался в прежнем мне. Ну как тебе в моем теле? Не жмет?

— Ничего, спасибо. Обжился. — Приехавший задумался, потом покачал головой. — Господи, боже мой, до чего докатились! Не знаешь уже, кто ты есть на самом деле. Я ведь три раза перебирался — в Пмоиса, в Скрунта, в тебя, когда ты из себя уже выехал. Всегда привыкать, заново перестраиваться, людей кругом узнавать, обманывать. Все ищешь, в ком бы лучше устроиться... Прыгаем сдуру, как блохи, — человеческого уже ничего не осталось...

Сквозь стены донесся низкий отдаленный гул. Трапедия на потолке качнулась.

— Рвут где-то, — сказал хозяин. — Расширяют подземную территорию. Тут у них договор с городом: внизу можно расширяться как угодно, а наверху ничего не трогать. Вообще городишко своеобразный. Старина настоящая. Сами поют, танцуют, собираются вместе по вечерам. Днем пусто, потому что работают — кто на желез-

ной дороге, кто еще где-нибудь. А позднее на улицах людно... Тут они все консервационисты. Не допускают к себе никакой новой технологии, природу берегут. Таких городов несколько, между прочим. Делегациями обмениваются, совещания устраивают — целое общественное движение...

— Пожалуй, поеду, — сказал гость. Он еще раз огляделся. — Удобно здесь, красиво. Слушай, Лех, как ты выдержал столько лет, не сошел с ума? Тоже на поводке, да?

— На поводке?

— Ну, на привязи, — какая разница? Соединен с машиной.

— Какая машина?

— Обыкновенно. Против плохого настроения.

— Никогда не слышал. Хотя... Это что — стимсиверы, что ли, приемо-передатчики?

— Конечно. От курения можно, от пьянства. В определенную точку мозга вводят микропередатчик. Захотел выпить, активность нейронов в этом месте возрастает, сигнал передается на электронно-вычислительную машину, которая в клинике. Оттуда обратный сигнал, и человеку делается тошно от одного вида налитой рюмки... Даже вот так может быть: муж стал заглядываться на другую, а супруга сразу бежит разыскивать подпольного врача. У того целая организация. Мужа где-нибудь схватили, усыпляют. Электроды заделали, подержали, пока бесследно заживет, и готово.

— Что готово? — спросил хозяин.

— Все. Будет смотреть только на свою жену... Или вот, например, бандиты, мафия. Они теперь не грабят, а все стали хирургами. Им заплатят, они любому что хочешь введут и свяжут с компьютерной программой, выгодной для заказчика. С одним даже так получилось: договорился с шайкой, но его самого поймали, наркоз, гипноз, чтобы все забыл, и такую программу, что он потом на них перевел все деньги.

— Сплетни.

— Почему это? — Гость встал. — Куда далеко ходить — вот он, я! Четыре трехканальных стимсивера. Сейчас человека редко встретишь, чтобы без электродов. У некоторых так нафаршировано, что и не понять, чего там больше в черепе — металла или мозгового вещества. Каждый шаг машина контролирует.

— Сколько бы их ни было, неважно, — сказал хозяин. — Все равно информацию человек получает через органы чувств от внешней среды. Личность формируется окружающей действительностью и ничем больше.

— А действительность-то! Разве она естественная сегодня! — Гость заходил по комнате. — Телевидение, книги, радио, реклама, газеты, кино — вот она, действительность, которой тебе баки забивают как хотят, по своему усмотрению. Такого, что самостоятельно в жизни увидишь и поймешь, только ничтожная часть от суммы ежедневных впечатлений. Ну, из квартиры вышел, с соседом поздоровался, в метро сел. Как при этих обстоятельствах говорить, что личность еще существует, что она суверенна? Частичка сознания общества, как две капли воды схожая с другими частичками... Кому-то так надо. Все стараются насчет прибыли. Им бы вживить электроды и такую программу через компьютер, чтобы помирнее стали. Только не выйдет. — Гость усмехнулся. — Потому, что они за стальными стенами живут. С посторонними только сквозь полунепроницаемое стекло. Либо по телевизору — мне приятель рассказывал, был на таком приеме. Приходит, в пустом зале кресло. Сел, подождал, экран в углу зажегся. Там физиономия крупным планом — пожалуйста, толкуй... Когда в кабине мобили сидишь, сколько вдоль трассы глухих заборов. Что за ними — или блоки ЭВМ, что держат людей на привязи, или дворцы таких главарей...

Приезжий замолчал, потом, покраснев, обтер ладонью подбородок.

— Что-то разговорился вдруг. Прямо, как лектор... Ладно, прощай... Понимаешь, ехал сюда и думал, что хоть один из прежних наших школьников живет по-человечески — я ведь подозревал, что в моем бывшем теле кто-то из наших. Мы дома о тебе, то есть о Сетере Кисче, часто говорили. Имеется, мол, такой счастливец, который свободен, благоденствует. Увлекательная работа, путешествия, природа. Ребятам в пример тебя ставил. А ты, оказывается, сам пятнадцать лет в подвале, не выходя. Если уж у тебя такое положение, таким, как мы с Роной, и думать нечего о хорошем. Одна дорога — последние деньги собрать и отдаться в какую-нибудь «Уверенность».

Гость вынул из кармана желтый листок и протянул хозяину.

— Вот, погляди.

Хозяин мельком посмотрел на листок и отстранил.

— Я знаю. Тут такие тоже бывают. Но ты это брось, особенно не угнетайся. По-моему, у нас скоро многое переменится.

— Откуда оно переменится? Не знаю, как там на другой половине мира, за «железным занавесом», а у нас вместо выживания приспособленных стало теперь приспособление выживших... По Дарвину. Прежде была борьба за существование, в которой выживали наиболее приспособленные виды. А сейчас тех, кто выжил, дотянул до сегодняшнего дня, как мы, например, приспособляем к технологическому миру. Я в прошлом году у друга был, у Чисона. Комната на пятидесятом этаже возле аэродрома. Рядом эти гравитационные набирают скорость, рев стоит убийственный. Мне мучительно, а он даже не замечает. А после выяснилось, что все местные прошли через операцию — им понизили порог звукового восприятия... то есть, наоборот, повысили. Понятно, что значит? Не человек технику для себя, а его для техники. И ничего не сделаешь. Такая сила кругом, что пушкой не прошибить.

— Нет-нет, не преувеличивай. — Хозяин тоже поднялся. — Не могу тебе объяснить как следует, но я-то чувствую, что скоро многое будет по-другому... Вот ты, например, недоволен жизнью, да? Тебе все это не нравится?

— Конечно. Чему тут нравиться?

— Но ведь твое сознание действительно часть общественного. Значит, и все общество тоже недовольно. Даже при том, что реклама, телевидение, газеты твердят, будто все замечательно, будто мы вышли в золотой век. Они твердят, нажимают, а на тебя не действует. Или с настроением. Оно у тебя сейчас плохое?

— С чего ему быть хорошим? — Гость закусил губу и посмотрел в сторону. — Душа болит. Даже если она только сгусток символов.

— Ну вот. А сам утверждаешь, что на поводке, и оно не может быть плохим. Как же так? — Хозяин похлопал гостя по спине. — Я думаю, что мы с тобой еще встретимся. Держись, старина!

— У вас что-нибудь случилось?

Сетера Кисч, подлинный Сетера Кисч, поднял голову. Рассеивался красноватый туман. Кисч даже не заметил, когда эту муть навело вокруг в воздухе. Он стоял в коридоре неподалеку от большого зала, и девушка в алюминиевых брюках держала его под руку. У нее были черные брови и синие глаза.

— По-моему, вы сильно расстроены. Были у Кисча, да? — Девушка смотрела на него испытующе. — Вы уже пять минут так стоите. У стенки.

— Я стою пять минут?

— Ну да. Может быть вам чем-нибудь помочь?

— Н-нет. Не беспокойтесь.

— Но вы совсем серый. Сердце схватило?

— Сам не пойму. — Он вдохнул и медленно выпустил воздух. Туман продолжал редеть. В девушке было что-то располагающее к откровенности. — Вообще, никогда такого не бывает. В принципе здоровый тип. Не знаю... Вдруг сделалось совсем противно жить. Душа заболела. Тоска какая-то ужасная.

Он и действительно не мог сообразить, что же произошло. Вышел от Леха нормально — правда, с ощущением полной безнадежности. Пошагал по коридору, а потом вдруг провал... Вероятно, на самом деле схватило сердце. Мимо сновал народ, гул разговоров жужжал в зале.

— Вас надо чем-нибудь подкрепить, — сказала девушка. — Пойдемте выпьем кофе.

— Да ничего.

— Пойдемте. У вас вид, будто вы в петлю собрались.

Когда зал остался позади, и они поднимались узкой лестницей, девушка резко обернулась.

— Да, послушайте, а как вы вообще попали к Кисчу?

— Мы в школе вместе учились. Я взял да и приехал. Оказалась вот такая штука. Ошеломился.

— А то мне пришло в голову, что зря перед вами рассыпаюсь. Может, вы какая-нибудь шишка. Явились навести порядок и переделать все по-своему. Хотя, честно говоря, непохоже.

— Нет. Я просто так.

— Тогда все нормально. Нам вот сюда. Идем в круглое кольцо, куда лично мне вход воспрещен. К начальству. Но сейчас там должно быть пусто в буфете. И кофе лучше.

Коридоры, переходы. В комфортабельной буфетной не было никого, кроме официанта, который за стойкой шелкал на счетах. Он улыбнулся девушке.

— Здорово, Ниоль. Как дела?

— Привет. Дай нам по чашечке твоего специального и два пирожка.

Они уселись за столик. Девушка вынула из сумки зеркальце, поправила помадой губы. Потом вдруг, потянувшись вперед, сняла верхнюю перекладину у спинки стула, на котором сидел Кисч. На перекладине висел тоненький провод. Девушка поднесла перекладину ко рту, пощелкала языком.

В ответ на недоуменный взгляд Кисча она объяснила:

— Подслушка. Тут везде аппаратура, чтобы подслушивать и мониторить.

Голос из микрофона, гортанный, металлизированный, сказал:

— Кто это?.. Ниоль, ты?

— Ага. Здравствуй, Санг. Как там, вашего геня нет поблизости?

— Составляет отчет. Все спокойно.

— Ну, хорошо. Приходи сегодня на гимнастику. Я буду.

— Ладно. Кто это с тобой?

— Школьный друг Сетеры Кисча. Привела его выпить кофе.

Девушка положила перекладину обратно.

— У них начальник — ужасная дубина. Принимает эти ритуалы всерьез. Ну, а те, которые сидят на подслушивании, такие же люди, как мы. Поэтому вся система получается сплошной липой. — Она задумалась на миг. — Между прочим, вы не первый, кому стало плохо после Кисча. Обычно так и происходит: сначала ничего-ничего, а потом сердечный припадок или приступ меланхолии. Тут был один мальчишка. Пруз, сын того Пруза, который, знаете, «Водяная мебель». Вышел от Кисча и через минуту грохнулся в коридоре.

Официант принес кофе. Сетера Кисч отпил глоток. Сердце как будто успокоилось. Чтобы как-то поддержать разговор, он спросил:

— Сын самого Пруза, такого богача? Неужели он здесь работает?

— Нигде не работает. Я вам говорю — мальчишка. Ушел от отца, бродит с гитарой. Ночует где придется. Представляете себе, как там в верхнем слое — конкуренция, напряжение. В конце концов либо сами не выдерживают, все бросают, либо дети от них отказываются.

— Но отец мог взять его на поводок?

— Во-первых, не всякий отец решится начинать дитя металлом. А во-вторых, мальчик предупредил, что если у себя в мозгу обнаружит что-нибудь, или у него срок из жизни необъяснимо выпадет, он сразу покончит с собой. Это часто так получается теперь. Старшее поколение карабкается наверх, никого не щадя, а младшему ничего этого не надо. Знамение времени.

От девушки веяло уверенностью и деловитостью даже при том, что она в данный момент ничего не делала.

— Он сюда к Парту приходит, младший Пруз.

— К какому Парту?..

— Ну, вы ведь видели еще одну голову у Кисча на плечах? Так это и есть Парт.

— Подождите... Разве это не Кисча голова? Мне-то казалось, оттого у него и такие успехи в последнее время, что он в две головы работает.

— Нет, что вы! Девушка пожала плечами.— Если бы так, все было бы проще. Но комбинацию «две головы, одно тело» нельзя рассматривать в качестве тела с двумя головами. Правильно — две головы при общем теле.

— Но личность ведь та же. Тем более, если личность образуется средой. Среда-то у обоих сознаний одинаковая.

— Откуда она у них возьмется одинаковая? Сам Кисч родился, как все. Детство тоже было нормальное — вы же знаете, раз в школе вместе учились. А сознание Парта тут и возникло, под землей. В лабораторном окружении. Поэтому у них с Кисчем опыт совсем разный, и они представляют собой две непохожие личности... Я вижу, вы главного не поняли. Или об этом разговора не зашло? В том-то и трудность, что две личности при одном теле, которым они пользуются по очереди, посменно. Один контролирует, а другой отключается: спит или думает о своем... Иногда, правда, могут читать одну и ту же книгу вместе. Но тогда уже каждый в себя.

— Пресвятая богородица! Час от часу не легче... Значит, еще одно самостоятельное сознание?

— Да. Причем, развивающееся, растущее. Ребенка называли Партом, потому что он родился как бы партеногенезом. А теперь это уже подросток. Четырнадцать лет. Формируется он более или менее нормально — в умственном отношении, конечно. То есть сначала Кисчу ужасно тяжело было с ним, потому что Парт все время овладевал руками, ногами. Знаете, какая витальность у маленьких — постоянно двигаются. А потом ума набрался, понял, что у них с отцом одно тело на двоих.

— С отцом?... — Стало жутко и душно. Красноватый туман возвращался.

— Конечно. Все-таки Кисч ему что-то вроде отца... Он и старается дать ему побольше. Кинофильмы, книги, телевидение. Мальчик рисует, два иностранных языка у него, спортом занимается — видели там турник в комнате, шведская стенка. Кисч, пожалуй, только и выдержал здесь благодаря этим заботам. Все-таки у него было о чем думать.

В ушах Сетеры Кисча голос девушки звучал теперь то громче, то тише. Казалось, будто его собеседница временами приближается к нему, а порой отъезжает куда-то вдаль.

— ...Тело в данный момент под его контролем, почему не заниматься, верно же? Кстати, гимнастику как раз я с ним начинала — вроде как по общественной линии. А сейчас к ним приходит тренер, и Парт крутит на турнике соскоки по Олимпийской программе...

Сетера Кисч тем временем погружается в туман. Прицепившись к последней фразе, он из своей глубины выкинул наверх вопрос, как сигнал бедствия.

— Значит и Кисч крутит? Поскольку т-тело на двоих...

— Ну где же ему — в пятьдесят-то лет... То есть, я хочу сказать, что он не такой уж молодой, верно? В гимнастике все зависит от специфической мозговой автоматки. Конечно, Кисч пользуется той гибкостью, которую Парт выработал в суставах. Но его автоматизм и мальчика — разные вещи. Вообще, ситуация адская — когда вот так двое, но в качестве эксперимента открыла массу непознанного. Вот когда я с Партом гимнастикой занималась, например. Он работает несколько часов на брусках, на турнике. С него пот градом. А Кисч за это время выспится. Затем Парт отключается, тело достается отцу. И, знаете, оно словно ни в чем не бывало. Как новень-

кое.— Девушка посмотрела на подлинного Кисча.— Не верите?.. Хотите сказать, что там же изменения в мышцах. Кислота накапливается... Правильно. Накапливается и моментально исчезает, едва к тем мышцам подключился свежий мозг. В том-то и странная штука, что само понятие усталости относится лишь к сознанию. Тело может хоть год без перерыва. Как двигатель внутреннего сгорания — поддавай топливо, смазку и гоняй месяцы подряд...

— Да. Удивительные в-вещи...

— Конечно.— Девушка как будто намеренно не замечала его состояния.— ...Или взять рояль. Моя подруга у них преподавательница, и я тоже несколько раз была на уроках. Начинали Кисч и Парт вместе. Парт теперь отличный пианист, а Кисчу и «Курочку» не сыграть одним пальцем. Но ведь руки те же. Представьте себе — преподавательница показала упражнение. Парт берет на себя управление и легко повторяет. Он отключился, Кисч пытается сделать то же самое, и ничего похожего... Вы, кстати, понимаете, что значит отключаться? Это просто как сидишь в покойном кресле или лежишь. Расслабляешься, размякаешь, и можно отдаться посторонним мыслям. А вот если бы они захотели по-разному, то есть один руку сюда, второй в другую сторону, тогда чей импульс сильнее. Они часто так балуются. Раньше, конечно, Кисч всегда побеждал, а теперь мальчик уже здорово сопротивляется... Вообще, хороший мальчишка. Его весь институт любит. И вот что интересно. К математике никаких способностей, хотя рядом все время такой отец. Рисует хорошо, с музыкой отлично, а интегральное исчисление только в тринадцать лет с трудом одолел...

Туман стал редеть и исчез. Все предметы в комнате стали отчетливыми, резкими. Как светящийся шрифт.

Кисч откашлялся.

— Ну и как же они дальше будут? Можно ведь кого-то отсадить?

— В конце этого года должны расщепиться. Если бы раньше — для Парта очень большой шок. Тут с психологами советовались, с социологами. Развивающемуся сознанию нужна стабильность. А то получится, как с ребенком, которого родители таскают из одной страны в другую, — нет культурного фона, чтобы ему строить личность. Но теперь-то уже можно... Вы, кстати, их, наверное, обо-

их сразу не видели. Когда свежий человек приходит, Кисч включает систему зеркал, чтобы не слишком ошарашивало...

Официант принес им еще по чашечке кофе и по пирожку. Кисч задумчиво закурил. Что-то обнадеживающее возникло в том, что его старый знакомый оказался не просто жертвой несчастного случая. Тут был даже подвиг — полюбить такое странное дитя, воспитывать его. Во всяком случае все это бросало новый свет на Леха.

— Скажите, а вот этот другой мальчик. С гитарой, Пруз-младший. Как его пускают к Парту? Все ведь засекречено.

— А как вас пустили? — спросила девушка.

— Случайность. У меня было при себе письмо от Кисча, а в проходной оказалось, что кто-то ответственный вышел заправить зажигалку.

— Ну-ну. А тот лейтенант, который был на посту, не перелистывал брошюру насчет миллиардеров?

— Да... Это лейтенант разве? Я думал какой-то агент — форма странная.

— Внутренняя стража. У нас фирма целое войско держит. Для охраны секретов, наблюдения за рабочей силой, за нами. И тоже звания — сержанты, лейтенанты, полковники... В большинстве-то свои парни. Тот лейтенант постоянно держит рядом эту книгу, чтобы со стороны казалось, будто он ни о чем другом и не думает. А насчет зажигалки — код. Когда о зажигалке, это означает, что пришел, по мнению лейтенанта, порядочный человек. Вообще пускают любого, кто им понравится. Но зато, если какая-нибудь комиссия, члены правления, часа три продержат, ко всякой мелочи будут придираться. Я, между прочим, в этом же отделе. Вы, наверное, и вообразить не в состоянии, какая у меня роль. Называюсь **в х о д я щ а я д е в у ш к а**.

Кисч невольно подумал, что роль подобрана удачно. Фигура у девушки была, как с чемпионата мира по художественной акробатике — тонкая талия, пышные бедра, гибкая спина. А про лицо с синими глазами и говорить нечего.

— Моя обязанность в том, чтобы при белом переднике время от времени выходить в сад наверху и заниматься цветами. Причем обязательно в юбочке, не в брюках. Нюхать розы, поднимать глаза к небу, томно вздыхать и

смущенно отворачиваться, если кто-нибудь посмотрит с улицы. Этот домик, где у нас первый пост, должен ничем не отличаться от других. Но меня-то в городке каждая кошка знает. Так что все делается для тех самых инспекций от Совета Директоров.— Девушка вкусно хрустнула пирожком.— Я, правда, люблю быть с цветами. Они такие приятные, меня тоже любят, расстраиваются, когда долго нету.

Она посмотрела на часы, и лицо ее изменилось.

— Да, послушайте! Значит, вы попали сюда вообще без всяких документов?

— Ну как? Со мной идентификатор.

— А пропуск?

— Нет.

— Допуск?

— Ничего такого.

— Они вам даже запуска не оформили наверху? Или хотя бы выпуска через главный ход?

Кисч пожал плечами.

В глазах у девушки возникла тревога.

— Черт, ребята предупреждали, что ожидается неожиданная проверка! Знаете, у начальства бывают такие конвульсии. Сейчас звонок, а через пять минут пустят собак. К этому времени нужно освободить коридоры и всем засесть в рабочих помещениях... Что же нам делать?

Она протянула руку, взяла перекладину со спинки стула.

— Санг, у нас такая история...

— Я все слышал,— сказал металлизированный голос.— Тоже растяпы на первом посту. Могли бы хоть что-нибудь выписать... Скажи, Ниоль, этот твой приятель может бегать?

Девушка посмотрела на Кисча.

— Срывайтесь прямо сейчас и на Четвертый Переход. Я передам ребятам, чтоб они придержали заслон хотя бы на минуту. Могут, правда, и с той стороны пустить собак. Тогда в Машинную — маленькая дверь слева за переходом. Бегите. Только не заблудитесь в Машинной.

Девушка вскочила.

— За мной!

Она была уже возле двери, когда Кисч начал неуверенно подниматься. Ему все было как-то безразлично.

Девушка сердито обернулась.

— Вы что? Хотите попасть в Схему? Это ведь жизнь, не что-нибудь.

Пронзительный дребезжащий звон, состоящий из множества голосов и одновременно слитный, пронизал помещение. Чудилось, что звенят стены, даже человеческие тела. Прочная действительность разрушалась, близилась извержение вулкана, землетрясение, может быть, война. Они выскочили из буфетной.

В коридоре было полно народу — лишь редких звонок застал на месте. Девушка активно проталкивалась, и Кисч за ней, роняя на ходу извинения.

Звон нарастал. Людей становилось все меньше, с железным лязганьем захлопывались двери. Ниоль нырнула в узкий коридор, потом на лестницу, в другой широкий, но уже совсем пустой, опять в узкий. Вверх, вниз, направо, налево, вперед, назад. Кисч едва успевал. Проскакивал по инерции мимо того места, где девушка поворачивала, и вынужден был возвращаться. Ниоль все ускоряла темп.

— Быстрей! Быстрей!

Подошвы ботинок скользили на гладком, приходилось прилагать двойные усилия, работать всем телом. Начало колоть в боку, жжение поднималось от живота.

Звонок оборвался, упала оглушающая тишина. В переходах не было ни души. Они пронеслись под овальной аркой. Девушка перешла на шаг. Потом остановилась, привалившись к прозрачной стене, за которой маячили какие-то лестницы.

Сзади Кисча бесшумно опустился в арке ребристый полированный заслон.

— Успели! — Грудь Ниоль поднималась и опускалась рывками. — Давно так не спешила. — Она с восхищением посмотрела на Кисча. — Вы прекрасно держались. Просто не думала. Бежать ведь гораздо труднее, если не знаешь куда.

Тяжело дыша, он спросил:

— А действительно надо было? Ну, допустим, обнаружили бы меня. И что?

— Как что? Пошли бы по Схеме. И не только вы. Лейтенант, который пускал, Сетера Кисч — за то, что принял и вообще показался вам. Понимаете, фирма умеет выставить дело так, что, нарушая ее интересы, вы вторгае-

тес в государственные. А тут ведь только попасть в рубрику. Дальше все идет автоматом. Нарушение Секретности, разглашение Тайности. Одних за Секретность, других за Лояльность. А для вас лично, даже если бы кончилось ничем, все равно потерянный на допросах год.

Они шли теперь по коридору, который, прямой, как натянутая проволока, уходил, казалось, в бесконечность.

— Схема — это механизм, — сказала девушка. — Любой предшествующий процесс вызывает следующий по своей собственной логике, которая постигается только постфактум. Предвидеть ничего нельзя, а оглянешься и поймешь, что иначе не могло быть. У каждой организации своя структура, мышления, и Надзор, например, считает, что любой человек в чем-нибудь да виноват. Люди, которые работают в Надзоре, должны доказать, что не зря получают зарплату, и они даже хотят это доказать, просто чтобы совесть у них была чиста. Ей-богу. Поэтому от таких вещей надо убегать, чтоб не завязнуть. Мы так и поступаем.

Она внезапно замерла.

— Смотрите!

Сквозь прозрачную правую стену было видно, как по лестнице через две ступеньки бегут трое в жестких неуклюжих комбинезонах и с масками на лице — водители собак. Два пса, огромных, длинношерстных, поднимались рядом, а третья собака уже поворачивала на тот марш, что вел к коридору.

— С этой стороны тоже пустили! — Ниоль отчаянно огляделась. — Вон та дверь!

Они бросились назад, где маленькая дверца темнела возле арки. Кисч дернул за ручку.

— Туда! В ту сторону, во внутрь.

Дверца отворилась. Помещение занимала огромная конструкция спутанных труб — толстых, средних и тонких, сквозных лесенок, воздушных переходов. Даже не было собственно помещения. Только трубы и переходы, чья неравномерная сетка простиралась вглубь, вверх и вниз, теряясь в тусклом свете. У входа на маленькой площадке Кисч и девушка почувствовали себя, как на уступе над пропастью.

Кисч захлопнул дверцу. Замка не было видно.

— Может просто держать изнутри?

— Что вы! — Ниоль схватила его за руку. — Охранники сейчас же будут за собакой.

Во всем этом был оттенок нереальности. Девушка кинулась вниз по металлическим ступенькам, и Кисч, помедлив мгновение, заторопился за ней.

Опять вверх, вниз, влево, вправо. Позади гулко залаяла собака. Алюминиевые блестящие брюки и белая кофточка мелькали впереди. Возник ровно-переливчатый, шепчущий шумок, который становился сильнее по мере того, как они продвигались в глубь сооружения.

Ступеньки, перекладки, перила. Рука хватается, нога переступает. Кисч с девушкой были теперь в гуще сложно переплетенных труб. Кое-где приходилось перелезать, в других местах перепрыгивать. Шум усиливался.

— Эй, послушайте!

Кисч остановился. Девушка была близко, но на другом переходе. Их разделяло метров пять.

— Идите сюда! Я вас подожду! — Она кричала, сложив ладони рупором.

Кисч кивнул, пошагал по своему переходу. Но лесенка вела вниз и в сторону от Ниоль. Стало ясно, что раньше, торопясь, он проскочил на другую тропинку. Он вернулся.

— Где-то мы разделились. Давайте попробуем назад.

Девушка сделала знак, что поняла. Кисч вышел на площадку, от которой вели две лесенки. Правая как будто бы приближала его к Ниоль. Он стал подниматься, но девушка теперь спускалась неподалеку от него, и вскоре он увидел ее у себя под ногами. Они продолжали двигаться и еще через две минуты поменялись уровнями. Снова между ними было около пяти метров, но таких, что преодолеешь разве только на крыльях. Еще раз пустились в путь. Кисч вошел в галерею, огороженную сверху и по бокам проволоочной сеткой. Белое пятно кофточки было впереди. Наконец-то! Он заторопился, девушка тоже бежала навстречу. Через мгновение они были уже рядом.

Но разделенные сеткой. Мелкой и прочной.

Ниоль погрузив пальцы в ячейки, сказала:

— Пожалуй, нам лучше остаться так. Проверка кончится, и ребята нас разыщут. А то совсем...

Кисч повернул голову, следуя за ее остановившимся взглядом. Черная с белым собака, ловко перебирая лапа-

ми, поднималась к галерее, к нему. Он бросился вперед, вымахнул на какую-то площадку, замешкался. Перекалдины вверх и вниз, но такие, что черно-белый зверь их одолеет.

Рычание раздалось за спиной.

Не раздумывая больше, он прыгнул с площадки на ближайшую трубу, обхватил ее руками, съехал метра на два до ответвления. Пробежал по четырехгранной балке, с чего-то соскользнул, через что-то перескочил.

И собака тоже прыгнула. Плотное тело мелькнуло в воздухе, зверь тяжело стукнулся, взвыл.

Кисч в панике бросился внутрь трубной спутанности. Где сгибаясь, где дотягиваясь, он уходил все дальше от проволочной галереи. Собака отстала — откуда-то снизу он услышал ее жалобный визг.

Еще несколько шагов и перебежек. Кисч протиснулся сквозь густое переплетение и оказался в не менее густом. Сел верхом на балку, спустив ноги, собираясь с силами. Было похоже, что он находится внутри гигантского флюидного усилителя. Трубы, ребристые и гладкие, вертикальные, горизонтальные и косые, окружали со всех сторон. В одних направлениях расположенные свободнее, в других — теснее. Небрежно брошенные полосы хемилюминесцента скудно освещали бесчисленные сочленения.

Куда теперь? Он не мог сообразить, где та площадка, с которой он прыгал.

Покричать девушку?

Набрал воздух в легкие, открыл рот и... закрыл. Ровный, пошепывающий шум обволакивал все вокруг. Такой, в котором любой посторонний звук потонет, пролетев два шага.

Сделалось как-то неуверенно. Во все стороны взгляд упирался в те же трубы, обзор был ограничен. Если он начнет двигаться, неизвестно, куда его поведет — к краю системы или вглубь. Да еще какова эта глубь?

— Ну пусть. Только не сидеть.

Поднявшись на ноги, Кисч прошел по толстой трубе, придерживаясь за параллельную тонкую. Уперся в такое переплетение, где было не пролезть, вернулся. Прошел обратно и увидел, что горизонтальная труба кончается, включившись в вертикальную. Пошагал вправо, перепрыгивая с одной трубы на другую. Искусственная чаша не

отпускала, подобно движущейся клетке. Было удивительно, что он так сразу забыл, с какой именно стороны попал сюда.

Трубы начали редеть, он заторопился, обрадовавшись. Перескочил полутораметровый пролет, схватился за косякую трубу и, вскрикнув, отпрянул. Она была словно кипяток. Секунду Кисч отчаянно боролся, стараясь удерживать равновесие, крутя руками. Ухитрился повернуться на сто восемьдесят градусов, прыгнул вниз. Почувствовал жар толстой трубы даже через подошвы ботинок, вцепился в тонкую, обжегся. Очутился на какой-то рядом, его развернуло, ударило грудью. Сумел обнять толстую трубу, только теплую, к счастью, съехал до сочленения, оказавшись зажатым. А внизу вдруг открылась бездна — тусклая, чуть ли не космическая пустота, редко-редко пересеченная теми же трубами.

Он весь дрожал от обиды, испуга, боли и чуть не расплакался.

— Черт, возьми, это издевательство!.. Я же человек, отец семейства!

Воспоминание о Роне и мальчишках придало ему мужества. Он сжал зубы, осмотрелся.

Та же гуща металла. Теперь он был значительно ниже той площадки, откуда начал, и окончательно потерял ориентацию. Двигаться в горизонтальном направлении не имело смысла, карабкаться вверх — слишком тяжело. В результате оставался один путь. Вниз.

Но даже он был непрост. Спускаясь по тонкой трубе, Кисч добрался до места, где она присоединялась к такой толстой, что он не смог ее обхватить, и вынужден был в результате подняться обратно. В другой раз он еле выбрался из чаши горячих труб. Найдя холодную, он сел на нее, обессиленный, и с легкой тревогой подумал, что так можно проплутать и сутки, никого не встретив.

Джунгли цивилизации — вот что это такое.

Им вдруг овладела злоба на Ниоль и ее приятелей. Впустить впустили, а о безопасности не позаботились. Но сразу же опомнился. Никто не виноват, он же сам хотел повидаться со старым знакомым, попросить совета.

Ладно. Как-нибудь выгребемся.

Вдалеке мелькнул яркий свет. У Кисча екнуло сердце, он направился туда, перебираясь с трубы на трубу с по-

мощью всех четырех конечностей. Свет приблизился. Он исходил от сияющего флуоресцентного провода, который, опутывая трубы, уходил куда-то в глубь конструкции.

Сделалось веселее. Кисч спустился еще на один ярус, еще. Светящийся провод ветвился. Новое усилие, и наконец Кисч ощутил твердый кигоновый пол под ступней.

Все!

Пошел наобум между большими, словно катафалки, металлическими ящиками.

Показалось четырехугольное строение, железная дверь. Кисч открыл ее. Внутри было темно.

Огляделся. Потянул к себе ближайшую жилу светящегося провода, с трудом открутил — сломал в одном месте, потом в другом. Держа кусок подальше от глаз, вступил в здание. Сделал несколько шагов и ощутил странное облегчение — как будто с него сняли тяжесть. Остановился, спрашивая себя, в чем дело, и понял — ослабевают непрерывный шепчущий шумок. Прошел еще вперед и оказался в низком помещении, заполненном механизмами. Огромные зубчатые колеса, рычаги, шатуны, кронштейны — все было неподвижным. Темнота испуганно, неслышно отступала, тени металась и сложно переkreщивались.

Ступеньки вниз — Кисч спустился, люк — Кисч обошел его, система зубчаток — взял правее, железные козырьки — повернул налево. Миновал частокот металлических столбов, поднялся на какую-то платформу и тут заметил, что кусок провода в руке отчетливо потускнел.

Проклятье! Выходило, что это один из тех старых флуоресцентных, которые нуждаются в постоянной подпитке. Но некогда было предаваться сожалениям, он бросился назад. Тени прыгали, при взгляде с обратной стороны все выглядело иначе, чем было, когда он шел вперед. Налетел на столб, чуть не провалился в люк, споткнулся на ступеньках. Темнота сгущалась, холодный провод в пальцах светился уже только красным светом, почти ничего не освещая. Кисч ударился головой обо что-то, зацепился карманом пиджака за зубчатку, рванул, шагнул на ощупь в одну сторону, в другую и увидел дверь.

Вышел из здания, отдышался, привалившись к стене. Вот это эксперимент — последним идиотом надо быть, чтобы предпринимать такие.

Трясущимися пальцами вынул из кармана сигаретку, зажег, чиркнув головкой о стену, закурил. Затоптал окурок, пошел вдоль стены здания.

Оно кончилось, и тут же кончилась платформа. За несколькими перильцами был новый провал. Трубы опять уходили вниз, в неизвестность, подобно лианам в тропическом лесу. И не было видно им конца.

Кусок провода, теперь только красноватый, был у Кисча зацеплен за карман. Перегнувшись через перильца, он отпустил его над пропастью. Тот, быстро уменьшаясь, исчез, как растворился.

Кисч кусал губу. После всех трудов он находился только в середине дьявольской системы. Добрался всего лишь до кигонового острова, что висит в пространстве. Вот здесь-то и была разница между естественными и технологическими джунглями. В природном, подлинном лесу можно заблудиться только на одном уровне — земли. А тут их может быть сколько угодно. Даже если будут искать, разве найдешь?

Он вернулся ко входу в здание, присмотрелся к светящимся проводам — не сделались ли тусклее.

Там, где он вырвал кусок, два конца были уже красными.

В первый раз стало по-настоящему страшно. Вдохнул, перевалился за ограду, и зацепившись за ближайшую трубу, начал новый спуск. Теперь он уже несколько разобрался в обстановке, установил, что горячими были только латунные трубы, что легче идти по кигоновым, где не скользят подошвы. Местность вдруг менялась: иногда он натывался на такие густые переплетения, что приходилось подолгу искать пути вниз, а порой повисал почти что в пустоте. Не верилось, что где-то есть наземная жизнь — небо, ветер, колышущаяся нива пшерузы. Дважды в стороне видел кигоновые острова, но даже не старался приблизиться к ним, съезжая, сползая, скатываясь. Час прошел, может быть, и три. Наконец, внизу показались какие-то баки, очертания непонятных конструкций. Все это двигалось к нему, постепенно вырастало в размерах. Кисч спустился по тонкой трубе, оборванный, грязный. Стал на крышу бака, слез по металлической лестнице, сделал несколько шагов по каменному полу и сел.

Было похоже, что теперь уже самое дно. Вверх ухо-

дило безмерное пространство, рядом что-то негромко хлопало в баках.

Ни живой души. Царство автоматизированных процессов. Духота, жара, тяжелый спертый воздух, насыщенный мириадами взвешенных в нем масляных капелек.

Кисч поднял руку, чтобы взглянуть на часы. Их не было — оторвались и упали еще где-то там, выше. У него сосало в желудке. Он подумал, что настоящий лес дал бы какие-нибудь семена, плоды, подвернул бы под ногу ручеек, в крайнем случае позволил бы облизать росу с листьев.

Поднялся, двинулся, не зная куда. Баки кончились, их сменили бетонные кубы с плотно задраенными дверцами. Что там внутри: может быть, компьютеры и как раз одна из тех систем, что держит его на поводке? То, что соединено с электродами в его собственном мозгу.

Незаметно сверху надернулся потолок. Теперь Кисч был в бетонном коридоре. Послышался новый шум, непохожий на все прежние — металлический грохот движения. Кисч остановился на перекрестке, определил направление. Пошагал быстрее и ступил опять на открытое пространство.

Из отверстого жерла в стене тянулась канатная дорога и уходила вверх в темноту. Подрагивали толстые стальные нити, вагонетки медленно выезжали, укатывались, осветившись под проводом.

Но ни следа человеческого. Технология, однажды созданная, властвовала и развивалась под землей, не нуждаясь в своем творце.

Он постоял чуть-чуть; возле канатки было легче от того, что хоть что-то движется, почти живет. Потом пошел. Бездна надежды накапливалась. Вяло прикинул, что хорошо бы найти ту окончательную стену, которой все ограничивается. Но границ-то как раз и невозможно было отыскать. Казалось, их просто нет. Во все стороны открывались одинаковые коридоры между бетонными кубами.

Удивительно было, что дикое положение, в котором он оказался, возникло естественным путем. Разумно, что он хотел увидеть нынешнего Сетеру Кисча. По-человечески также понятно, что лейтенант впустил его, несмотря на запрет. Естественно, что потом они с девушкой постарались избежать проверки и что сам он, спасаясь от собаки,

прыгнул на трубы. Вообще все было логично. Кисч не мог упрекнуть себя в том, что хотя бы раз поступил глупо. Но теперь все эти естественности вдруг сложились в одну ужасающую огромную неестественность. Почему?

Коридоры ветвились, образуя иногда на перекрестке маленький зал. Порой дорогу преграждали балки, приходилось перелезать. Грохот канатки остался где-то позади, Кисч слышал биение собственной крови в висках.

Остановился, посмотрел на световедущие провода на потолке. Теперь уже не было сомнения в том, что они стали тусклее. Когда он только спустился, можно было видеть метров на тридцать—сорок вдаль. А сейчас уже в десяти все сливалось в серую муть.

Сетера Кисч схватился руками за голову. Господи, но ведь это же сон, сон! Вот он крикнет, и наваждение разрушится.

Но не крикнул. Отнял руки от лица — серые стены смотрели укоризненно, насмешливо. Провод на сгибах уже покраснелся. Может быть, только час до полной темноты здесь в безвыходном лабиринте.

Побежал в отчаянии, потом перешел на шаг. И побрел, хватаясь то за одну стену, то за другую. Услышал какое-то посапывание впереди, устремился на звук, увидел железную дверь. Попытался открыть — заперто.

Равномерное посапывание там внутри сменилось клацаньем. Прозвучал звоночек, что-то прожужжало, шелкнуло, потренькало, и опять посапывание.

Машины разговаривали за дверью на своем машинном языке. Конфликтовали, улаживали спорные вопросы, болтали, не слыша, не имея даже возможности услышать его, Кисча, голос.

Со стоном он опустился на пол. Пришло в голову, что по правильному-то следовало оставаться там, где он оторвал кусок флюоресцента. Хоть была бы надежда, что кто-то станет разыскивать поврежденное место. Но, с другой стороны, неизвестно, сколько ждать там в темноте над бездной и дождешься ли. Вполне возможно, что свет тут нужен был, лишь когда монтировали конструкцию, а теперь люди вообще сюда не показываются. Да и кроме того, теперь уже не поднимаешься на сотни метров вверх, не разыщешь во мраке, в жуткой путанице того кигонного острова...

Неужели умирать? Хотя вот так, наверное, и умирают все, о ком слышишь: «утонул», «сгорел», «сбит машиной». Слышишь, но не задумываешься, не придаешь значения, самоуверенно полагая, что именно тебя-то случай не посмеет коснуться, что твой конец будет красивым, даже слегка величественным, логичным завершением чего-то большого. (Кстати, те другие тоже полагали, пока не настигло.) Живешь, воображая, что впереди еще целые вороха времени, которые, когда приблизится смерть, позволят заново рассмотреть всю долготу прожитой жизни и последними усилиями придать ей всей, даже туда назад, какую-то стройность. Но вот оно пришло, и ничего не успеть. Приходится смириться с мыслью, что просто в крошечном бессмысленном хаосе истории затеплилась, зажглась искорка твоего сомнения, недолго потлела, чадая, и гаснет.

— Может быть, так и лучше,— сказал он вслух.— Черт с ним! Цивилизация все равно под откос. Где-то в середине двадцатого столетия человечество достигло зенита, а впереди одна грохочущая металлом пустота. Ребят вот жалко — много им еще придется доказывать, что-то объяснять, когда они попробуют поступить по-человечески. А потом тоже уснут где-нибудь под машиной.

Подумалось, что сейчас он даже и не хочет видеть людей, во всяком случае если то будут торговые агенты, сотрудники Надзора, судьи. Да и вообще, все ведь заодно.

Он покачал головой. А может быть, даже и логика есть вот в такой смерти. В последние годы он постоянно чувствовал, что технология уже за горло берет — телевизором, стимсиверами в башке, ревом машин. А теперь затянуло в трубы, в эти гробы бетонные и задавило окончательно.

— У-у, гадюка!

Он ткнул ногой в стену. Ботинок задел что-то мягкое, податливое.

Кисч потянулся, поднял это «что-то». Поднес чуть ли не к носу. Еще не понимая почему, почувствовал, что тело оплеснуло бодрящей, прохладной волной.

В руке была белая кофточка Ниоль. Сделанная из немнущегося, негрязнящегося материала, она была как только что из магазина.

Значит девушка тоже здесь!

Но ведь и она чужая среди этой путаницы труб и лабиринтов, железа и кигона. Она тоже сразу заблудилась на лесенках. Может ли это быть, чтобы она полезла искать его? Неужели такие люди еще существуют, остались в наш век?

Он вскочил.

— Эй!.. Э-эй!

Звук коротко заметался в тесноте, стукаясь о стены, и оборвался.

— Э-э-э-эй!

Кисч побежал вперед.

Тупик.

Повернулся, выскочил на перекресток.

— Эй! О-го-го-го-о-о!

Прислушался, держа кофточку в руке как доказательство для судьбы, что имеет право ждать ответа.

Ничего.

Метнулся в коридор, уперся, бросился назад. Повороты мелькали все одинаковые.

Еще через час примерно, охрипший, побитый, он сел на пыльную балку, пересекающую узкий проход. Было совсем темно, только провод на потолке тлел красной нитью. Слой пыли на балке показывал, что здесь годами никого не бывает. От жажды и крика в горле першило, пересохший язык казался во рту посторонней деревяшкой.

Подумал, что надо бы написать какие-то предсмертные слова — может быть, когда-нибудь передадут жене и детям. Сунул руку в карман, нащупал гибкий листок «Уверенности». Его передернуло, даже зубами заскрипел от злости.

— Вот нарочно буду идти, пока не сдохну. На ногах умру, а не лежал!

Попробовал разорвать листок, тот не поддавался. Бросил на пол, плюнул, растер подошвой. Ноги заплетались, но он упрямо брел, вытирая плечом стену. В тесноте не то чтобы увидел, а как-то почувствовал дыру внизу, на уровне колен. Нагнулся, кряхтя, всунулся туда. Лаз был тесным, клонился книзу. Кисч сначала перебирался на четвереньках, потом лег и пополз. Лаз сжимался, было понятно, что тут не повернешься, не выберешься обратно.

— Превратился в червяка или термита.

Лица вдруг коснулся ветер. Впереди забрезжило.

Поворот, решетка.

Кисч отодвинул ее, выглянул. Стал на четвереньки, поднялся на ноги.

Вправо и влево уходил ярко освещенный просторный туннель с зеленоватыми стенами. И метровой ширины рельс тянулся посередине.

Магнитная дорога. А он, Кисч, находится в одной из ремонтных ниш.

Выкарабкался! Самостоятельно! Не по команде, не по намеку. Доказал, одним словом.

Справа послышался коротко нарастающий свист. Перед глазами замелькало, и тут же его воздухом дернуло так, что едва успел ухватиться за решетку. Сыпались неясные пятна, ветер тянул и рвал. Потом все это кончилось. Тишина.

— Так. Прекрасно. Прошли вагоны...

Осмотрелся зорко, деловито. Вернулись все силы — даже те, каких отродясь в себе не знал. Уж отсюда-то он выберется, хотя бы сутки пришлось идти до станции. По всему пути должны быть рассеяны ниши, надо только определить промежуток между поездами. Не оказаться застигнутым составом, который мчится километров на триста в час.

Кисч принялся отстукивать в уме секунды. Насчитал трижды по шестьдесят, услышал свист, отступил поглубже в свой проход.

Еще раз все то же самое и еще... Поезда следовали с интервалом в три с половиной минуты.

— Хорошо. Значит, бежать полторы, а если не увижу ниши, вернуться.

Переждал еще один состав, отметив, что вагоны вплотную приходятся к стенам туннеля. Выскочил, зайцем кинулся по широкому рельсу, десять секунд, двадцать... Минута, вторая... Уже не хватало дыхания. Вдруг сообразил, что пропущен контрольный срок — полторы минуты. Зеленоватые стены ровно блестели. Кисч надал, справа показалось темное пятно. Добежал, втиснулся в нишу, и в этот момент налетел поезд, ветер дернул, потащил с мягкой неуступчивой силой. Вагоны неслись автоматной очередью.

Когда все стихло, Кисч покачал головой.

— Уж слишком впритык.

Сообразил, что можно скинуть ботинки, пробежал новый пролет босиком. Вышло лучше, он даже накопил секунд тридцать форы. Сбросил пиджак, переложив идентификатор в брючный карман. Стало еще легче, жизнь поворачивалась хорошей стороной. Через два пролета он приспособился так, что успевал отдышаться за интервал между составами.

На седьмом отрезке он несколько расслабился, опомнился, затем нажал что было мочи, бросился в нишу уже под грозный свист.

Чья-то рука схватила за пояс, крепко притянула. Он забился, пытаясь вырваться... Вагоны мелькали в его боковом зрении, рука не отпускала...

Когда ветер стих, тот, кто держал Кисча, ослабил свою хватку. Кисч отступил на шаг. В нише стояла Ниоль.

Секунду они смотрели друг на друга.

— Ловко,— сказала девушка.— Знаете, я не сомневалась, что мы встретимся. Здорово, да?

— Ну и рука у вас.— Кисч чувствовал, что его физиономия расплывается в самой глупейшей улыбке. Он оглядел девушку. Ниоль была вся измазана маслом и почти обнажена.

Под его взглядом она пожала плечами.

— Все скинула с себя, чтобы дать вам знак. Серьги, туфли, брюки... Вы нашли что-нибудь?

— Кофточку. А как вы попали вниз?

— Полезла вас искать. Заблудилась и решила, что вы тоже будете спускаться.

Так просто это у нее прозвучало: «Полезла вас искать». Как будто не бывает на земле ни страха, ни предательства.

— Жуткое место, да?

Он кивнул.

— Вы, наверное, не знаете, куда ведет эта дорога... Никуда. В этих краях начали строить пригород, потом вдруг прекратилось поступление денег. А откуда они шли, никто не может разобраться, потому что все в компьютерах, в блоках памяти, да еще каждая фирма держится за свои секреты. Даже неизвестно, где искать документацию. А вот дорога продолжает работать.

— Кто-нибудь все же ездит здесь? — спросил Кисч.

— Никто. Но энергия поступает. Кажется, даже идет строительство новых дистанций. Эти переходы, где мы с вами плутали,— служба дороги... Да, слушайте, ваши часы! Я их подобрала у бункера, где переворачиваются вагонетки!

Она подняла руку с браслетником.

— Вы прелесть,— сказал Кисч.— Я-то, честно говоря, уже начал тут отчаиваться. Но вы действительно чудо.

Девушка порывисто прижала его к себе. В ту же секунду в уши ударил свист.

Вагоны летели за спиной Кисча, ураганный вихрь тянул за рубашку, пытался раздеть, вырвать из объятий Ниоль. Шаря рукой по стене ниши, Кисч наконец схватился за решетку. Поезд проскочил, они разъединились.

Ниоль, отдуваясь, сказала:

— Эти штуки не рассчитаны на двоих... Вы сколько пролетов пробежали? Я два. Если за вами больше, давайте в вашем направлении. А я пропущу три состава и за вами.

Станция показалась после пятнадцатого пролета. На гладкой стене возник коротенький выступ платформы. Кисч успел добежать и нарнуть под нее как раз к моменту, когда вдаль материализовался, приблизился и остановился поезд.

Наверху в полную мощь сияли люстры, лоснился искусственный мрамор, блики неподвижно сияли на геометрических узорах пола. Центр просторного зала занимала двойная дорога эскалатора. Неподвижная, застывшая.

Кисч подошел к эскалатору. Его нити поднимались в бесконечность. Заныли все усталые мышцы, когда он подумал о пешем подъеме.

Рядом в стене была приоткрытая дверь, оттуда донесся шум. Кисч вошел, сделал несколько шагов в пещере с дикими, неровно вырубленными стенами, ступил на металлическую платформу. Внизу, в скудно освещенной яме, возился какой-то механизм, всхлипывая и вздыхая. Из слитной массы деталей протянулся шуп, уперся в скалу, убрался. Механизм помедлил, накренился, с громаханием отъехал, убравшись из поля зрения Кисча, появился, вытянул другой шуп. Машина действовала здесь заброшенная, пренебреженная, как римский невольник, навечно прикованный во мраке серебряного рудника.

Кисчу даже стало жаль ее. В лабиринте ему довелось услышать напруганный разговор машин-конторщиц. На поверхности земли — он знал — благоденствовали основные компьютеры в светлых залах с кондиционированным воздухом и стабильным тепловым режимом. А этот злосчастный механизм-раб одиноко рылся тут в грязи.

Содрогнувшись, Кисч вернулся на перрон, подошел к неподвижному эскалатору.

— Алло!

Девушка стояла рядом. Она задрала подбородок, показывая вверх.

— Представляете себе, какая высота?.. Думаю, что больше километра. И по высоким ступенькам... Давайте доедем до другой станции — все равно терять нечего. Посмотрим заодно.

Очередной состав, прозрачный, весь из стекла, металла, искусственной кожи, бесшумно подошел. В унисон прошелестев, раздвинулись стены пустых вагонов, сдвинулись. Девушка и Кисч блаженно попадали на мягкие скамьи. Поезд стремительно набирал скорость, обоих властно потянуло вбок — только это и показывало, что они не стоят на месте.

— Поспать бы, — мечтательно сказала Ниоль. — Знаете, сколько мы уже путешествуем? Восемь часов. В коридоре встретились в одиннадцать, а сейчас семь... Интересно, приближаемся мы сейчас к нашему городишку или наоборот? Впрочем, нам только выбраться наверх.

Кисчу-то казалось, что не восемь часов, а месяцы прошли с тех пор, как он подъехал на своем мобиле к железнодорожному переезду. Собственно, первый раз в жизни он увидел истинное лицо технологии.

— Странно, — сказал он. — Никому не нужна дорога. Сама для себя. Когда цивилизация прибыли лопнет, туннель останется памятником бесцельного труда. Это, между прочим, тоже форма закабаления общества — гигантские бесполезные работы. Вроде Хеопсовой пирамиды. Если б таких не предпринимали, у всех решительно было бы решительно все необходимое... Какой удивительный парадокс: каждый экономический элемент рационален, приносит доход, а все вместе создают массу никому не нужных вещей.

— А здесь люди не работали. — Ниоль подняла па-

лец. — То есть где-то там сзади есть человеческий труд, но сама подземка спроектирована и построена почти без участия человека. Теперь она сама по себе развивается, куда-то движется, обходит препятствия. Причем никто не знает, из каких источников поступает энергия. То есть раньше знали, а потом кто-то умер, кто-то перешел в другую фирму. И получилось, что сейчас дешевле предоставить ей самостоятельность, чем разыскивать, что откуда идет. Потому что идет-то по инерции, а розыски — квалифицированный труд, дорогой.

— А если сломать? Взять да и взорвать какой-нибудь узел? Например, депо.

— Во-первых, это частная собственность. Правда, сейчас не определить, чья именно, поскольку все ужасно запутано. А кроме того, она сама чинится, ремонтируется. И наконец, кто этим будет заниматься? Вы же не придете сюда с взрывчаткой, и я не приду. Поэтому проще не обращать внимания на нее, считать как бы природным явлением... Да и вообще ее потеряли. Я расскажу в отделе, что ездила тут, на меня вот такими глазами будут смотреть.

Состав замедлил ход, двери-стены раздвинулись. Кисч с девушкой вышли, их сразу обрадовал глуховатый рокот. Как и на предыдущей станции, безлюдный перронный зал сиял чистотой. С правого конца эскалатор шел вверх, с левого — вниз. Они ступили на гибкую ступенчатую ленту, их повлекло. Геометрические узоры на полу быстро уменьшались. Сначала Ниоль и Кисч стояли, потом сели на ступеньки.

— Вот вы предлагаете взорвать, — девушка вернулась к начальному разговору. — Но ведь это даже опасно, если не изучишь предварительно. Куда пойдет огромное количество энергии, если ее не потребит дорога? Тут вы взорвали — а в Мегаполисе выход из строя каких-нибудь существенных агрегатов или что-то совсем неожиданное вроде валютного кризиса. Один мой приятель считает, что технологию уже вообще нельзя трогать, поскольку у нее свои экологические цепи и циклы. Как у нас было в позапрошлом году — вдруг все уровни института остались без воды. Устройства в порядке, механизмы нормально функционируют, а воды нет. Создали комиссию. Пока она судила-рядила, прошли сутки и вода появилась. Система сама себя исправила.

— Мораль,— заметил Кисч,— состоит в том, что технологию можно развивать только до той степени, пока она поддается контролю. Но не дальше.

— Факт... Или взять положение специалистов. Большинство работает, представления не имея, чем они, в конце концов, заняты. Когда нового человека принимают в фирму на должность, его знакомят с непосредственными обязанностями. А объяснять, зачем он будет делать то или иное, слишком долго или вообще невысказано из-за секретности, из-за того, что не каждый поймет. Мура, одним словом. Как-то это все должно кончиться, потому что всем опротивело.

Назад и вперед туннель эскалатора сходил в точку. Они ехали уже восемь минут, ощущение подъема прекратилось. Только прикоснувшись к гладкой стене, можно было убедиться, что лестница бежит. Да еще по вздрагиванию ступенек.

— В желудке зверски глохнет,— сказала девушка. Она посмотрела на Кисча.— В ресторанчик бы сейчас... Да, между прочим, нам пора бы познакомиться...

— Лех... Вернее, Сетера Кисч.

— Как?... Сетера ведь...

— Видите ли, дело в том...

— У вас с ним был обмен, да? А родились Сетерой Кисчем именно вы?

— Ага... Впрочем, даже лучше, если вы будете звать меня Лехом. Больше привык к этому имени.

— Лех так Лех. Очень приятно. Знаете, когда я вас первый раз увидела, вы мне почему-то напомнили Хагенауэра.

— Какого Хагенауэра?

— У Моцартов был такой друг, добрый, скромный. Все время им одалживал деньги. Они никогда не отдавали, а он опять. Это я недавно прочла роман о жизни Вольфганга Моцарта. У меня постоянно в голове мелодия из Тридцать восьмой. Помните?

Диковато прозвучало имя Моцарта в этой обстановке.

— Вы, наверное, неспособны долго сердиться? — спросила девушка.

— Пожалуй... А по-вашему, это плохое качество?

— Наоборот, замечательное. Я, впрочем, тоже не умею. Обозлишься на кого-нибудь, а потом думаешь: «Черт с ним!»

Наверху показался, наконец, потолок. Лех и Ниоль встали. Устье туннеля ширилось, приближаясь. Ступеньки сглаживались, лестница с урчаньем ушла в гребешок приемника.

Они сделали несколько шагов в большом круглом зале, отделанном под красный мрамор. Осмотрелись.

Из зала не было выхода.

То есть была высокая дверь. Но заваленная песком до самой притоки.

Ловушка. Продолжение кошмара.

Девушка нахмурилась.

— Да. Неудачно. — Она посмотрела на бегущую лестницу. — Похоже, что спуститься будет нелегко.

И действительно, теперь механика эскалатора выступала против них. Воспользовавшись ею, они поднялись, но спускаться пришлось бы, преодолевая ее бездушную силу. По-сумасшедшему нестись против хода ступенек и знать, что малейшая задержка, несколько секунд отдыха, отберут все, что завоевано.

Не стеной, а встречным движением их заперло в круглом зале.

На миг у Леха мелькнуло в глазах видение запыленных коридоров, путаницы труб. Только не туда!..

Он бросился к гряде песка.

— Слушайте! Песок-то рыхлый. Надо копать. Наверное, тут рядом выход. — Полез наверх, с каждым шагом обрушивая маленькие лавины. Под верхним сухим слоем и в самом деле было влажно. Лех ожесточенно рыл, песок струился. Наверху образовалась дырка. Пахнуло свежестью. Отверстие ширилось. Хлынул поток дневного света.

— Сюда! Скорее!

Помогая друг другу, они выбрались из-под притоки и оказались в центре небольшого песчаного кратера. А над ними было вечернее, но еще светлое, беспрельдно глубокое небо.

Они стояли на краю кратера. Перед ними, куда хватит глаз, простирались канавы, поваленные краны, груды щебня и бетонных плит, котлованы, торчащие из земли трубы — первобытный хаос строительства. Все это уходило к горизонту, и на всем пространстве не было заметно ни кустика, ни деревца, ни признака жизни.

— Величественно! — сказала Ниоль.

Лех повернул голову и, покачнувшись от удивления, чуть не съехал вниз. Всего лишь метрах в ста от того места, где они находились, тонкую синеву неба косо прорезала высоченная башня, подпертая сбоку кружевом лесов. Та, которую он видел с дороги еще рано утром.

Все окна здания светились электрическим светом.

— Это гостиница.— Ниоль переступила с ноги на ногу.— Честное слово. Мне рассказывали, что, хотя города нет, гостиница существует.

У великолепного подъезда — он тоже был несколько набок — стоял молодой мужчина. На приближающихся он смотрел без улыбки. Его лицо, загорелое, словно вырезанное из темного камня, обращало на себя внимание неподвижной определенностью черт. Индивидуальность лезла наружу четко, как на портрете Возрождения, — бери ее рукой, словно огурец.

— Здравствуйте, — сказала Ниоль. — Мы убежали, чтобы не попасть в Схему. Можно у вас передохнуть?

— Конечно. — Мужчина был странно одет. Нечто вроде рубахи из жесткого серого материала, такие же штаны, неуклюжая бесформенная обувь. — Отель к вашим услугам. Я здесь и смотритель и хозяин практически... Откуда вы взялись?

— Из подземки.

— Из подземки? Она что — близко?

— Конечно. Вон там дыра.

Мужчина посмотрел в указанном Ниоль направлении. Вблизи было видно, что лицо его не так уж пышет здоровьем, как показалось вначале. Под глазами зияли отчетливые черные круги — знак нервного расстройства или хронического недосыпания.

— Жалко, — сказал он. — Только что ушла в пустыню экспедиция на ее розыски.

— В какую пустыню?

— В эту. — Мужчина указал на горизонт. — Три дня копошились со своей аппаратурой, а в той стороне не были... Ну, идемте. Я вас накормлю, вымоетесь, переоденетесь.

Вестибюль был огромен, как большой готический собор или ангар для малой ракеты. Стены, облицованные алюминиевыми плитами цвета старого золота, колонны рельефного окрашенного кигона, имитированный под паркет темно-коричневый пол, диваны и кресла с гнутыми в

старинном стиле ножками. Все горизонтальные и вертикальные плоскости сместились под углом градусов в пятнадцать. Идти приходилось подогнув одну ногу, как вдоль покатой крыши.

— Отель собирали на земле в лежащем положении,— пояснил смотритель.— Начали поднимать, немного недотянули, когда все кончилось. Но службы работают.

Они вошли в косой лифт. Мужчина нажал кнопку.

— Я вас устрою на пятнадцатом этаже. У меня свечи приготовлены только там.

— А зачем свечи?

— Что-то перепутано в механике освещения. Днем включено и светит. А когда становится темно, гаснет. Наоборот.— Объясняя, мужчина скромно отводил глаза от Ниоль, почти обнаженной.— Я пытался разобраться, но не вышло.

— Вы что — один на весь отель?

— Уже восемь лет. Но дел не так много. Уборка автоматизирована, белье и посуда одноразового пользования.— Смотритель глянул на Леа и девушку с подозрением.— Вам как, в одном номере или в разных?

— В разных,— сказала Ниоль.— Только знаете, мы совсем без денег. Все как-то случайно вышло.

— Не имеет значения. Я вам говорю, что хотя никто не живет, все службы действуют. Доставка продуктов и прочее. Даже товары регулярно поступают в универмаг. У меня половина времени уходит на то, чтобы все это закапывать и сжигать. Вообще гостиница принадлежит к другой системе, отдельно от строительства и функционирует нормально, за тем исключением, что нет постояльцев.

В косом коридоре стены были декорированы сложным выпуклым узором на голубом фоне.

— Сейчас заканчивает ежегодную проверку комиссия из НОРГА. Можете поужинать вместе с ними. Но консервированными продуктами.— Смотритель посмотрел на Ниоль.— А если хотите настоящих свежих овощей или мяса, готов приготовить. Что вы предпочитаете?

Девушка вздохнула.

— Нам бы что скорее.

— Тогда с комиссией. Поставлю еще два прибора в пляжном зале и скажу им подождать. Это здесь на этаже.

Номер, куда мужчина впустил Леха, оказался двойным. Из окна открывался широкий вид на пустыню. У противоположной стены разделенные туалетным столиком стояли две кровати — Лех сообразил, что смотритель переставил их так, чтобы скат получался как бы килевым, не бортовым. На столике висел грубо сделанный подсвечник с серой свечой. Над ним — встроенный аквариум, где меланхолично скользили красные рыбки. Обнаружив в ванной несколько личных полотенец и два купальных, Лех зарычал от удовольствия. Правда, из-за уклона резервуар можно было наполнять только на треть. Когда Лех сел в глубокий угол, то погрузился с головой, а в мелком был вынужден сидеть на обнаженном дне.

Вымывшись и отмякнув, он вернулся в комнату и нашел там синий безразмерный костюм с такими же ботинками. Тут же в дверь постучался смотритель.

— Ну как, подходит?.. Девушку я впустил в универмаг, чтобы сама выбрала. Как ее зовут?

— Ее? Ниоль.

— Хорошая девушка. Меня зовут Грогор.

— Лех. Рад познакомиться.

Пожав друг другу руки — Леху при этом показалось, что его пальцы попали в осторожные стальные тиски, — они вышли в голубой коридор. Опускающееся солнце окрасило в желто-розовый цвет условных акул и тритонов на стене. Было понятно, что убранство этажа подчинено морской тематике.

Прогулялись. Из-за наклонности пола Лех то и дело натыкался на своего спутника. Тот сказал:

— Если бы все время в одном направлении, тут перекосило бы позвоночник. Но когда идешь куда-нибудь, потом все равно обратно.

— Не тоскливо без людей?

— Без людей? — Смотритель вдруг остановился, прислонившись к стене, уткнулся в нее лбом, закрыл глаза. Потом, через секунду поднял голову. — Что вы сказали?

— Я спросил, не скучно ли одному?.. Вы что, нездоровы?

— Почему? Просто заснул. — Мужчина тряхнул неровно подстриженной светлой шевелюрой. — Не скучно. У меня есть занятие. Но главное — свобода.

— Часто бываете в городе?

Закусили несмесиной зернистой икрой из газа, весьма пикантной. Достава все из специального устройства в стене, прогор подавал синтетические отбивные, бактериальный крем, всевозможные гарниры. Смотри-тель, помешавшийся во главе стола, был единственным, не принимавшим участия в трапезе. Alex заметил, что

лжжит.

Нюль.— Собственно, ТЧК и ЗПТ. Расшифровка не под-
— Инспекция из ТЧК,— бойко отрекомендовалась
ранов и Гостиниц.

— Мы из НОРТА. Национальное Объединение Ресто-
приподнявшись, сказал:

четверо членов комиссии. Полный мужчина, вежливо
Потягивая глотамонный коктейль, за столом сидело
в уют.

синяя вода, образовывала лужу и вдоль стены утекала
потоке. В центре помещения фонтанчиком извергалась
го песка, составленное из световедущих нитей солнце на
кленной галки и голышей, длинный стол армированно-
Пляжный зал был и впрямь похож на пляж. Пол из

нон они себя называют. Особенно-то я не интересовался.
Каме можно едят. У них, впрочем, и народу больше. Ка-
— Тут их три, по-моему. Оселое и два кочевых. Осел-

— Дикие племена?

ни. Но вещей не берут.

продуктами вот только приходят дикие племена из пусты-
ходится как-то обеспечивать место для новых партий. За-
— Куда же девать? — Прогор пожал плечами. — При-

Неужели вы все уничтожаете?

— Как в сказке. Никогда не видела такого выбора.
Ее окружало облако духов, глаза сверкали.

Нюль появилась в красном комбинезоне под бархат.
рать — они на три дня прнехали.

вестно. Комиссию, кстати, тоже должен вертолет заб-
не кончится программа. Но когда это произойдет, неиз-
снабжение но воздуху. Так и будет, пока у компьютера
и завалено. Поэтому гостиничная фирма перешла на
все останавлилось. Теперь там не проехать — зарожено
— Дорога была. Ее как раз начали расширять, когда

родом?

— Ни разу за все время.
— Но тут есть дорожка?.. Какая вообще связь с го-

время от времени он клал голову на руки и засыпал. Черные круги под глазами как будто стали еще отчетливей к позднему часу. Посуду все выкидывали в синюю воду, где она тотчас расходилась без следа. Из-за наклонности стульев сидеть надо было напряженно, согнув корпус, упираясь в пол одной ногой. Поверхность жидкости в стаканах и тарелках стояла под косым углом к стенкам сосуда.

Сбив первый голод, заговорили.

Полный мужчина подвинул ближе к Леху чашу с искусственной картошкой.

— Обратили внимание на орнамент в коридоре? Производит впечатление объемности, а на самом деле полифотографическая живопечать. Тоньше папиросной бумаги. Вся стена прибыла одним рулоном, который весил семьсот граммов.

— Моя гордость, — подхватил другой, — бойлерная система. Вростные трубы без единого шва, представляете себе?

— Да, — начал Лех, — но вот эта кри...

Нюль поперхнулась с набитым ртом, сделала Леху большие глаза и поспешно глотнула.

— Отличные трубы. Я их не видела, но уверена.

— Абсолютно исключена возможность утечки. — Тот, который гордился бойлерной системой, проворно подхватил заскользивший по скату стола стакан.

— Как представитель архитектурного надзора, — начал третий, — могу сказать, что ремонтные работы документированы превосходно.

В коридоре после ужина девушка накинута на Леха.

— Послушайте, что вы там хотели устроить?

— Но это же сумасшествие. Рассуждать о трубах и орнаменте в такой ситуации.

— Почему? Люди на работе, не знают, кто мы с вами такие, и, конечно, выглядят болванами. Но попробуйте потолковать в другой обстановке, каждый может оказаться умнейшим человеком. Просто они вынуждены поддерживать ритуал.

— Да... Может быть, вы правы.

— Кроме того, толстяк, возможно, сам конструировал стену. Изобретал, вдохновлялся, мучился. Ему нужно хоть слово похвалы услышать, тем более если его произ-

ведение попало в такое место, где его вообще никто не видит.— Ниоль дотронулась до белой линии узора.— Смотрите-ка, в самом деле оно не выпуклое.

Лех попробовал взяться за то, что казалось рельефной завитушкой, но рука скользнула по гладкому. Он посмотрел сверху и снизу — иллюзия объема сохранялась. Приложил щеку к стене, и белый узор слился в сплошное.

— Черт его разберет.

— Ну, отлично.— Ниоль подавила зевоту.— Давайте отдыхать, а? Возвращаться надо будет, видимо, прямо через пустыню пешком. Я тут поговорила с нашим хозяином. Он считает, что до городка километров тридцать пять. Придется выйти с восходом. Компаса у него, к сожалению, нет, но говорит, что не собьемся, если будем шагать на солнце. Все-таки это лучше, чем обратно в подземку.

— Еще бы!

— Тогда — спокойной ночи.

Однако едва Лех успел блаженно вытянуться и забыться, как почувствовал, что его трясут за плечо. Рядом с кроватью стоял Грогор.

— Извините.

— Угу...

— Я стучал, но вы не откликнулись.

— Да. А что?

— Вы не хотели бы посмотреть мое хозяйство? Я вам могу показать.

Лех встал, шатнувшись, еще не вполне понимая, чего от него требуют. С горечью оглянулся на выдавленное и согретое его телом углубление в постели.

— Ладно, пойдемте. То есть я хочу сказать, что с удовольствием.

Возле лифта смотритель остановился.

— Что если нам пригласить Ниоль?

— Давайте.

— Может быть, вы тогда постучите к ней? Скажете?

— А почему вы не хотите постучать? Скажите сами.

Резное лицо Грогора покраснело под загаром. Он опустил глаза.

— Стесняюсь. Почти не приходится общаться с женщинами. Тем более такая девушка.

— А-а-а... Ну хорошо.

Ниоль еще не успела лечь и, к удивлению Леха, отозвалась на предложение без всякой досады.

Солнце клонилось к горизонту, когда трое вышли из величественного подъезда. Огромная тень здания изломанно лежала на грудах мусора. Вечерний ветерок поднял, пронес, бросил обрывок древнего чертежа.

Следуя за зрителем, Лех с девушкой обогнули отель. По россыпям кигоновых обломков Грогор шагал, как горец, с детства привыкший к своим крутым дорожкам. Они миновали сборище полуразрушенных кирпичных колонн, пробрались сквозь толпу застывших булькранов, чьи полунстлевшие кабели зменлись под ногами.

Влезли на гребень щебеночной дюны.

Здесь Лех и Ниоль восхищенно замерли. Потом Лех выдохнул:

— Вот это да!

Прямоугольный котлован со сторонами метров на пятьсот был затоплен зеленью. В первый момент ковер растений представился однообразным, но тут же взгляд начал различать там лужок, здесь рощицу, в одном месте вольную заросль кустарников, в другом — аккуратную посадку. Примерно посреди участка к небу тянулась тонкая труба, укрепленная тяжами, рядом краснела черепицей крыша небольшого дома. Ни дать ни взять крестьянская усадьба двухсотлетней давности. И труба не портила эффекта благодаря своему легкому светлому цвету.

— Оазис среди пустыни.— Ниоль покачала головой.

— Посмотрите на меня,— быстро сказал Грогор, пользуясь произведенным впечатлением. Он оттянул ворот своего неуклюжего одеяния.— Вот эта рубаша! Полностью своя. Вырастил хлопок, спрял нитку и соткал... Или вот обувь. Знаете из чего сделано?.. Из кожи.

— Понятно, что из кожи.— Ниоль недоуменно посмотрела на странной формы ботинок.— Бальзамит, наверное. Или что-нибудь углеродистое.

— В том-то и дело, что нет. Просто кожа.

— Я вижу, что кожа. Но из чего она?

— Из свињи. Свиная. Прочел в старинной книге, как дубить и сделал. На мне нет ничего искусственного. Это принцип...

Они вступили в зеленое царство. Воздух был наполнен острым, пьянящим запахом тмина, липы, сосны. Круп-

ная тяжелая пчела на глазах снялась с цветка, полетела, гудя, пропала на фоне листвы. Под стволом одной из со-
сенок высилась игольчатая рыжая куча, вся перелива-
ющаяся точками.

— Муравейник, — объяснил Грогор. — Это один, а там
дальше второй. Вообще насекомых много — без хвостов-
ства. Вредители даже есть. Бабочки-капустницы, яблоч-
ные тли... Вредителей, правда, трудно доставать. Хотел
на картофельном поле развести колорадского жука. Но
не добудешь. Уничтожили во всем мире. Только по воен-
ным лабораториям и удержался где-нибудь в небольших
количествах.

— Зачем вам колорадский жук? — спросил Лех.

— Для естественности... Вот это поле пше-
рузы. На чистом черноземе, между прочим. А знаете, как делал?
Все своими руками. В этой местности почвенного слоя
совсем не осталось. Какой раньше был — перемешали со
щебенкой, цементом, кирпичом. Поэтому я сначала по-
крыл котловину смесью из ключев волнопласта с песком
и глиной. Высеял люцерну, три года подряд поливал ра-
створом фосфора, калия, азота, весь урожай скашивал,
оставлял тут же. А потом только начал сажать кусты,
всякое такое. Сейчас у меня перегной девять сантиметров.

Они вошли во фруктовый сад. Вишневые деревья были
густо покрыты ягодами, ветви яблонь согнулись, и трава
под ними была усеяна паданцами.

— Вам нравится? — Грогор обращался только к де-
вушке. — Ешьте, пожалуйста. Вы же видите, что все про-
падает, гниет.

— Спасибо. — Ниоль передала яблоко Леху, сорвала
другое.

— Вы-то ешьте... Понимаете, когда человек высадил
сад, у него уж во всяком случае есть уверенность, что тот
кислород, который он сам потребляет из атмосферы, воз-
мещается растениями, им выращенными. Но главное —
что я полностью обеспечен. Если этот компьютер вдруг
прекратит обслуживать отель и подвозить продукты, если
вся наша технологическая цивилизация вообще даст тре-
щину, я тут прекрасно прокормлюсь.

— А вам кажется, что все треснет? — спросил Лех.

— Ничего не кажется. Просто хочу быть самостоя-
тельным. Вот представьте себе: раньше люди гораздо
меньше зависели от природы, чем теперь от технологии.

Не вышло с одним, спокойно брались за другое. Предположим, десять тысяч лет назад, в неолите. У кого-то поле не уродило, мог прокормиться охотой; дичи нет — перебивался, собирая дикие плоды, грибы, жуков, лягушек. А теперь?.. Попробуйте в городе хотя одну службу оставить — подачу воды или, скажем, уборку мусора. Через месяц миллионы погибнут, я не говорю, что такое может случиться, система многократно гарантирована. Но все равно противно сознавать, что твое существование подчинено исправности водопровода... А у меня на участке ручей и, кроме того, цистерна закопана.

— Ой, глядите! — Ниоль протянула руку. — Микки-Маус.

Меж космами травы маленький зверек, вытянувшись столбиком, ткал воздух острым носом, затем свернулся в шарик, укатился.

— Мышей много, — сказал Грогор удовлетворенно. — Одно время даже крыс развел. Риккеттиозом от них заразился, еле выгрёбся... Так о чем мы говорили — о самостоятельности?

Он подвел Ниоль и Леха к алюминиевой трубе, которая, стоя, уходила вверх метров на двадцать. Основание покоилось на кигоновом постаменте, от него в землю шел кабель.

— Во-первых, энергия. Внутри трубы из-за разности температур воздуха сверху и снизу постоянный ветер. Я туда поставил двигатель с генератором. Воду качать, трактор вести — пожалуйста. Причем штука безотказная при любой погоде... Щетки сотрутся, у меня запасных ящик. Подшипник расплавится, найду чем заменить... Теперь питание. Пшерузной муки, овощей, фруктов участок дает раз в десять больше, чем я могу использовать. Кроме того, оранжерея и пруд, где карпы, а в подвале шампиньонная плантация. Про свиней я уже говорил. К этому прибавить коровье стадо на шесть голов и два десятка овец. Замкнутый цикл. Если меня накрыть колпаком, могу существовать сколько угодно.

Грогор победно посмотрел на Леха.

— А вы бы хотели накрыться колпаком?

Смотритель нахмурился.

— Не знаю... Теперь пойдемте в дом.

Дом оказался двухэтажным, просторным. Грогор рассказывал, как изготавливал огнеупорный кирпич, в оди-

ночку клал стены. Он был уже суетливым, то и дело забегал вперед и возвращался. Его неподвижное лицо ожило, глаза остро поблескивали.

— Вот это синтетическое молоко. Ящики по сто килограммов... Я сначала натаскал продуктов из отеля, а сейчас постепенно заменяю тем, что произвожу сам. Молока примерно года на три, если не жалея лить.— Он взял огромную коробку, легко, как подушку с дивана, переложил с одного штабеля на другой.— Под молоком соевое мясо. Тут в углу окорока, свиные, собственного изготовления. Продукты пока в искусственной таре, но у меня план заменить на такую, которую сам сделал. Понимаете, цель в том, чтобы овладеть всеми производствами. Человека ведь что лишило самостоятельности — разделение труда. А у меня не так. Надо проволоку или напильник — учусь тянуть проволоку, насекать напильник. Гончарное дело уже освоил...

Лех и Ниоль посмотрели на уродливую, кособокую глиняную бочку. В этом углу подвала стоял тяжелый, удушливый запах.

— В чану варю сало для свечей.— Грогор говорил все быстрее... За чаном прялка. А тот агрегат — ткацкий станок. Вот эти тиски сам отливал, а винт нарезал на токарном станке. Верстак пришлось пока сделать пластмассовый, но когда сосны в роще подрастут, распилю на доски...

Смотритель двигался уже с такой скоростью, что было даже трудно уследить за его перемещениями. Он открыл дверь в кирпичной стене — за нею был темный коридор.

— Здесь у меня подземный ход. Наружу. Туда, за щбенку. Он еще не окончен. Собираюсь стену поставить вокруг участка...

— Зачем ход?

— Мало ли что бывает. Всегда приятно знать, что можешь незаметно выйти.

— А стена? Чтобы дикне не приходили?

— Ну да. Которые из канона, сначала наладнились было в сад. Но я предупредил, что перестану давать консервы. Тогда они отреклись, потому что консервы-то им удобней.

Из подвала поднялись сразу на второй этаж. Там комнаты были тоже завалены припасами — продукцией огорода и оранжереи. Высились горы гороха, сушеных яблок, изюма. Все было грязным, покрытым пылью, и мно-

гое — попорченным. Из-под ноги Леах выскочила огромная крыса. Смотритель со звериной быстротой прыгнул за ней, нагнулся, сумел поймать за хвост. Стукнул головой об стену, и выкинул в окно. Все это произошло в течение секунды, и он уже стоял возле подоконника, показывал на большой луг, где в одном загоне паслись коровы, и посреди другого волнистой массой лежало овчье стадо.

Почти треть первого этажа занимала кухня, и почти треть кухни — плита, кирпичная с металлическим покрытием. На нем возвышалась высокочастотная печь.

— Пока варю на электричестве. Когда будет хворост, удастся плиту иногда протапливать. Зато жестяное корыто естественное — точно как было раньше. Надо только наладить производство мыла, и хозяйка может стирать руками... Тряпка для мытья пола совершенно подлинная, из хлопка.

Он тревожно посмотрел на Ниоль.

— Как вам кухня?

— Ничего... — Девушка сделала неопределенную гримасу. — Никогда, впрочем, не пыталась стирать руками. Наверное, занято.

Смотритель просиял.

В начале экскурсии хозяйство Грогора просто-таки очаровало Леах. Но постепенно он начал ощущать в самой личности хозяина что-то натужное, даже злое. Было такое чувство, что он даже ждет мировой катастрофы, которая только и дала бы его затее полный смысл и определение. Непонятным оставалось лишь, что откуда идет — то ли убежище сформировало характер Грогора, то ли он сам наложил на созданное им индивидуальное царство отпечаток собственного сознания.

Грогор, однако, не замечал настроения гостей. Он повел их в спальню и детскую.

— Смотрите, все приготовлено. Люльки для самых маленьких, кровати, когда подрастут. Вот здесь лекарства. — Он открыл вместительный шкафчик. — Любые. Против каждой болезни.

— А где же дети? — спросил Леах. — Вообще семья.

— Видите ли... — Грогор запнулся. — Собственно, нету. Еще не успел. Но должны быть. Это запланировано.

Странно было видеть его, крепкого, какого-то по-сыромятному выносливого, вдруг смутившимся, словно школьник. Он бросил исподлобья взгляд на Ниоль.

— Я думаю, что тут каждой придется по душе. Обязательно семья и дети. Иначе, что здесь делать одному?

В новой комнате, где стены были скрыты за книжными полками, стояли крупногабаритный телесет, электропианино с компьютерной приставкой, письменный стол, несколько кресел.

— Тут, в общем, вся мировая культура. Если мир погибнет, она останется. Музыка, литература, искусство... В этом ряду классики: Аристотель, Еврипид, Дюма, Достоевский, Шекспир, Байрон там, Сетон-Томпсон. В таком духе. Книжки все бумажные, потому что мини я не признаю. Тот проем — художественные альбомы. Живопись, скульптура, архитектура — представлены все страны, в главных направлениях. Тут, — смотритель присел на корточки — видеокассеты. Шестьсот пятьдесят фильмов. Вставляй в сет и смотри. Причем на любой вкус — комедии, историческое. Потрудились как следует на участке, а вечером смотри, слушай музыку. И никого не надо. Людей вообще не надо... Вот это, например, что? — Он вынул кассету в коробочке, затем недоуменно глянул в сторону от Леха. — А где же девушка?

Лех обернулся. Ниоль не было.

Смотритель встал.

— Может, она в детской осталась?

Он вышел из комнаты, затем его шаги протопали вверх и вниз по лестнице.

— В доме нету. И в саду тоже.

— Вероятно, пошла спать, — сказал Лех. — Мы за день страшно устали.

— Да? — Грогор растерянно осмотрелся. Оживление сразу покинуло его. Он потускнел, даже как-то съежился. Круги под глазами стали еще виднее. — Значит, ей тут не показалось. Почему? Как вы думаете?

— Ну... Дело в том, что...

— Стараешься-стараешься, и все зря. — С кассетой в руке Грогор присел на стол. — Мне же надо семью завести. Что я тут так и буду отшельником?

— И заводите. За чем дело стало?

— Как завести, если ей тут не понравилось? Она ведь ушла.

— Послушайте! — Лех оторопел. — Вы же до этого дня вообще не были знакомы.

— Ну и что. Теперь-то познакомились.

— Но вы... Но такого знакомства недостаточно. И кроме того... Что, тут женщин никогда не бывает? Сами сказали, что приходят из конона.

— Приходят,— уныло согласился Грогор.— Только они нечистые все. У них в племени свободная любовь, групповой брак. Наркотиками занимаются. И ни одна работать не хочет. Только наесться и насчет этого само-го... А вот Ниоль мне сразу понравилась.— Смотритель подошел к полке.— Удивительно как-то. Все ведь есть, что может человеку потребоваться.

— А вы их сами читаете?

— Кого?

— Книги.

Грогор посмотрел на Леха.

— Вы что — смеетесь? Откуда у меня время возьмется и силы? Какое там читать, когда я в сутки часа по три сплю уже несколько лет? Такое хозяйство поднять! Поглядите на руки.— Смотритель швырнул кассету на стол, повернул к Леху ладони, все в янтарных мозолях, как черепаший панцырь.— Кругом же один. Это вам не город, где четыре-пять часов отсидел и пошел развлекаться. Не то что читать — буквы позабываешь, как выглядят. Хозяйство же затягивает, верно? Сделал запас чего-нибудь на год, потом начинаешь думать, отчего не на десять. Чем-то другим занимаешься, а мысль гложет. Взять воду хотя бы. Вон там цистерна на пятьдесят тысяч литров. Для нее сначала котлован подготовил бульдозером, потом ее самое разыскал в пустыне, трактором волок через весь этот хаос. За что ни возьмись — все работа. Голова раскалывается, ходишь очумелый от недосыпа. Я и фильмов-то этих ни одного не видел, альбома ни разу не открывал. Подойдешь только иногда, потрогаешь.

— Ну, спасибо,— сказал Лех после паузы.— Пожалуй, мне тоже пора.

Долину уже затопило тенью, от земли несло прохладой и влагой. У пшерузного поля Грогор вдруг остановился.

— Скажите...

— Что?

— Может, я с ума сошел? Вам не кажется?

— Что вы? — Лех покачал головой.

За щебеночной горой бесчисленные окна несуразной

гостиницы ярко горели на фоне темного неба. Потом они все разом погасли.

В вестибюле смотритель зажег свечу. Шаги обоих гулко раздавались в пустоте. У лифта Грогор отдал подсвечник Леху.

— Пойду все-таки к себе. Надо в коровнике наладить автоматiku. Вообще дел невпроворот. Овцы не поены... Если у вас возникнет какая-нибудь надобность, нажмите в номере кнопку возле двери.

Снова Лех завалился в постель. Но ему так и не суждено было провести ночь спокойно. В двенадцать его разбудил собачий лай из коридора.

В тревоге Лех сел на постели.

Дверь отворилась. На пороге были смотритель и высокий мужчина с бакенбардами. В руке он держал белую маску, на нем был жесткий комбинезон с петлицами.

— Пришлось привести к вам еще одного постояльца.— Грогор от своей свечи зажег ту, что была на туалетном столике.— Заблудился в подземке, только что вышел. А в других номерах полная тьма.

Здоровенная черно-белая собачица протиснулась между ногами вошедших и принялась обнюхивать колени Леха. Голова у нее была больше, чем у человека. Обнюхав, она подняла на Леха внимательный, испытующий взгляд. Лех окаменел.

— Она ничего,— сказал бакенбардист.— Кусает только на охраняемой территории... Ложись, Джина!.. Вы не возражаете против вторжения?

Собака несколько раз покрутилась на ковре за своим хвостом, улеглась, положив голову на лапы.

— Пожалуйста,— Лех сам слышал, как дрожит его голос.

Смотритель не уходил.

— Простите. Можно вас на минутку?

— Меня? — Лех поднялся. Собака тоже встала.— Сейчас оденусь.

— Да не надо. В коридоре никого нет.

Лех вышел в трусиках. Собака сунулась было за ним, бакенбардист оттащил ее.

Грогор отвел Леха в сторону от двери.

— Извините меня еще раз. Скажите, она замужем?

— Кто? Нюль?

— Да.

— Не знаю. По-моему, нет... Впрочем, совершенно не представляю себе. Ничего не могу сказать.

— А она вам про меня ничего не говорила?

— Мы о вас вообще не разговаривали.

— Вы к ней не заходили вот сейчас, вечером?

— Нет.

— И она к вам?

— Тоже не заходила. Думаю, что спит уже давно.

— Хорошая девушка... А где она работает?

— В городке. Какая-то у них там организация.

Грогор ударил себя кулаком по лбу.

— Черт!.. Как вы думаете, может быть, мне все это бросить?

— М-м-м... Понимаете... М-м-м...

— Ладно. Спасибо за совет. Возможно, я так и сделаю.

Когда Лех вошел в номер, мужчина с бакенбардами уже сидел на постели раздетый.

— Меня зовут Тутот. Я из Надзора.

— Лех... То есть Сетера Кисч.

— Где вы работаете?

— ИТД,— сказал Лех, ужасаясь собственной глупости. Но ничего другого не пришло ему в голову,— ИТД — ИТП, инспекция.

Однако мужчина с бакенбардами только вздохнул, укладываясь.

— Где только люди не состоят. У меня есть знакомый, так на вопрос, где служит, он отвечает, что олух. Seriously. Потому что это какая-то Объединенная Лаборатория Углубленных Характеристик... Вы как сюда добрались?

— Вертолетом.

— Мне тоже придется вызвать по радио вертолет. Другая возможность как будто отсутствует. Хотите, подвезу вас завтра? Правда, только до городка.

— Спасибо. Но я приехал не один. И дела еще.

— Курите?

— Нет... Вернее, да.

Они закурили. Тутот вытянулся на постели, уставившись в потолок.

— Вымотался до конца. Гнали за нарушителями, попал в подземную технологию. И там погас свет. Представляете себе, оказался в полном мраке. Если б Джина

не вывела на магнитную дорогу, не знаю чем кончилось бы. У нас в прошлом году двое заблудились — не здесь, а западнее, с бетонного шоссе. До сих пор никаких следов... Не бывали на магнитной?

— Да... Вернее нет.

Мужчина с бакенбардами внимательно посмотрел на Леха.

— А с кем вы тут?

— Один наш сотрудник. Он женщина.

— Молодой? То есть, молодая?

— Не старше пятидесяти. Вернее, двадцати,— Лех почувствовал, что запутался.— Простите, давайте спать.

Лег и отвернулся к стене. Сердце стучало, ему казалось, на всю комнату. Слышно было, как Тутот возится на кровати, умывается, гасит свечу, опять крутится. Наконец, сотрудник Надзора затих. Лех отсчитал примерно час и, стараясь не производить ни малейшего шума, сел на постели. Натянул подаренные Грогором штаны, ногой нашел один ботинок. У него был план разбудить Ниоль и сразу же ночью уходить в пустыню. Мозг кипел злобой на зрителя — нашел кого подселить в номер, меланхолик несчастный.

Он нагнулся за вторым ботинком, щека ткнулась во что-то мокрое. Поднял руку, нащупал в темноте огромную шерстистую голову и понял, что мокрое было собачьим носом.

В тот же момент вспыхнул огонек зажигалки и передвинулся. Зажглась свеча.

Собачища стояла рядом с Лехом, а Тутот сидел на своей кровати напротив.

— Не спится? — сочувственно сказал сотрудник Надзора.— Мне тоже. Когда устанешь, это всегда. Впрочем, у меня вообще бессонница.

Он встал и прошелся по комнате. От двери к окну ему приходилось спускаться, от окна — шагать вверх.

— Знаете, чем я занимаюсь по ночам, когда вот так вне дома? Злюсь. Лежу с открытыми глазами и произношу нескончаемые внутренние монологи. Ругаюсь мысленно с начальниками, мысленно спасаю тех, за кем гонюсь в светлое время суток... Собственно, я ночной опровергаю себя дневного — вам незнакома такая ситуация? Кстати, может быть, вы не знаете, но наша служба может преследовать нарушителей только в пределах

юрисдикции фирмы. На любой другой территории действует презумпция невиновности, или принцип «не пойман — не вор». Даже если бы я, допустим, встретил сейчас нарушителя, которого узнал бы в лицо, — мужчина с бакенбардами остановился, воззрившись на Леха, — всякая попытка с моей стороны схватить его исключена. Но это совершенно между прочим...

Он опять стал прохаживаться взад-вперед. Собака села на ковер рядом с Лехом, привалившись к его ноге тяжелым крепким телом.

— Да, ночь... Интересное время. Вы заметили, что именно ночью люди пытаются осмысливать свою дневную работу и вообще этот мир, в котором мы живем. Днем-то ведь всегда некогда. Но понять нашу действительность невозможно. Знаете, отчего?.. Оттого, что она не представляет собой связного и гармонического целого. Потому что девяносто процентов следствий есть результат всего десяти процентов причин. На мир не влияет то, что делаем, думаем мы, вы или я, живущие в многоквартирном доме. Существенны лишь решения, что принимаются в особняках за стальными стенами. Но там-то все происходит тайно, а мы встречаемся с явностями, которые еще офальшивлены коммерческой рекламой, личными интересами всяких тузов, их борьбой. Вы не согласны? — Сотрудник Надзора перевел дух. — Одним словом действительность безрадостна, непостижима, и что касается меня, единственное утешение — иконы.

Тутот подошел к Леху.

— Вы никогда не увлекались иконами?

— Иконами?..

— Да. У меня дома превосходная коллекция — не самих икон, естественно, поскольку они невообразимо дороги, а репродукций. Кроме того, я владею двумя оригиналами. Во-первых, это «Архангел Гавриил» исполнения тысяча девятьсот тридцатого или даже двадцать девятого года. Ввиду исключительной ценности «Гавриила» я постоянно ношу его с собой. Вот посмотрите.

Нагнувшись к комбинезону, лежащему на спинке кровати, мужчина с бакенбардами достал из внутреннего кармана коричневый футлярчик, раскрыл, бережно вынул оттуда неровную с шероховатыми краями пластиночку. Положил на стол под свечой.

— Не правда ли, чудо? Можно смотреть бесконечно.

Краски несколько потемнели, пожухли, пропорции лица не соблюдены, и тем не менее вещь живет внутренней сокровенной жизнью. Взгляните, как закомпанованы здесь темно-зеленый, почти медный цвет хламиды вот с этой красной накидкой и золотым фоном.

На темной поверхности пластинки не было видно решительно ничего.

Тутот снова заходил.

— Вообще признаюсь не без гордости, что среди специалистов меня считают не последним в этой области.

Лех взялся руками за голову. На миг ему показалось, что пол и потолок поменялись местами, и сотрудник Надзора ходит наверху, как муха. И без того было уже слишком много всякого. Он отпихнул собаку, как был в брюках и одном ботинке, упал на постель. Поставил звоночек часов на четыре тридцать и закрыл глаза.

Небо за окном было уже зеленовато-перламутровым, когда он проснулся. Сотрудник Надзора лежал на спине, раскинув руки, громко похрапывая. В утреннем свете его усталое лицо с резкими чертами выглядело куда старше, чем ночью. Деревянную иконку он так и оставил возле потушенной свечи.

Лех вымылся и оделся. Собака ни на секунду не спускала с него пристального спрашивающего взгляда. Лех взял иконку, посмотрел и положил на прежнее место. Решительно ничего нельзя было на ней увидеть, лишь неровность темной поверхности намекала на какое-то изображение.

Вышел в коридор, и собака вышла, протиснувшись в дверь, которую он начал было закрывать. Лех почесал в затылке, вернулся в номер (она тоже вернулась) и попытался выскочить проворно. Но едва он приоткрыл дверь, собачья голова оказалась в щели, оттесняя его самого.

Надо было что-то решать. Он потряс мужчину с бакенбардами за плечо.

— Эй, послушайте!..

Сотрудник Надзора перестал храпеть.

Лех потряс сильнее.

— Послушайте, ваша собака...

Тутот сел, не открывая глаз, точным движением, без примерки взял икону со стола, уложил свое сокровище в футлярчик, так же, не промахнувшись, сунул футляр в карман комбинезона. Все у него получалось, будто не

первый раз здесь ночует и раскладывает имущество, а тысячный. Он пробормотал что-то во сне, накрыл голову углом сбившейся простыни.

Собака стояла рядом с Лехом, рослая, широкогрудая. Половина морды была у нее черной, половина белой.

— Тебе чего надо?

Собака вильнула хвостом. Длинные шерстинки свешивались с него, как парус.

— Черт с тобой. Хочешь идти, пошли.

Нюль в своем номере примеряла перед зеркалом соломennую шляпку. Увидев собаку, она расширила глаза. Лех рассказал о событиях ночи, и девушка кивнула.

— Точно. Забыла вас вчера предупредить, чтобы вы уже не опасались. Грогор эту механику знает, поэтому привел человека к вам.— Она нагнулась к собаке.— Как ее звать?

— Дина... Джина.

— Поди ко мне, Джина.

Собака посмотрела на Леха, как бы спрашивая разрешения, перевела взгляд на Нюль и вильнула хвостом.

Снаружи было прохладно, даже холодно, когда они ступили на каменистую тропинку, ведущую через сад зрителя. Грогора не было видно, да и вообще казалось, что весь отель опустел.

Что-то изменилось на участке с вечера. Лех не мог сообразить, что именно. Они миновали пшерузное поле. Лех увидел поверженную трубу и понял, чего не хватало. Грогор разрушил свое энергетическое хозяйство, перерубив тяжи, удерживавшие трубу. Система тросов лежала спутанным клубком, и топор валялся тут же.

Зелень осталась позади, с вершины холма перед ними открылся взвезмной пейзаж. Безжизненные асфальтовые такыры, песчаные кратеры, бетонные каньоны — все было залито багровым мрачным светом восхода. Ржавеющие строительные краны высились там и здесь неподвижным черным силуэтом, как деревья чужой планеты. С ближайшего снялась птица, вяло махая крыльями, полетела к востоку, туда, где еще сохранились леса и степь.

Но солнце быстро всходило. Через минуту после того как открылся его сияющий шар, небо стало голубеть, пустыня на глазах теряла угрюмый вид, окрашивалась в желтые и бурые оттенки на освещенных местах, синие — в тени. Сразу сделалось заметно теплее.

— Может, нам воды все-таки запасти,— сказал Лех.— Только вот взять во что?

Но Ниоль была против.

— Неохота задерживаться. По-моему, тут должны быть колодцы, то есть выходы водопроводных труб. Скорее всего, те дикие племена и кочуют от одного источника к другому.

Они бодро зашагали. Тропинка поворачивала влево. Лех остановился.

— Лучше нам по дорожкам. Если просто так, еще заплутаемся. Даже носороги в заповеднике, я читал, ходят по тропинкам.

— Не стоит. Напрямик быстрее доберемся. Мне, кстати, вечером надо быть на работе.

Полдень застал их среди необозримых завалов щебенки, обессиленными. Лех, Ниоль и Джина оставили за собой километров двадцать. Дважды они попадали на отрезки засыпанной песком, затянутой глиной дороги — то ли предполагавшейся автострады, то ли улицы, последний отрезок подвинул их разом километров на восемь.

Однообразие окружающего лишь изредка прерывалось трупом могучего бульдозера — полузасыпанного, погибшего как раз в тот момент, когда он взялся толкать перед собой кучу битого камня, — бесформенной бетонной глыбой, безжизненным окостеневшим телом маленького компрессора. Было очень жарко, контуры предметов подергивались, омываемые струящимся вверх горячим воздухом.

— Не могу больше, — хрипло сказала Ниоль. — Давайте отдохнем.

Она присела на кожух компрессора и тотчас вскочила.

— Дьявольщина! Как сковородка. Вы уверены, что правильно поддерживаем направление?

— Надеюсь. Все время на солнце.

Девушка задумалась, потом подняла на Леих тревожные глаза.

— Слушайте, но ведь солнце тоже движется. Оно на востоке только восходит, а к двенадцати должно быть на юге. Как это нам раньше в голову не пришло?

Лех ошеломленно глянул вверх и по сторонам.

— Да, пожалуй. Выходит, что мы все время поворачиваем. Идем дугой. Поэтому и городка не видно.

— Конечно. А если так и следовать за солнцем, к ночи вернулись бы в отель. Значит, теперь нам идти надо так, чтобы солнце было на правом плече.

Лех, расстроенный, кивнул. Сгустившаяся кровь громко билась у него в висках, он боялся, что потеряет сознание.

— Еще как-то по азимуту определяют направление. По-моему, азимут — это угол между чем-то и чем-то.

Нюль усмехнулась.

— Я тоже всегда так думала... Вы не сердитесь, что мы не взяли воды? Это из-за меня.

— Нет, что вы!

— И если мы тут пропадем, все равно не будете сердиться? Похоже, что тут можно пропасть.

— Конечно, не буду.

Собака, коротко и часто дышавшая, села рядом с Лехом. В шерстяной шубе ей было тяжелее всех. Влажный язык она вывалила чуть ли не на полметра сквозь белые зубы — Лех никогда не думал, что у собак такой длинный язык. Едва только он заговаривал, собака принималась неотрывно глядеть ему в глаза. Как будто ей всего чуть-чуть не доставало преодолеть рубеж, после которого человеческая речь станет для нее совсем понятной.

Сверху послышался отдаленный гул. Голубой самолетик, почти невидный в чаше неба, уходил к югу. Нелепым казалось, что пассажиры сидят там благополучные, в комфорте, совсем и не подозревая, что двое затерявшихся в пустыне провожают их завистливым взглядом.

Нюль вздохнула и посмотрела на собаку.

— Идея! Знаете что, пусть она ищет. Может быть, учует воду. Ищи! А ну ищи, Джина!

Собака заметалась, поскуливая.

— Ищи воду!

Собака замерла, потом галопом бросилась прочь. Парусный хвост мелькнул несколько раз, уменьшаясь, и исчез за холмами. Прошла минута, другая. Жара становилась окончательно невыносимой. Вдали раздался лай, начал приближаться.

Собака вымахнула на пригорок, остановилась. Лех и Нюль заторопились за ней. Она спустилась в небольшую долинку. Здесь на песчаной проплешине был вмят отчетливый, недавний отпечаток сапога.

Человеческий след!

Они пошли за собакой вдоль долины. Путь преградила огромная заваль пустых консервных банок. Было страшной мукой идти по ним: при каждом шаге нога проваливалась, банки с грохотом выскакивали из-под ступни, ржавчина столбом поднималась, повисала в неподвижном воздухе. Лех и Ниоль несколько раз сваливались поодиночке, потом взялись за руки. Собака прыгала впереди, опустив нос, принюхиваясь.

Банки кончились, началась заваль пластмассовых пакетов из-под молока. Упругие, они тоже выскакивали из-под ног, но здесь хоть падать было мягче. Теперь Лех и девушка двигались в теснине среди неоконченных строений, пробирались как бы по улице, затопленной пакетами.

Силы быстро покидали обоих, они остановились отдыхать.

— Эй!

Ниоль и Лех обернулись.

На кигоновой стене стоял человек в ярко-зеленом комбинезоне.

Через полчаса, напоенные, накормленные, они блаженно возлежали на брезентовом ковре в палатке начальника экспедиции. То была группа, разыскивающая подземную магнитную дорогу. Узнав о том, что туда можно проникнуть рядом с отелем, зеленый начальник отдал своим приказ свертывать лагерь, а сам, обрадованный, словоохотливый, подливал гостям в стакан сельтерскую из морозильника.

— Пейте, пейте. Угостить путника — закон пустыни. Для нас счастье, что вы встретились. Четвертую неделю разыскиваем дорогу — правительственное задание. В каких-то блоках памяти есть, конечно, полная информация о ней, но попробуй найди блоки. Вообще так дальше продолжаться не может. Сложившаяся технология требует именно централизованного единого руководства. У нас же один в лес, другой по дрова, а третий знает, да не скажет, потому что ему невыгодно.

— Как вы ищете дорогу?

— Обыкновенно. Бурим. Думаете, легко найти? Впервые, она очень глубоко. А потом тут ведь вся почва нашлифована — трубы, кабели, всевозможные склады, резервуары. Сам черт ногу сломит. Приборы не берут, путаются. Буры все время приходится менять, потому, что натыкаемся на металл... Пустыня сама, кстати, мало изу-

чена. Карт нету. Собирались делать топографическую съемку, но пока дальше разговоров не пошло. Из Географического общества один путешественник взялся было исследовать Великую Баночную Заваль, которая рядом начинается. Обошел ее кругом за несколько дней, а внутрь потыкался-потыкался и отстал. По этим банкам никакой транспорт не идет. Он просил верблюдов из зоологического сада, не дали... Я, например, знаю, что на северо-западе есть озеро машинного масла и поблизости перфокартные горы. Облетел их на вертолете, но сверху-то не определишь глубину структур, особенности.

— Но здесь есть племена. Разве не могут помочь?

— Дикие — что с них проку? Оседлое племя, канон, тут недалеко, кстати. Хорошо, что вы на них не наткнулись.

— Почему?

— Берут в плен, и не вырвешься. Такая у них религия. Считают, что наступает конец света, и в последний час цивилизации все должны только наслаждаться. Там командует женщина-гипнотизер. Кто к ним попал, стараются усыпить, наркотиками накачивают.

— А чем же они тут питаются? — спросил Лех. — Я думал, что живут возле отеля, оттуда пользуются пищей.

— Ездят. Приручают машины и ездят.

— Как — приручают?

— Переделывают на ручное управление. Электровагонетку поймали — она тут ходила сама по себе, автоматизированная, по узкоколейке. Переоборудовали... Вообще жутко у них. Пляшут, завывают.

— Бр-р-р! — Ниоль передернула с деланным ужасом плечами. — А кочевые племена?

— На них никто не обижается. Это главным образом литературоведы и театральные критики. Тощие все, как проволоки. Бродят от источника к источнику. Вождь — одичавший магистр-искусствовед. Почти ничего не едят, а только спорят. Я однажды заблудился, сутки провел в стойбище. Лег усталый и до утра глаз не мог сомкнуть, потому что над головой всю ночь «трансцендентность», «антисреда», «абсолютная истина», «сенсейт», «субъект-объект», «алиенация» — обалдеешь. У них самое жестокое наказание — лишить слова. Один нашел банку консервов, съел, не поделившись. Приговорили неделю мол-

чать, завязали рот, отвязывали только, чтобы накормить. И представьте себе, умер, задушенный теми возражениями, которые у него возникали, когда другие высказывались... У них некоторые возвращаются в цивилизацию, лекции читают, статьи пишут, а потом опять в племя.. В целом они ничего. Иногда приходят в город наниматься на временную работу. Исполнительные, честные. У меня на буровой тоже один есть сейчас. Только ему поручить ничего настоящего нельзя — стараться будет, но не справится... А вообще-то людей не хватает ужасно.

Это была большая тема у начальника, он нахмурился.

— Вот смотрите, выйдем сейчас на подземную дорогу, а как мы там будем разбираться без физика-электронщика? Нам электронщик до зарезу нужен. Однако попробуй, найди для такого дела, когда они все разобраны по монополиям. У частных фирм денег больше, и они могут предложить людям лучшие условия, чем на государственной службе. Конечно, эта чертова технология сбилась и стала над нами, раз специалисты в частном секторе и работают, по существу, друг против друга...

Он прошелся в тесной палатке, задевая локтями и плечами всяческое оборудование.

— У вас электронщика знакомого нету? Добровольца — на нищенскую зарплату... А то войдем в подземку, не будем знать, с какого конца за что браться...

Буровая вышка была снята, лагерь упаковался, и начальник экспедиции вывел гостей на проторенную тропинку.

— Видите два холма? На них и держите. Сбиться никак нельзя. А поднимитесь, городок будет внизу. Тут всего километров десять: пять до холмов и столько же после. Я бы вас подкинул на лендровере, но по этой местности не проходит. Очень приятно было познакомиться.

...Розовая улица, Тенистая. На Тенистой было неожиданно оживленно. Десятка полтора молодых людей в элегантных, неуловимо схожих костюмах негромко переговаривались, сбившись в кучки. Они проводили изучающим взглядом Леха с Ниоль, оборванных, обожженных солнцем. Лех и его спутница еле волокли ноги, но на Сиреновой всем троиц пришлось чуть ли не пробиваться сквозь толпу шикарных мобилей и людей. Только у дома номер пятьдесят было посвободнее. Грузный мужчина с лицом столь выхоленным и властным, какого Лех и не видел ни-

когда, пытался что-то доказать владельцу старой шляпы и огромного рта.

— Но у меня есть пропуск.

— Ну и что?

— Допуск мы вам тоже предъявили.

— Не имеет значения. Тем более, когда у нас чрезвычайное положение...

Кто-то тронул Леха за плечо.

— Добрый день. Значит, Джина с вами?

Рядом стоял Тутот. Сотрудник Надзора извлек из кармана ошейник и намордник, с ловкостью фокусника надел их на собаку и прицепил ее, зарывавшую, на поводок.

— Рад опять повидаться с вами! Неправда ли, хорошо потолковали ночью?.. Как добирались? Я вертолетом.— Он взял Леха под руку.— Между прочим, внутри ограды садика уже юрисдикция фирмы. Сообщаю вам об этом чисто информативно. Если бы я, скажем, увидел там человека, за которым гнался вчера, мне пришлось бы приступить к исполнению обязанностей. В то же время на улице и по эту сторону ограды такому человеку ничего не грозит.

Перепадка возле калитки продолжалась.

— Но почему нам не оформили запуск, если, как вы утверждаете, это необходимо?

— Мне-то какое дело?

— Позовите вашего начальника!

Мужчина в шляпе вошел в дом и тотчас вышел с лейтенантом. Тот, засовывая в карман брошюру насчет миллиардеров, сказал на ходу:

— Вообще не о чем разговаривать, поскольку у них нет выпуска. Гони их отсюда. Они нам всю маскировку нарушают.

Тутот подал Леху визитную карточку.

— На всякий случай. Никто ведь не знает, вдруг когда-нибудь заинтересуетесь иконами... Да и в принципе хорошо, когда в городе есть еще одна точка, куда можно пойти.

Ниоль недоуменно осматривалась.

— Что-то у нас произошло. Столько народу никогда не накапливали. Давайте прощаться, Лех.

Большеротый мужчина — удивительным образом рот его тут же сделался нормальным — увидел девушку, подошел, оставив лейтенанта, заговорил шопотом:

— Слушайте, где вы пропадали? (Кивнул Леху.) Ребята устроили аварию в Машинной, выключили Силовую. (Тутот деликатно отступил, таща упирающуюся собаку.) Беги и скажи, что вы нашлись.

Ниоль повернулась к Леху.

— Выбирайтесь отсюда, подойдите к садику с той стороны. Я сейчас же буду.

Лех начал выталкиваться.

На узкой улочке было тихо. Лех оперся на деревянную ограду. Небольшой садик зарос густо, пышно: розовые кусты, клумбы с астрами, кущи ромашек. Как раз перед глазами Леха крошечный осенний паучишко готовился к полету. На гладкую поверхность темно-зеленого листа сирени прилепил несколько коротких паутинок. Они у него получались, как винты на парусном корабле. Перебежал на самый край листа, приклеил еще нить и, тут же стоя, стал ее растить в воздух. Теплый ветерок от земли поднял ее, она образовала петлю. Паучок старался, паутина струилась из него, петля росла. Паучок отгрыз тот конец, что был на листе, нить выпрямилась в воздухе, становясь все длиннее. Будущий воздухоплаватель еле держался, вцепившись в свои опоры, потом его оторвало и понесло Леху в физиономию. Он отдул крошечный и такой сложный комочек жизни.

Ниоль появилась на заднем крыльце. Уже в юбке с кофточкой и в белом переднике. В руке лейка.

Подбежала к Леху. Остановилась.

— Ну вот... Ребятам я сказала. Вам передают привет.

Лех кивнул. Они смотрели друг на друга.

— Ведь мы с вами никогда не забудемся, верно? Вообще замечательно, что мы встретились.

— Конечно.— Так приятно было смотреть на нее, ловкую, ладную. И эти синие глаза под черными бровями.

— Напишите Кисчу, вложите листок для меня. Я отвечаю... Вообще всегда будем друзьями.

Над низенькой оградой Ниоль обняла Леха. Они поцеловались, и Лех побрел на перекресток, где вчера оставил мобиль. Городок как вымер. Покойно спали заборчики, вывески парикмахера, черепичные крыши, промытые, радужно искрящиеся стекла в окошках. Бодрый старик, не признающий лекарств, издали помахал Леху рукой.

Он подошел к своей машине, положил руку на капот.

— Уф-ф...

Заполненные были два денечка, ничего не скажешь. Открыл дверцу, но сел не на шоферское место, а левее, оставив гудящие ноги снаружи на земле.

— Уф-ф-ф-ф-ф...

Окружил запах собственного мобиля: привычный табак, бензинчик, который он по старинке использовал для запуска, выцветший зонтик Роны. Все это подвинуло к дому, предвещая конец путешествия. Если не по географии, то психологически.

— О-хо-хо-хо-хо...

Закурил сигаретку. Надо было что-то решать — дома жена ждет с ответом. Поднял к груди руку, чтобы вынуть из кармана желтый листок «Уверенности», и сообразил, что тот остался в подземелье.

— Ладно.

Решение уже пришло, собственно... Сел за руль и только включил мотор, как увидел спешащих к нему через площадь Ниоль с собакой. Не в такт взлетали белый передничек и белый хвост.

Открыл дверцу, выбрался.

— Повезло, что вы еще не уехали... Такое дело, Джина не хочет спускаться под землю. Возможно, слишком напугалась. Ее тащили-тащили, ничего не вышло.

Собака вертелась вокруг Леа, поскуливая. Вдруг поднялась на задние лапы, оказавшись с него самого роста, положила передние лапы на плечи, лизнула в нос. Он отступил, наткнувшись на мобиль. Еле удержался на ногах.

— Тутот просил узнать, может быть, вы ее возьмете.

— Взять? Как — совсем?

— Да. Хорошая ведь собака.

— ?..

— !..

— Ну, пусть. Возьму.

Открыл заднее отделение. Собака, как будто у нее давно все было продумано, прямо с земли прыгнула на сиденье. Легла, заняв сиденье целиком, положила голову на лапы, подняла, поерзала большим туловищем, опять положила.

— Только потом не откажитесь. А то куда ей?.. Впрочем, вы не откажетесь.

— Нет. Хорошая собака. Жена ее полюбит. А мальчишки-то...

— Не будет вам трудно с ней в городе?

— Ничего... Нам, пожалуй, в городе мало придется. Больше в палатке.

— В палатке?..— Ниоль смотрела недоуменно, потом поняла. Шагнула вперед, прижалась своей щекой к его.— До свиданья. Теперь, может быть, до скорого. Обязательно прочтите книгу о Моцарте — там есть про Хагенауэра. Вообще она вам понравится... Да, как вам отвечать на письма? Останетесь Лехом или вернетесь к первоначальному, к Сетере Кисчу?

— Скорее всего вернусь. Если уж возвращаться, так ко всему.

...Ресторан в столетнем почти что особнячке, древняя пороховая пушка за чугунной оградой, качающиеся булыжники центральной площади, редакция листка «Патриот».

Открылся полевой простор, Сетера Кисча переключил на четвертую, мобиль быстрее пошел нырять и переваливаться по выбоинам бетонки.

Опускающееся солнце стояло прямо над шоссе. Кисч ехал на него. Позолотились с одного края колосья пшеницы, стволы и кроны деревьев, подпорки изгородей. Медленно в теплом воздухе опускалась пыль, поднятая усталым шаркающим шагом прохожего. Запах клевера веял с лугов.

Все-таки пока еще неплохо на Земле.

Неторопливо проплыл навстречу плакат на двух столбах. Последовательность рекламных надписей с этой стороны была другой.

А ВАМ НЕ СТЫДНО?

Это насчет дурного настроения. А у него сейчас какое? Он почувствовал, что дрожь продернулась по спине, а где-то в самой глубине сознания возник победный светлый ритм и рвется наружу.

Неопределенное настроение. Но дело не в этом. Дело в том, что вчера оно не однажды было плохим до отчаянности. Однако ведь он на привязи, фирма гарантировала, что такого не может быть.

Вот не может, а было! Неужели он совсем избавился от контроля машины?

Похоже, что избавился, хотя электроды так и сидят,

как сидели... Взять хотя бы вчерашний день. Разве не радостно, что ему стало по-настоящему тяжело, когда увидел Леха двухголым? Разве это плохо, что ему стало дурно в коридоре? Ведь прежде-то такого вообще не было — сразу после операции он и размышлять совсем не мог из-за этих стимсиверов. Чуть начнет раскидывать мозгами, нахмурится, тотчас сигнал туда — обратно, накатывает простодушное наслаждение бытием, но только с металлическим привкусом во рту. Хочется бегать и прыгать. Случалось, они с Роной прочтут биржевый бюллетень, расстроятся, а через минуту улыбки друг другу, все забыто, и взбрыкивают, словно молодые телята. Но в последние годы уже не так. И он и жена стали больше себе принадлежать — волноваться могут и беспокоиться. А вчера в технологических джунглях никакая насильственная радость ему не мешала. Был полностью самовластным человеком — понимал, что может погибнуть, и искал выхода.

Но почему все переменялось? Откуда взялась у мозга способность бороться с тем, что навязывает машина? Приходится думать, что мозг сумел-таки сохранить, сберечь себя. Мобилизовал, небось, всю невообразимую миллионом веков выработанную сложность против монотонного электрического сигнала, создал такие структуры, что позволяют ему обойти влияние компьютера. И побеждает... Впрочем, это естественно. В конце концов не машина мозг придумала, а он ее.

Однако если так, то замечательно. Тогда выходит, что привязь не такая уж крепкая.

Вместе с тем вот вопрос — зачем оно мозгу? Ведь, казалось бы, веселей веселиться, не переставая, радостней радоваться... Возможно, что мозг отстаивает право на самостоятельность, потому что он творение общества и в качестве такового радеет не только за данную личность, а за всех людей. С точки зрения отдельного человека, чего уж лучше — лежи на боку и блаженствуй. Но с точки зрения Ното — Sapientis... Возможно, что разум сегодняшнего человека — не отдельная секция, лишь этим днем и этим местом обусловленная, а сфера, куда вошли опыт и чаяния разных стран и сотен столетий. Как-никак, у большинства современников есть представление о подлинной человечности. Не всегда удается поступать, как идеал диктует, но он здесь.

Вот Ниоль, например, помнит о Хагенауэре. Тот в своем заштатном Зальцбурге и думать не думал, а не пропало доброе, переходит из века в век.

Но если оно так, тогда рембрандты, моцарты, пушкины не зря бодрствовали ночами, бескорыстно добиваясь совершенства, иступленно замазывая, перечеркивая, чтобы приняться снова. И те, которые сами в себя чуму из пробирки, грудью на амбразуру, тоже живут! Ничего не пропало, и понятно теперь, в чем их непреходящая заслуга, этих донкихотов...

Мелькнул рекламный щит.

МЕЛАНХОЛИЯ сегодня такая же БОЛЬ

Да бросьте вы к черту! Только неудовлетворенность и двигает. А то сидели бы в пещерах.

Возле будочки железнодорожного переезда черная кошка облизывалась на скамье. Что-то завозилось за спиной Кисча, собака вдруг гавкнула над ухом гулко, как бухнула в бочку. Он даже отдернулся. Надо же, никогда не видела, наверное, кошки, а все равно понимает обязанность!

Мобиль влег теперь в другой темп, он мчался длинными, на десятки километров отрезками, на ходу переводя дыхание и пускаясь в новый кусок равномерного движения.

Кисч откинулся на спинку сиденья, лишь слегка придерживая руль. Много еще надо было продумать. Возьмет ли зеленый начальник экспедиции такого отставшего электронщика? Взять-то возьмет — и его, и Рону, но это будет от безвыходности, оттого что людей у него нет. А позже Кисч докажет ему, что кое в чем может разобраться. В институте его ведь не зря считали способным. Только потом он потерял ко всему этому интерес, когда убедился, что технология не для людей стала, а сама для себя...

Небо становилось мутнее, маирисовые поля уступили место кирпичным пустырям, бетонным площадкам. Автомобиль неся мимо всего этого, а может быть, все это неслось мимо него, застывшего, терло шуршащие колеса, заставляя их бешенно вращаться. Что есть силы назад

убегали груды маслянистой щебенки, барабан от кабеля, кучи оранжевого песка.

— Стоп! Да ведь это пустыня!

Кисч притормозил вселенную, подогнав ее обочиной дороги под днище мобиля. Вылез из шоферской кабины, подождал, пока в глазах успокоится торопящийся по инерции мир.

Выскочившая за ним собака бурно встряхивалась всем телом.

Действительно пустыня. И косая башня крохотной черточкой задралась на линии горизонта.

Десять шагов от бетонной ленты, еще десять... Как обыденно и безопасно здесь, если знаешь, что за спиной шоссе.

Метрах в пятидесяти поодаль открытая дверь зияла чернотой в стене полузасыпанного щебенкой низкого здания.

Подошел. Покосившиеся кигоновые ступени исчезали внизу в темноте. Спустился. Желтый трепетный огонек вырвал из мрака серые плоскости стен большого помещения, люк посередине, перила металлической лестницы. Ну, правильно — здесь вся земля должна быть нашпигована технологией.

Хватит ли у него характера идти дальше с зажигалкой? Посмотрел назад. Собака наверху, стоя четким контуром, тихонько повизгивала.

— Джина! Поди ко мне... Ну, поди, не бойся.

Собака опустилась на одну ступеньку.

— Иди. Иди сюда.— Потянулся, взял ее за ошейник, огладил, повел за собой.

Возле люка она уперлась, рыча. Кисч спустился метра на три, ступил на пол. Три коридора расходились отсюда, низкие, неширокие. Правый перегораживала доска с табличкой, где звездочки между волнистых линий — международный знак повышенной радиации. В левом вдаль брезжил слабый свет. Возможно, отсюда и начали те двое бесследно пропавших, о которых говорил Тутот.

Рядом послышалось короткое частое дыхание. Собака дрожащим туловищем прижалась к колену Кисча. Он похлопал ее по большой голове.

— Привыкнешь. Мы с тобой на недели, может быть, станем вот так уходить. Набирать с собой воды, пищи, запас света. Работы много.

Наверху было неожиданно прохладно после затхлой духоты подвала. Мобиль на дороге казался совсем маленьким среди безлюдного запустенья.

— Ладно. Поехали.

Мотор зашелестел, опять побежали назад смятый кожух компрессора, кингоновые плиты, бунты проволоки, песок.

Вспыхнул на мгновение заключительный плакат серии:

между
ДУРНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
Свяжитесь же

Связаться? Пусть поищут другого.

У Кисча было впечатление, будто нарыв прорвался. Долгие годы он жил придавленный. Махинации с переменой тела, с электродами в башке были попыткой уйти от себя, сложить ответственность, были признанием слабости. А с этой «Уверенностью» он и Рона уж совсем сдались бы в плен. Но теперь ясно, что не так всесилен гигантский аппарат прибыли, у которого мощь всех машин, хитрый ум лабораторий, железная тяжкая поступь механизированных армий. Не так силен, потому что он против Человека. И оказалось, что даже безразличие Кисча было хоть и слабеньким, но протестом, свидетельством кризиса. Потому что неправ Тутот, считающий существенным лишь то, о чем договариваются в особняках. Ерунда! Существенны не решения, а реакции на них со стороны тех, кто населяет именно многоквартирный дом. Это ведь не просто так, что сотрудник Надзора по ночам становится другим человеком, да и днем предупреждает законную жертву, чтобы она не попалась ему же в руки. И не за здорово живешь магистры уходят бродяжить в пустыню. Мозг не может научиться ничему не учиться. Все оставляет след, вызывает отклик — часто совсем не тот, на какой рассчитывали за стальными стенами...

У переходки возле государственного шоссе Кисч снова остановил мобиль, перелез на заднее сиденье, потеснив собаку. Набрал программу.

Мобиль фыркнул и начал обращать пространство во время. Каждые тридцать километров — в трехминутку.

Борозды кингонового покрытия слились в сплошные линии, все, что по бокам, — в ровную серую плоскость.

Вот она, истинная Технология! Неужели отказываться от такого, разбить мир опять на замкнутые пешеходные маленькие пространства, сломать самолетам крылья, кольца магнитным поездам? Неужели перерезать волны радио, телевидения и в замолчавшем домике зажечь лучину вместо электричества? Пример Грогора показывает, что значит, положившись на одного себя, отвернуться от добытого умом и искусством людей — страшный багрово-черный круг под глазом, ладонь в костяных мозолях, невозможность годами заглянуть в книгу, омыть сердце музкой.

Стремительное движение, импульс силы и воли. Снова в душу попросился мотив, возвысился и опал волнами. Что-то полузабытое, мелодия из той поры, когда Кисч был молод, смел и уверен. Она силилась проникнуть в первый ряд сознания, звала, чтобы ее вспомнили.

Собака привстала на сиденье, глубоко вздохнула, как человек. Кисч погладил ее.

Трасса выгнулась хищной дугой, мобиль Кисча и сотни других чуть замедлили ход. Со стороны в провале вставал Мегаполис миллионом прямоугольных вершин, меж которых миллион прямоугольных пропастей, и целых полнеба сделало темным его дыхание.

Сердце стукнуло сильнее, и... оно прорвалось наконец — начало Тридцать восьмой симфонии. Полилось жемчужными, искрящимися струями. Откуда?.. Из давнего прошлого, от зеленых холмов вокруг старого Зальцбурга, его извилистых тесных улочек, изъеденных плит фонтана перед университетом. От той любви, с которой пестовал сына скромный Леопольд, от дружбы Лоренца Хагенауэра к семейству бедных музыкантов, от ревности мук и надежд самого Вольфганга Моцарта.

Но встретятся же они когда-нибудь — гений Искусства, несущий идеал, и суровый, могучий гений Техники, который лишь только и способен воплотить идеал в жизнь!

Это была только одна часть

Мы разделяем надежду героя новой повести Севера Гансовского «Часть этого мира», с которой он покидает ее страницы, пытаясь вырваться из всех мыслимых и немыслимых кругов ада, где техника давно вышла из-под контроля разума, где поезда и эскалаторы идут в никуда, а человек не только потерял право принимать решения самостоятельно, но уже и не знает толком про себя самого — он это или, строго говоря, не он...

Мы уверены, что окончательного оглушения человека из-за сверхразвития им же порожденной техники не произойдет. Что соединятся «гений Искусства и гений Техники», как их называет в последних строчках повести ее герой, которому — что греха таить — иногда просто не хватает политической грамотности.

«...Опасно не знание, а то, как хотят им распорядиться определенные лица. К сожалению, эти лица часто преуспевают в своих намерениях», — так ответил недавно известный английский химик профессор Роберт Робинсон на вопрос «Литературной газеты»: «Не может ли быстрое развитие науки привести к каким-либо отрицательным последствиям?»

Гансовский показал нам ту часть мира, в которой «эти лица» весьма и весьма «преуспели в своих намерениях». Но даже там ни Машинная, ни Силовая, ни Надзор, ни Внутренняя стража, ни электроды в голове, никакое самое изощренное насилие не смогли уничтожить в людях чувства справедливости и стремления к свободе.

Но есть и еще одно фундаментальное основание для оптимистического взгляда на развитие цивилизации. Человечество знает, что в реальном мире существует и другая его часть, и в ней идеалы разума и могучая техника не расстаются: они шествуют рука об руку. В этой — нашей части мира революция научно-техническая и революция социальная неразделимы.

Наверное, говорить о научно-технической революции, не включая в это понятие такую важнейшую для человечества область знания, как научный коммунизм, неправильно вообще.

Валентин Рич

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

НОГИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ ЧЕЛОВЕК

Традиция есть традиция, и вот уже сто, сто пятьдесят, двести лет начало занятий в Уэльском колледже отмечается с широкой помпой. Лучшие выпускники колледжа, вырвавшиеся ныне, ну, конечно же, на самые высокие посты в корпорациях, перетряхивают гардероб, извлекают одинаковые фраки, чистят цилиндры и слетаются в гнездо, из которого некогда выпорхнули, и не желторотыми птенцами, а мощными птицами, готовыми к самостоятельному и хищному полету.

Заведение принимало их из семей шестилетними сосунками и четырнадцать лет минута за минутой вонзало в их сознание технологию, на которой покоится современный мир. Музыка, изящное слово и прочие размагничивающие (маразмагничивающие! — шутили воспитанники) сентиментальные излишества начисто изгонялись из программы, ничто не мешало превращению младенца в классного знатока производства, мужественного руководителя с каменным сердцем и несокрушимой волей.

Согласно древнему ритуалу изюминкой торжественного утренника всегда оказывалась некая знаменитость, прогремевшая не в технике, а, так сказать, на стороне. Строй вытянувшихся воспитанников в возрасте от шести до двадцати, коим посчастливилось пробиться в великий колледж, а следовательно, присутствовать на замечательном празднике, проглатывал речь знаменитости, каждый

раз спланированную так, чтобы идея первостепенности железных наук прошивала ее насквозь, и подтверждала опять же со стороны высказывания прочих ораторов.

Седые стены колледжа выдавали мудрые улыбки президентов, обаятельных ребят; трясли здесь кулаками с детскую голову короли ринга, жеманничали звезды экрана, осенялись крестным знаменем святые угодники — по одному в сезон, да сезонов-то сколько ухнуло со дня открытия заведения! Но нынешняя администрация, пожалуй, переплюнула все прежние. Боб Сильвер — вот кого удалось оторвать от писания мемуаров, чтобы попотчевать собравшихся.

Когда-то это имя наводило ужас на полицейских Штатов, от Севера до Юга. Не существовало преступления, которого бы не совершил неуловимый Сильвер, всегда с блеском. Теперь постарел, отсидел сроки, кой от каких грешков откупился — музейный экспонат! Но мемуары, которые он за бешеные гонорары швырял на стол издателей, законно считались бестселлерами.

Понятно, что когда грузная фигура Боба выплыла из дверей на сияющий паркет зала, взгляды сфокусировались на этой импозантной фигуре.

Выкатившись на середину, он цепким взглядом из-под насупленных бровей оценил стоимость слушателей и, видимо, остался доволен.

— Ну, джентльмены, — прохрипел он, — вы собрались тут послушать старика. Время терять не люблю. Выступить у вас, слышал я, немалая честь. Не так ли, джентльмены?

Все молчали, подтверждая, что говорить перед ними и впрямь честь немалая.

— Так вот, сынки. Правильную дорогу вы нашли. Нет нынче в жизни ходу, коли техникой брезгуешь. Видите, левой ноги нет? — Старик ляпнул ладонью по культе и хитро огляделся, проверяя, нет ли чужих и можно ли выкладывать все начистоту.

— А ведь была, сатаной клянусь, была когда-то левая нога, и не приведи господь встретиться тогда со мной хоть самому президенту, коли Боб Сильвер вставал не с той ноги. А вот нету! — Старик еще раз шаркнул по культе мясистой пятерней.

— А почему? То-то и оно, детки. Из рук вон плохо налегал старина Боб на арифметику, алгебру, химию, когда

в мальчиках ходил. Отлынивал. Бизнес да бизнес. Презирал на свою голову точные науки. Оттого ноги и не унес...

Годков, значит, сорок назад совершил кто-то кровавое преступление века. Отрезание голов, увод дюжины сейфов с бриллиантами, повальное избиение полицейских, в общем, все как надо. Ну, автор кто? Натурально, Боб Сильвер, кому еще. Один, как всегда один.

Старик сладко усмехнулся, вытер губы ладонью, будто пирожное проглотил. Аудитория же, окаменевшая после первого упоминания о точных науках, пожирала удивительного докладчика глазами.

— Натурально, погоня, мотоциклы, джипы, вертолеты, телевизионная облава со спутников. Всегда уж так. Но тут, гляжу, дело труба. Полиции, видно, меньше положенного отвалил. Хоть провались, из-под земли достанут.

— Ну,— думаю,— из-под земли-то, факт, достанете. А вот если наоборот, из космоса, то есть? Руки коротки, джентльмены, Боба Сильвера из космоса выволочь! Руки прочь, джентльмены!

И шурую на своей тачанке прямо на космодром. Врываюсь на газе, время ночное, никого. А корабли великоваты, без команды не поднять. Глядь, совсем маленькая ракета торчит, атомный паровичок, что надо. Читаю: «Лунный одноместный пакетбот». И в звезды рылом уставился.

Чую только, корабль не наш, европейский, отделка не вышла. Надписи на двух языках, а вес в килограммах, не как у людей. И сказано: чтоб вес пилота не превышал столько-то килограммов, а превысит хоть на килограмм, пеняй на себя, до Луны не дотянешь, и станет пакетботишко спутником планеты, на которой вашему покорному слуге распахнуты все тюрьмы мира. Вот так.

Я, значит, мигом пересчитал с килограммов на фунты, как у нас привыкли, мать честная, быть мне спутником! Фунтов на тридцать во мне больше нормы, хоть ни грамма жира.

Проклял я тогда мир, где все на мелюзгу рассчитано. Задумался. А кругом джипы уже ревут. Обложили и сейчас будут тут за пушки хвататься, права качать. Ну, думаю, нет.

Хватаю пилу, р-раз, и в пределах точности одного килограмма режу ногу. Р-раз, и тридцать фунтов долой.

Подклеился наспех, ногу на бетон швырнул, получайте, законники, линчуйте часть гражданина Сильвера, привет!

Броневички, значит, к моему паровичку подкатили, тут дернул я указанную ручку, дал атомного жара из-под днища всеми двигателями, так броневички, как воск, и потекли. Взвился! Ну, на перегрузках сознание малость зашлось, а потом все же очухался. Глянул в иллюминатор, Земля махонькая, чистенькая, весело блестит. Хорошо!

Тут в кабине щелкнуло, и голос говорит на двух языках, на неизвестном и по-нашему.

— Расчетный вес пилота занижен. Ускорение старта превысило расчетное, корабль отклонился и идет в сторону от Луны.

— Занижен! — Я аж подскочил. Кинулся к табличкам, считаю с килограммов на фунты, и так и эдак. И тут впервые в жизни зарыдал Боб Сильвер. Зря ногу оторвал от себя. Точка в точку вписывался Боб с ногами, руками, головой и прочим барахлом. Голову надо было отрывать. Пустая голова, не смогла килограммы в фунты перевести. Папаша мало порол, мучайся теперь с одной ногой...

Погрузившийся в острые воспоминания, старик побагровел, насупился, глаза его метали молнии из-под клочковатых, седых бровей. В зале кто-то приглушенно всхлипывал, кто-то сморкался в платок, у малышей-слезы стояли в глазах. Лица директорского состава выражали скорбь и почтительность, точно директорат нес караул у национального флага.

— Вот, сынки, арифметика-то, — продолжал старый разбойник, когда в зале установилась тишина. — К Луне я кое-как подрулил, сел в кратерах. А ноги-то нет!

Все зашевелились, принимая свободные позы. Речь была закончена. Попечитель колледжа, стуча каблуками по плитам шлифованного старомодного паркета, направился к Бобу со знаками благодарности, однако произвести их было не суждено. С левого фланга, из колонны бойскаутов пискнул голос младшего воспитанника, новобранца.

— Дядя Боб, а дядя Боб. Я понял, почему у тебя левой ноги нет. Скажи теперь, куда правая-то девалась. Ее-то как потерял?

Попечитель от такой бестактности только крикнул и замер с протянутой рукой, и все замерли. Действительно,

Боб Сильвер был не просто одноног, он был безног вообще. Но не мог же он останавливаться на всех своих порчах и недостатках.

— Ну, джентльмены,— недовольно прохрипел старик,— математика тут ни при чем. История совсем для другого учебного заведения. Но если угодно, джентльмены, то в двух словах так...

Он вопросительно посмотрел на застывшего попечителя.

— Правую я потерял, потому что сызмальства грешил против литературы, музыки, истории. Презирал слюнявую гуманитарку. Вот правую и потерял. Длинная это история. Говорю же, мало меня напаша порол!

И ловко нырнув под кресло с колесиками, старик Боб выхватил из-под днища протезы, снятые для вящей убедительности, мгновенно привинтил их, и бодро направился к распахнутым дверям, слегка раскачиваясь на ходу, несгибаемый пират Боб Сильвер.



ЗНАКОМЬТЕСЬ — ДЕБЮТАНТЫ

В. ДЕМИН

ТРИНАДЦАТЫЙ ОПЫТ

Я согласился просто так, невсерьез, чтобы только они отвязались. Но в назначенный день и час меня подвели к специальному креслу, вроде врачебного, только гораздо массивнее и страшнее. Оно все было оплетено проводами, а сверху на лоб надвигался колпак, и металлические браслеты охватывали руки и ноги в двадцати различных местах. Браслеты были холодные, да и вообще здесь было не жарко, или, может быть, с непривычки меня пробирал озноб.

— Все равно ничего не получится, — сказал я, чтобы позлить их.

Шрамов усмехнулся и потрепал меня по плечу. Он, видимо, понимал мое состояние.

— Отсутствие результата — уже результат, — сказал он успокаивающе. — Тем более, что мы сами не представляем себе хорошенько наши требования к испытуемым. Восемь ваших предшественников... Они заставили нас понять, что одни люди подходят нам больше, другие меньше. Но почему, в связи с чем? Все это мы представляем себе весьма туманно.

— И вы надеетесь, что у меня есть эта самая предрасположенность?

— Только не предрасположенность, — резко бросил Листовский. — Ненавижу это слово. К нам оно не имеет никакого отношения. Мы, знаете ли, не гипнотизеры. То, чем мы занимаемся, не имеет никакого отношения к психологии или имеет весьма косвенное... Говорите об особом рода способности, о нужном нам состоянии конституции человека, говорите о таинственном иксе, наконец. Но предрасположенность — ни в коем случае.

— Мой юный друг, как всегда, горячится, — продолжал обходительный Шрамов. — Дело ведь не в слове, дело в явлении. Представьте себе, дорогой мой Василий Павлович, что тоненьким, очень длинным шилом вы стараетесь проделать дырку в некоем ящике, о котором вы абсолютно ничего не знаете — ни размеров его, ни материала, из которого он сделан, ни тем более его содержания. Вы увидите — кое-чего мы все-таки достигли, но действуя скорее как знахари, колдуны, шаманы, нежели как уверенные в себе ученые, подводящие под каждый свой шаг солидные математические выкладки. Вот почему, когда я услышал, что совсем рядом, буквально в двух шагах, в соседнем корпусе нашего разлюбленного института существует человек ваших наклонностей... Ваши увлечения, все эти коллекции, гербарии...

— Гербарии? — переспросил я. — Тут какая-то ошибка. Никаких гербариев у меня нет.

Я видел, как они переглянулись. Встречая их иногда на общеинститутских совещаниях, я немного представлял себе истинное распределение ролей в этом дуэте. Массивный, шестидесятилетний Шрамов был, так сказать, благодушным патриархом, а худой, издерганный Листовский — душой и энергией лаборатории. Как часто бывает, обходительность приносила успех там, где упрямство и напор ровно ни к чему не приводили.

— У вас — нет — гербариев? — переспросил старик,

как будто это обстоятельство казалось ему самым важным в предстоящем опыте.

— Ни единого. Я наблюдаю за бабочками, веду дневник, рисую, у меня есть цветные фотографии... Подобрались и некоторые книги, иные — очень редкие... Все, естественно, тоже о бабочках. Но вот гербариев у меня нет. И могу сказать абсолютно твердо: я не убил ни одного самого дохленького мотылька.

— Вы, надеюсь, не индуист? — чрезвычайно мягко спросил Шрамов. При этом он поощряюще улыбался: мол, ничего особенного, с кем не бывает...

— Нет, — сказал я. — Религия здесь ни при чем. Просто мое эстетическое чувство не нуждается в приправе смерти... Умертвить насекомое, наколоть его на булавку, хранить по десятку штук в пыльных коробках и потом все это называть красотой? Нет, благодарю покорно.

— Ффу, — сказал профессор, — сначала вы испугали меня, а теперь я как никогда ранее уверен, что мы на правильном пути. Любая страсть, любое душевное движение находит свою опору в телесном и, в свою очередь, оставляет на нем след.

Прямо перед моими глазами была серая стена с приборной доской чуть поодаль. За стеной, как я уже знал, помещалась комнатка, называемая оранжереей. Собственно, сама оранжерея была очень мала, размером с приемник или крупный магнитофон. Там, за стеклом, укрепленным никелированным железом, на почве, поросшей низкой травой, жили кузнечик, стрекоза, жук-носорог и несколько бабочек. Нагревательные приборы поддерживали в стеклянном ящике нужную температуру. Кроме того, к нему подводились два кабеля, которые были соединены со стеклянными стенками мелкой сетью латунных припаев.

Когда я в первый раз увидел все это, я поторопился показать свою проницательность.

— Датчики! — авторитетно сказал я.

И тут же пожалел. Листовский так и впился в меня своими трезвыми, тяжелыми глазами.

— Вы, стало быть, разбираетесь в этом?

Пришлось идти на попятный.

— Откуда! Я плановик. Моя сфера — экономика. Чуть-чуть понимаю в насекомых, больше всего в бабочках... А все генераторы-дегазаторы...

Плечистый блондин лаборант засмеялся и сказал с видом экскурсовода:

— Тут и понимать-то нечего. Мы наблюдаем особь в свободном движении, то есть в относительно свободном — в прыжке, даже в полете, насколько позволяют габариты оранжерейки. На спинку подопытному экземпляру помещается микротранзистор, чуть больше булавочной головки. А так как сигнал его по необходимости очень слаб, мы наловчились ловить его почти у самого выхода.

Тогда же я спросил, почему, собственно, объектами опыта были выбраны насекомые, а не собака, не лягушка, наконец?

— Потому, видите ли, — сказал мне с покровительственным видом лаборант, — что «легче» не всегда означает «убедительнее». У собаки, кошки, лисицы то же зрение, тот же слух, та же реакция осязания, обоняния, что и у нас. Грубо, конечно. А у кузнечика уши в ногах. Можете себе представить, как слышат такие уши?

— Понятно, — сказал я. — Вопросов больше нет.

Но Листовский всегда хотел, чтобы за ним оставалось последнее слово.

— Может быть, вас интересует, почему мы отобрали именно эти экземпляры насекомых, а не какие-нибудь другие? — спросил он. — Это тоже довольно просто. Проконсультируйтесь у многоуважаемого профессора, он вам пояснит: из человеколюбия. Да, да, как ни странно это звучит. В науке тоже есть свои суеверия. Считается почему-то, что почувствовать себя бабочкой — хорошо, морально, нравственно, а почувствовать себя шмелем или, например, дождевым червем — неморально, безнравственно, страшно.

— Не вижу принципиальной разницы, — сказал я.

— Вы решились бы почувствовать себя пауком? — спросил меня профессор, кажется, задетый за живое. — Пауком, сосущим кровь у мухи?

— Почему бы и нет? — Я пожал плечами.

— Перестаньте! Это даже представить страшно. Нет, давайте начнем с нуля, с азов, чтобы потом, потихоньку-полегоньку, добраться и до этих аттракционов мужества...

И вот меня усадили в массивное кресло, накрыли ковриком, обвесили браслетами и перепеленали ремнями.

— Для первого раза — всего только мелочь, прикидка, — ворковал Шрамов. — Режим, можно сказать, про-

стейший. Сейчас там, в оранжерее, задернут шторы, понизят температуру. Для бабочки «глория рексус» наступит ночь, как, впрочем, и для ее соседей. Глубокая пауза — это для нас возможность акклиматизироваться, притереться, отрегулировать поток информации, упорядочить его в соответствии с вашим самочувствием. Затем, в самый удобный для нас момент, будет включен точечный источник света, всего в полуметре от стеклянной стенки. Как только «глория рексус», устремившись к огню, сорвется с места, опыт будет прерван. Мы ни разу не довели его до мгновения толчка о стекло, потому что при нашем малом знании не можем гарантировать последствия... Итого, в общей сложности, вы пробудете бабочкой (или, если хотите, пробудете в бабочке) всего около десяти — пятнадцати секунд...

Сотрудница в белом халате поднесла мне стакан с какой-то жидкостью.

— Это совершенно безвредно,— сказал Шрамов, невольно понижая голос, как будто я был больным, а он доктором.— Что-то вроде конфетки перед взлетом самолета. Некоторые наши пациенты чувствовали тошноту и головокружение. К тому же нам надо для полноты картины ослабить ваш контроль над собой. Ослабить, так сказать, выборочно, потому что память ваша не должна подвести — мы твердо на нее рассчитываем.

Но в том-то и дело, что память здесь была ненадежным помощником. Больше трех часов я докладывал в тот первый раз все, что испытал за четырнадцать секунд. Они записывали меня на магнитофон, они сопоставляли рассказанное с показаниями приборов, зафиксированными на перфокартах и лентописцах, они, как сверхпридирчивые следователи, вновь и вновь набрасывались на меня с распросами о самой пустячной, третьестепенной подробностях, и все-таки я мало, очень мало мог им объяснить. Мир, в котором мы жили, был не похож на то, что я ощутил, и точно так же наши слова не подходили для обозначения не нашей реальности. Тяжести там не было, не было верха и низа, не было цвета, точнее был один, синева-лазоревого оттенка, в котором сумрачно рисовались пятна без четкого контура, и еще был шум, как бы жужжание или шипение, доносящееся со всех сторон, а потом вдруг плавно и нежно и очень-очень медленно выплыла фиолетовая точка, далеко-далеко в стороне,

вперед, вверху, только вдруг оказалось, что это низ, страшный, неостановимый низ, бездна, падение, и оно растет, увлекает, тащит, уже не падение, а ослепительный вопль, жуткий, леденящий, безостановочный, и уже ничего, кроме вопля, когда все членики тельца сотрясаются, рвутся, готовые развалиться, отлететь друг от друга...

Так я рассказывал, растирая руки после слишком жестких перетяжек, а Листовский, едко прищурившись, попыхивал сигаретой и все стремился уточнить: какие пятна, какой цвет, что значит — вопль, уж не человеческий ли голос я слышал?

— Это даже не вопль, — сказал я. — Это что-то вроде молнии. Смерч какой-то. Таран. Который не ударяет в тебя, а тащит, увлекает куда-то, вытягивает с неожиданной, всесокрушающей силой...

— Вы что-нибудь понимаете? — иронически спросил у Шрамова Листовский. — Таран, который тащит. Вопль, который молния. Вот она, изнанка поэтической натуры. «Что-то», «куда-то», «какой-то»... Какой? Куда?

— Не попробовать ли вам самому? — грубовато предложил я. Он крепко начинал мне действовать на нервы.

— Те, с кем мы работали до сих пор, были точны, как в аптеке! — наставительно произнес он.

— Зато их добыча была мизерной, — отвечал Шрамов. Я видел, что он в восторге от сегодняшнего опыта. Лаборант блондин тоже поощрительно улыбался мне из своего угла.

Так это началось. Теперь дважды в неделю, по вторникам и пятницам, я после перерыва уходил из своего планового отдела и по длинным, сумрачным коридорам долго шел в сектор У, где на третьем этаже располагалась маленькая лаборатория Шрамова. Я никогда не торопился, шел медленно, будто прогуливаясь, и все-таки ни разу не опоздал. Всегда что-нибудь было неготово. Листовский, этот одержимый, не терпел простого повторения опыта с изменением какой-то одной величины измерения. Он менял все, что успевал за два дня между экспериментами. Дай ему волю, он никого не отпускал бы по ночам, только бы к назначенному сроку целиком, самым капитальным образом перемонтировать всю установку. И по-прежнему он повторял, пожевывая сигаретку, что не разделяет общей восторженности от нового ис-

пытуемого: ничего принципиально в моих показаниях он не находил.

— Пожалуй, только девятая секунда,— сказал он после четвертого эксперимента.— Вот это действительно интересно. Что-то тронулось, что-то поехало...

— Вы тоже переходите на поэтический язык,— сказал ему Шрамов, лучезарно улыбаясь.— Что, собственно, тронулось? И что, собственно, поехало?

— Мне разрешается пользоваться этим языком,— сказал Листовский.— Я по другую сторону барьера.

Пока шли последние приготовления, я переодевался в кабинетике Шрамова и потом долго сидел у окна, дожидаясь приглашения. Со своего места я видел голые деревья на бульваре и красно-желтый трамвай, скрипевший тормозами у поворота. Это был осенний, привычный, холодный мир, и было странно, что немного спустя он отодвинется, как бы отменится другим, странным, удивительным, к которому все эти понятия — привычность, холодность, определенность времени года — не имели даже косвенного отношения.

— А вы знаете,— сказал я однажды Шрамову,— когда-то, в детстве, прочитав фантастическую повесть про детишек, уменьшившихся до размера спички, я мечтал уйти туда, в этот веселый, милый, славный мир, к мотылькам, стрекозам, комарикам...

— Любая мечта в конце концов исполняется,— сказал профессор,— только иногда не приносит искомого удовлетворения. Шучу, шучу...

— Конечно,— продолжал я,— чуть только я занялся энтимологией, стало ясно, что все эти стрекозы, букашки, милый пейзажный мир — все это миф, сказка, байка для улады слуха. На самом деле, мир насекомых жесток и страшен. Все это я знал. Но лишь теперь я понимаю, насколько самочувствие насекомого, хотя бы той же «глория рексус», не выразимо человеческими словами.

— Только не надо забегать вперед,— осторожно говорил Шрамов.— Может быть, пока невыразимо. Может быть, мы еще определим нужные нам инварианты, чтобы выразить все это в наших представлениях.

Он крепко верил в свою идею. Снисходя к моему невежеству, он часто объяснял мне самыми простыми словами, что хорошей аналогией к их затее будет устройство, передающее звуковые колебания в виде световых или на-

оборот. Наш случай был, конечно, куда сложнее, и все-таки в основе его, как я понимал, лежал принцип перекодировки. Громадная счетно-решающая машина нашего института работала на нас в минуты эксперимента, пересчитывая многочисленные реакции организма бабочки на величины, обладающие знаковой выразительностью в нашей, человеческой специфике.

Шестой опыт оказался самым удачным после первого. Листовский, не говоря никому ни слова, самовольно переместил источник света на другую сторону от оранжереи и поставил его чуть дальше. Ловушка была предельно наивной: мои слова об отсутствии верха и низа в ощущении бабочки должны были разойтись с тем очевидным обстоятельством, что «молния», «воплъ», «таран» надвинулись с иной стороны. Произошло то, что и должно было произойти: я снова не почувствовал ни верха, ни низа, снова фиолетовая точка вспыхнула где-то очень далеко и тут же оказалась сверху, после чего сила, тянущая к ней, превратилась в неотвратимую силу бездны, безостановочного падения. Все это я и изложил, придя в себя после опыта, отметив при этом коротко, что сегодня «верх» был в другом месте.

— В каком же именно? — прищурился Листовский. — Вы можете, ориентируясь в оранжерее, сказать, где примерно вы видели светящуюся точку?

— Я — нет, — сказал я. — Разве только бабочка смогла бы это.

Таким образом, мы снова разошлись при ничейном счете.

— Знаете, отчего он так придирчив? — спрашивал меня Шрамов, явно боясь, как бы наши отношения не разладились окончательно. — Вы думаете, из-за вздорного характера? Из-за нежелания считаться с окружающими? Ах, если бы только это! Тогда все было бы просто, и я никогда не работал бы с этим фанатиком. Нет, самое смешное и, может быть, трогательное состоит в том, что он — ребенок, чистая душа, и сейчас больше нас всех рад, безумно счастлив, что с вашей помощью добыты такие результаты. Настолько счастлив, что считает это непозволительным. Прячет свою радость от себя и других...

Но только после девятого опыта я понял, чего втайне опасался Листовский.

— Нет тошноты, — сказал он.

— Да, нет,— сказал Шрамов.— Но так ли уж это плохо?

— Редкая отчетливость ориентиров,— продолжал Листовский.

— Ага, значит, вы признаете ее!

— Наконец, интенсивность памяти в степени, не виденной нами накануне,— голос Листовского был строг, как будто он перечислял список преступлений в обвинительном акте.— Не слишком ли много всего этого?

— Этого не может быть много,— сказал Шрамов, по лицу его я понял, что он только сейчас догадался о мысли Листовского, и она причинила ему боль.

— Может! — продолжал его подчиненный.— Может и еще как может!

— Извините,— сказал я.— Наверное, мне лучше уйти?

— Я ничего не имею против вас лично! — сказал Листовский подрагивающим голосом.— Никто ведь и не говорит, что перед нами заведомая мистификация. Просто поэтическая натура мечтательного бухгалтера могла выкинуть со всеми нами веселенькую штучку.

— Ага,— сообразил я.— Вот, значит, что вы хотите сказать. Что ничего из рассказанного мною я не испытывал?

— Испытывали! Еще как испытывали! Того, что вы говорили, нарочно не придумаешь. Но только все эти живописные подробности были вызваны к жизни не нашей аппаратурой, а, скажем так, обстановкой опыта, вашим состоянием, близким к трансу, вашими многолетними грезами о житье-бытье простых бабочек и мотыльков...

— Прекра-тите! — воскликнул Шрамов.— Есть же предел всему!

Я встал и ушел из лаборатории, думая, что прощаюсь с ней навсегда; но, оказывается, они меня тоже заразили своим энтузиазмом. Вечером следующего дня я уже перестал видеть обиду в том, что кто-то подозревает во мне шамана, самогипнотизера. Поэтому, когда вечером в понедельник Листовский, поникший и очень серьезный, явился к нам в отдел и, вызвав меня в коридор, попросил прощения за резкость, я не стал особенно миндальничать.

— Ладно, бывает,— сказал я.— Кстати, мне пришлось в голову кое-что относительно этой самой тошноты. Мы,

люди, ощущаем свое тело, верно? Пусть не очень четко, но ощущаем — что-то от тока крови, что-то от пульсации кишок и так далее, верно?

— Почти верно,— сказал он.— Я улавливаю вашу мысль, хотя она выражена с прямою дикаря. Простите,— тут же добавил он, не скрывая, что отныне будет подчеркнуто расшаркиваться после каждого своего неосторожного слова.

— Но ведь бабочка тоже ощущает свое тело,— продолжал я.— И ничуть не хуже, чем мы. А может быть, и поотчетливее, а?

— Все может быть,— подтвердил он, еще не понимая, куда я гну.

— А какие у нее внутренности — вы видели?

Он замер.

— Так,— сказал он.— Ах мы, идиоты! Ну, конечно же! Фу ты, черт возьми! Да это же явление несовместимости ощущений! Как же мы прошли мимо этого!.. Но вы-то, вы-то,— вспомнил он.— Вы-то, собственно, почему оказались исключением?

— Я слишком давно знаю, что у них внутри,— сказал я.— И это несколько не кажется мне противным. Так, знаете ли, врачи и другие специалисты привыкают к тому, что видят каждый день...

— Может быть,— сказал он, внимательно разглядывая меня.— Очень может быть.— Надо думать, прежние его подозрения вспыхнули с новой силой, но он предпочел держать их при себе.

Десятый и одиннадцатый эксперименты провалились, однако не по моей вине. Зато к двенадцатому установка, кажется, была перемонтирована заново. К тому же, мне готовился какой-то новый сюрприз. Снова мне пришлось ждать в кабинете Шрамова, наблюдая за осенним бульваром и трамваем, разворачивающимся на углу, только на этот раз профессор не давал мне соскучиться.

— Представьте себе, какие возможности открывают наши опыты! «В чужую кожу не влезешь»! — говорит народ. Как бы не так. Влезешь! Именно что влезешь! Влюбленный может влезть в кожу любимой, враг — в кожу врага, которого надо только — обманом или силой — завлечь на наше кресло. Наконец, и это самое интересное, самое нужное — врач может влезть в кожу пациента. Представьте себе, что пациент — ребенок или че-

ловек, находящийся без сознания. Или даже, допустим, психически неполноценный... А? Поистине широчайшие горизонты диагностики.

Тут что-то кольнуло меня. Я и раньше все время чувствовал, что в деле, которым занимаюсь, есть какие-то не удовлетворяющие меня ноты. Последние слова профессора будто отдернули завесу перед главным.

Двенадцатый эксперимент был самым удачным. Я не знал, что стеклянный прямоугольник оранжереи за это время был перестроен, удлинен в три раза, и что теперь источник света заставит бабочку кинуться не к стеклянной стенке, а вдоль нее, на всю возможную протяженность. Опыт кончился обмороком. Меня привели в себя с помощью нашатыря. Мысли мои немножко смешались, но главное свое ощущение, по неосторожности, я выдал первой же фразой.

— Как это замечательно! — сказал я.

Я видел, как оба мои руководителя переглянулись.

— Я как будто краешком мозга помнил, что мне нужно будет вернуться сюда, в это кресло, и восставал против этого...

Они снова переглянулись.

— Хорошенькая была бы картина! — засмеялся Листовский. — Здесь мы имели бы человеческое тело с интеллектом бабочки, а там, в стеклянном ящике, порхал бы наш мечтательный бухгалтер в облике «глюрия рексус»...

— Да бросьте вы! — сказал Шрамов. — Прекрасно знаете, что аппаратура действует только в одну сторону. У нас не телефон, по которому разговаривают оба, у нас всего только радио.

В первый раз на моих глазах он потерялся и не оценил шутки. Все это что-нибудь да значило.

Вечером он проводил меня до трамвая, и все мельтешил от темы к теме, все стремился навести меня на откровенность. Он понял, что я не все сказал, но уже и того, что я сказал, было достаточно, чтобы он заволновался.

— Послушайте, — сказал я ему наконец. — А вы уверены, что это морально? Вот это самое, о чем вы говорите — залезать в чужую душу и тэ дэ. Не даете ли вы в руки иному гражданину самое сильное оружие насилия над другой личностью?

— Вы говорите, как дилетант,— отвечал он с самоуверенной улыбкой, и это тоже было странно в нем, человеке подчеркнутой обходительности.— Врачи, ученые решают только научные задачи. Вопрос их применения в компетенции других.

— Но залезть в душу трехлетнего страдающего малыша...

— Да ведь для его же пользы! У врачей свои представления о том, что должно и не должно. Тот, кто открыл сахарную болезнь, попробовал мочу больного на вкус. Это вовсе не обязан делать первый встречный.

— Но я-то не врач,— сказал я.— И мне не доставляет удовольствия пробовать на вкус душу ребенка, душу сумасшедшего... А душа бабочки — это еще беднее, чем душа ребенка или сумасшедшего. Еще скуднее. Еще отчаяннее.

— Должен ли я так вас понять?..— спросил он испуганно.— Нет, вы, наверное, не то имели в виду. Теперь, когда мы, наконец, вышли на прямую дорогу, и все благодаря вам, вам, вы собираетесь нас бросить...

Подошел трамвай и остановился, поджидая пассажиров. Я сел на свободное место у самой двери. Шрамов стоял, держа в руке зонтик.

— Еще только один эксперимент... Тринадцатый...— просительно произнес он.

Я молчал.

— Понимаю,— сказал он.— Как же я сразу не догадался. Это все равно, что наколоть живое насекомое на булавку, верно? То самое, из-за чего вы не собираете гербариев... Но еще только один опыт! Окончательный! Решающий!

Трамвай дал звонок.

— Вы разрешите хотя бы позвонить вам? — жалобно спросил старик.

— Пожалуйста, звоните,— сказал я. Я знал, что он будет часто, много звонить. Но так же точно я знал, что переубедить меня не удастся. Мне и так придется затратить много сил, чтобы отвыкнуть от этих вылазок в чужой мир, которые стали для меня, похоже, чем-то вроде наркотика.

Г. ЛАВРОВ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В коридоре хлопнула дверь.

— Ноги вытирай,— сказала женщина, стоявшая у плиты.

Послышалось нарочито громкое пыхтение и шарканье. Слух женщины сейчас же уловил в этих звуках фальшь.

— Нечего притворяться,— сказала она.— Или вытирай, или сними совсем.

Сын вбежал в комнату без ботинок, бросил в угол портфель и полез под стол.

— Куда тебя понесло?

— Тапочки,— сообщил он из-под стола сдавленным от неудобной позы голосом.

Наконец тапочки были выловлены и надеты.

— Ну, что в школе? — спросила мать.— Троек не принес?

— Да нет, ничего не принес...

— Иди руки мой, вечно надо напоминать.

Мальчик пошел в кухню и сунул руки под кран. Как всегда, он запустил слишком сильную струю. Мать коснулась на летящие брызги, но молчала.

— А сегодня у нас история была. Интересно!

— Что проходили?

— Ленинградскую блокаду. И фильм показывали. Про памятники войны в Ленинграде.

— Фильм? Ну-ну... Вытирай руки и садись есть.

— А я чего притащил,— сказал мальчик с набитым ртом.— Вещь!

— Опять небось со свалки. Ну, зачем? Пошел бы и купил. Лучше бы я денег дала, чем ты разную дрянь в дом тащишь!

— Ну, мам, это не дрянь. В магазине такого не купишь. А я же... я ведь машину времени строю...

— Да-да,— вздохнула женщина.— Только не суйся больше в розетку! Опять пробки пережжешь.

— Ладно, как-нибудь на батареечке... Сегодня контрольная была по арифметике,— вдруг вспомнил он.— Я две задачки решил, а с примером на дроби запутался.

Мать огорченно нахмурилась.

— Потому что ерундой занимаешься, а уроки как следует не делаешь. Значит, опять тройка?

— Мам, я исправлю...

— Исправлю! Получать не надо. И о чем ты только думаешь? Ведь третья четверть уже. А ты по свалкам шарись да электричество переводишь. Это бы электричество, что ты для забавы извел, да в Ленинград... когда люди сидели с копилками.

— Я не для забавы,— тихо сказал мальчик.

— А! — раздраженно отмахнулась мать.— Неужели не стыдно тройки получать? Сыт, одет, кино вам в школе показывают. У нас вон и учебников-то почти не было, а мы учились. И старались.

— А правда, что с голоду умирали в Ленинграде? — спросил мальчик.

— Да,— жестко сказала мать.— Умирали.

— Совсем нечего было есть? — мальчик осторожно поднял глаза.

Мать помешивала ложкой в кастрюле, и лицо у нее было такое, будто что-то болит.

— Кнпяток пили. И хорошо, если был хлеб. Не такой хлеб — блокадный. Ты бы его в рот не взял.

Мальчик опустил голову, машинально водя вилок по голубой каемке на тарелке.

— Не скрипи! — прикрикнула мать.— И немедленно доедай! Ишь, от котлеты он нос воротит...

Мальчик вздохнул.

— Не вздыхай, чего тебе вздыхать? Я в твоем возрасте помогала развалины разбирать, в очередях стояла часами. А ночью ходили с подружкой за водой. Да еще с дырявым ведром.

— Даже воды не было?

— Ничего не было. Только голод, холод и обстрелы.

— Как же можно было выжить?

— Выжили. И еще работали. И учились, не то что ты. И воевали. И... не приставай ко мне. Для тебя это просто так, а мне тяжело вспоминать.

Они помолчали.

— Знаешь, моя машина готова.

— Ну-ну,— сказала мать, не отрываясь от плиты.

— Так хотелось попасть в будущее,— шепнул он через некоторое время.

Мать усмехнулась.

— Сначала почини свет в коридоре. Хотя какая-то от тебя польза.

Мальчик охотно вскочил.

— Просто лампочка перегорела,— сообщил он через минуту.— Сейчас верну новую.

— И у детей совсем не было игрушек? — спросил он, возвращаясь на кухню.

— У каких детей?

— Во время блокады.

Мать отвернулась от плиты и посмотрела на сына.

— Погулял бы ты, что ли,— устало сказала она.

— Да...

Он пошел к своему шкафчику. Там лежала большая жестяная коробка. В коробке была проделана щель для монет. Эти деньги он копил на большой аккумулятор. На аккумуляторе машина времени могла бы проделать много перемещений. А на батарееке... Мальчик взял коробку и некоторое время держал ее в руках. Металл был тяжелый и холодный. Потом он взял отвертку и, просунув острое под крышку, со всей силы ударил по ручке. Банка опрокинулась, крышка отскочила, и монеты высыпались на пол. Описывая дуги, со звяканьем ложились они на паркет.

— Что ты там шарахаешься? — спросила мать.— Не разбей чего-нибудь!

— Копилку я уронил,— ответил мальчик.

Встав на колени, он начал подбирать деньги и класть их в карманы. От тяжелой мелочи брюки обвисли.

— Я ухожу,— заглянув в комнату, сказала мать.— Вернусь к семи. Со двора не убегай. Розетку не трогай. Уроки начинай делать пораньше.

Хлопнула дверь. Мальчик посидел еще немного на полу, потом пошел к своей машине. То, что она доставит его в «когда угодно», он не сомневался. А вот как он возвратится... Вдруг батарейки не хватит?.. Вдруг что-нибудь еще?.. Он понимал, чем рискует.

Магазины были рядом, на Невском. Сын взял большую полосатую хозяйственную сумку, висевшую на кухне, и накинул пальто. Уже из передней он вернулся и положил на дно сумки своего старого желтого медведя с блестящими глазами...

...По заснеженному берегу вилась тропинка. Отчетливо были видны рубцы от полозьев санок. Вся тропка заледенела от брызг. Утром по левой стороне люди шли с санями и просто с ведрами на Неву, по правой возвращались с полными ведрами, в которых плавали поверху кусочки льда. Но иногда и ночью люди приходили к Неве и так же в темноте возвращались. Ночью было безопаснее. Правда, требовалось быть осторожным. Тропинка петляла среди ям от снарядов и бомб. И каждый день пролегалла немного по новому курсу — огибала свежие воронки.

Той ночью по дорожке брели две девочки. За собой они волокли санки с ведром воды. Ведро было худое, и девочки по очереди зажимали дырочку, от этого на рукавицах образовались ледяные наросты. Останавливаться было опасно — полозья примерзали к снегу. Но они все-таки остановились. На дорожке стояла непривычная вещь — большая полосатая сумка. Сумка мешала проехать, и одна из девочек хотела ее сдвинуть с дороги. Но наклонившись, она вдруг уловила совершенно неправдоподобный запах... Она запустила руку внутрь и вытащила... батон колбасы. В безмерном удивлении девочки уставились на колбасу, потом друг на друга, оглянулись вокруг, но увидели неподалеку только какого-то мальчика, стоявшего над кучей металла. На мальчике было легкое пальто, он засунул руки в рукава и притопывал ногами.

На горизонте возник звук. Девочки знали его значение. Они рванули санки, схватили сумку и побежали туда, куда указывала фанерная стрела. Раза два они оглянулись, но только в убежище поняли, что мальчик не побежал за ними, что он не сдвинулся с места, а просто стоял и как-то странно смотрел им вслед. Но тотчас девочки

забыли об этом, потому что все заслонила собой тяжелая драгоценная сумка...

Где-то позади, откуда они только что прибежали, глухо рвались бомбы.

На следующий день тропинка сделала новый поворот...

— Куда же он все-таки запропастился? — спросил отец. — Одиннадцатый час.

Мать, присматриваясь, ходила по квартире.

— Портфель, где бросил, там и лежит. Значит, за уроки даже не брался. Копилку выгреб дочиста... Машину свою знаменитую, слава богу, унес куда-то. Но зато стену ободрал, и на полу валяется штукатурка. И даже в голову не пришло подмести. Ну что за дети пошли, господи!

— Сама набаловала, — буркнул отец.

— Еще и сумку унес, — донесся голос матери из кухни. — Теперь либо разорвет, либо вымажет. Совсем новенькая была сумка, я ее не трепала. Я ее купила потому, что она мне напомнила детство.

— Да, знаю... — отозвался отец. — Кажется, пора его выпороть.

— А вдруг что-то случилось? — медленно сказала мать после паузы.

— Брось, что с ним случится? Времена не те!



ФАНТАСТЫ УЛЫБАЮТСЯ

РОМАН ПОДОЛЬНЫЙ

ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИК...

Они хитрили, и Аллах хитрил, но
Аллах самый хитрый из хитрецов
КОРАИ

И город был серым, и день, и настроение — все было серым, как пепел, падавший с моей сигареты в чашечку с недопитым кофе. И кофе тоже был уже серым...

Командировка не удалась. И у человека, который сидел напротив меня в гостиничном буфете, дела тоже были не ай-яй-яй. Сигарету за сигаретой мусолит. Чуть начнет, гасит, задумается, новую тянет.

— Вы чем-то расстроены? — спросил я.

Он поднял крупную голову с огромным квадратным лбом. Маленькие острые глаза почти физически оттолкнули меня. Я смутился и растерялся.

— Извините, не хотел.

— А! Вы правы. По Уитмену: если тебе захотелось поговорить с незнакомым человеком, почему бы тебе этого не сделать?

— Виктор.

— Николай,— ответил я, поняв, что это он мне представился.

— Значит, оба победители. Один по латыни, другой по гречески. Что же, полутезка, пойдемте ко мне? У меня есть в номере бутылка полусухого, а здешний кофе вам, должно быть, уже осточертел.

...За полчала я успел рассказать о своих злоключениях с заводом-поставщиком. Раньше конца квартала станков не дают, а мы когда свой план выполнять должны, интересно!

И главное, директор у них такой вежливый, спокойный, все так логично объясняет, поневоле веришь. Мне мой директор по междугородному кричит, чтоб я того за глотку брал, а при нем даже голос повысить неудобно.

Нет, раньше хорошо было: держали специальных толкачей, те свое дело знали, старшие инженеры на месте сидели, а не валандались без толку...

Я передохнул и выжидающе посмотрел на собеседника, точнее — слушателя. Давно пора было и ему начать высказываться.

— А у вас? Тоже оборудование не дают?

— А! — Он махнул рукой. — Если бы. Дали. В том-то и беда, Коленька. Никуда мне не деться теперь — надо эксперимент ставить.

— Физик?

— Экспериментатор,— он вздохнул.

— Кокетничаете? — усмехнулся я.

— Нет. Увы. Рад бы.

— Хотите менять профессию?

— Не хочу. Но, может, придется. Думал об этом, когда вы со мной заговорили.

— А что, неудачи, что ли? — Я окинул взглядом его поношенный пиджак, дешевенькую рубашку, пузырившиеся на коленях брюки. — У вас ведь, слышал, если в тридцать не кандидат, а в тридцать пять не доктор, так уже за бездарь держат.

— Доктор я. Даже член-корреспондент,— физик дернул плечом.

Обиделся, подумал я. Что ж, сделаю вид, что поверил.

— Ну, что же стряслось? Расскажите... Если не секрет.

— Какой там секрет! Сейчас все знают, кто хочет, а скоро даже те, кто не хочет, узнают. Вы меня спросили, не физик ли я. А я ответил: экспериментатор. Не знаю, какой я физик, а экспериментатор хороший.

Он выбросил на стол руки — огромные красные руки в веревках, бечевках и нитках вен.

— Меня не голова вывела в физики, а вот эти две пятерни. Стекло, металл, дерево, пластмасса — со всем могу работать. Ухаживал аспирантом за микробиологичкой, делал ей стеклянные трубки сверхтонкие... До сих пор, кроме одного японца, никто таких не умеет. Отдел у меня сейчас, набрал мастеров первого класса, условия для них выбил, настоящие ребята — любому нос утрут.

Вся эта хвастливая тирада была произнесена весьма унылым голосом.

— Что вас в этом огорчает?

Он не ответил на мой вопрос. Помолчали.

Потом большие красные руки взяли меня за ладканы пиджака, и я увидел у самого лица его твердые глаза.

— Ладно. Попробую рассказать. Решите, наверное, что у меня мания величия. Но психиатров не вызывайте. Сам к ним ездил. Еще в прошлом году. Впрочем, началось все лет восемь назад. Помните, может быть, один француз опубликовал сообщение о частицах, движущихся быстрее света. Метафотонах.

— Как же! Это обошло всю прессу. Потом, правда, выяснилось, что он напутал.

— Да. Метафотоны закрыли. Я закрыл.

— Вы?

— Ага. Очень был доволен. Доктором стал. Никак мне не давали до этого защищаться. Чего ты, говорили, на отрицательных результатах за степень лезешь? Понимаете, слава у меня дурная. Студент один даже кличку приклеил; губитель гипотез. Выдвинут теоретики что-нибудь этакое позаковыристей, а я их — с неба на землю.

Слышали про кварки? Ох, была заварушка! Американцы их на Солнце нашли, англичане в морской воде, австралийцы в космических лучах выловили.

Теоретики предсказали: элементарные частицы должны из сверхэлементарных состоять. Назвали эти сверхэлементарные кварками, рассказали нам, какие они, и стали экспериментаторы работать.

Я составил план эксперимента — и в Канаду, международный семинар проводить. Бросил опыт на Скруплева. Хороший физик. Даже экспериментатор хороший.

Через две недели телеграмма от него — кварки в каменном угле нашел. Радость! К Нобелевской премии примериваемся, государственную в уме держим. Возвращаюсь. Ставлю со Скруплевым повторную серию. Что за черт?! Нет кварков. Третью ставлю. Опять ничего. Скруплев на себе волосы рвет. Ребята другие просто ничего не понимают. Публикуем результаты. И тут начинается: австралийцы насчет космических лучей извиняются. Американцы говорят, что неправильно линии солнечного спектра интерпретировали. Англичане — те долго молчали. Пока итальянцы их опыт не повторили. Нет кварков, и все тут!

Теоретики на дыбы. Уж чересчур им мир из кварков нравился. Потом передумали. Есть кварки, говорят, только другие. И выдают нам описание.

Знаете, слон на буйвола больше похож, чем новые кварки — на старые. Хоть бы имя сменяли, что ли. Ладно. Ищем — и этих нет. Тут новую сверхсенсацию подбрасывают из Кембриджа — опровергли они на опыте одно предсказание Эйнштейна. Проверяю: Эйнштейн прав.

Австриец предположил, что намагниченное тело тяжелее себя ненамагниченного. Мура оказалась.

Наш физик еще что-то такое нашел, — я и его опровергаю.

Губитель гипотез, в общем. На капустнике студент один под меня вырядился, корону напялил и доску на грудь: «Король отрицательного результата». Вот как!

— А что вас здесь огорчает?

— Сначала — только то, что отрицательный результат неэффективно как-то выглядит. Представьте: за открытие кварков и Нобелевскую не жалко. А за закрытие? Опыт же, между прочим, один, только результат разный.

— И из-за этого вы хотите бросить физику?

— Не хочу. И не из-за этого. Но вот представьте, звонит мне Хишмэн из Оксфорда...

— Ogo!

— Слышали, значит. Звонит, извиняется ужасно и просит его опыта последнего не повторять. Суеверный он, мол.

Я от души рассмеялся.

— Ну, вам я настроения не подниму, но мне-то вы его подняли, Виктор. Вот Хишмэн-то, а?

— Не смейтесь. Рановато. Видите ли, я ему не сказал, но уже поставил один эксперимент. К его опыту он прямого отношения не имёл, да и начат был года на три раньше...

Виктор встал с кресла, повернулся ко мне спиной, подошел к окну и глухо сказал:

— Я не стал проверять эксперимент Либермана по изменению гравитационной постоянной. Я очень сомневался в его результатах, но проверять их не стал.

— И?..

— Держится. Проверяли Либермана. Другие. Подтверждали.

— Так и вы бы подтвердили.

— Наверно. Но мой эксперимент был поставлен строго. Я взял три крупных открытия и отложил проверку на пять лет. Перед выездом сюда я проверил два из трех — кроме эффекта Либермана.

Теперь уже и я вскочил на ноги:

— Неужели? Не может быть!

— Может. Их тоже до меня проверяли и повторяли. А я — закрыл.

— Но ведь бывают...— я копался в складах памяти, пытаюсь найти какое-нибудь объяснение, но нашел только аналогию.— Виктор! Бывает так. В «Известиях» читал лет пять назад. Две группы ученых спорили о каких-то, не помню уже каких, свойствах кристаллов. Одна группа эти свойства находила, другая нет. Лет десять спорили. А потом и первая группа тоже перестала находить. А раньше опыты вроде бы не менее чистые были. Да что вы расстраиваетесь! Не с одним вами. А положительные результаты — будут. Знаете, у вас получается совсем как в стихотворении Тютчева «Колумб»:

Так связан, соединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества...

Скажи заветное он слово —
И миром новым естество
Всегда откликнуться готово
На голос родственный его.

— У меня, видите ли, наоборот.— Виктор вернулся в кресло, крутил в руке полупустой стакан, смотрел сквозь вино на лампу, холодная зеленоватая жидкость переливалась голубым и фиолетовым.— Совсем наоборот. Марк Твен сказал: «Удивляются, что Колумб открыл Америку. Однако было бы еще удивительнее, если бы ее не оказалось на месте». Удивительнее!

— Подойдите к этому по-другому. Английский «Wonderful» можно перевести и как «удивительно» и как «замечательно». «Замечательно, что Колумб открыл Америку, но было бы еще замечательнее, если бы ее не оказалось на месте».

— Замечательнее?! — он поставил стакан на стол, расплескивая остатки вина.— Я топлю материи, я Колумб наоборот.

— Ну и ну! — я не мог не засмеяться.— Так вы и вправду решили, что это зависит от вас?

— Я говорил вам уже, что ходил к психиатрам. Они считают меня нормальным.

— А вы считаете, что от вас зависят свойства мира?

— Я был обязан создать не противоречащее фактам объяснение. У меня получилось примерно вот что... Как бы объяснить, чтобы вы это поняли...

— Спасибо.

— А! Оставьте обиды. Представьте себе... Нет, не так. Человек осознает природу, правильно? И открывает ее законы.

— Но они существуют и до открытия.

— Да. Но в неоформленном виде... Атомное ядро... Его можно себе представить твердым телом, жидкостью, газом. Есть разные модели — для разных случаев. Какое оно на самом деле? А законы природы... Ученый ставит природу формулировать их. И только.

— Ого! Только? Значит, при Птолемеи Солнце вращалось вокруг Земли?

— Что же, с точки зрения достаточно общей теории, это и сегодня правильно.

— А когда Эйнштейн придумал теорию относительности и все штучки с пространством — временем,— я го-

ворил медленно, весело придумывая новые варианты, во мне почти иссяк интерес к Виктору, оказавшемуся всего-навсего остряком, но не к его чрезвычайно занимательной шутке... — Нет, вы только представьте себе, как Вселенная скрилит и корчится, принимая требования маленького Альберта! Впрочем, Коперник тоже устроил хороший кавардак в местных масштабах.

— Я знал, что это смешно. Но вы не знаете, как это грустно.

Я присмотрелся к нему. Ей-ей, он действительно не шутил.

— Что же тут грустного?

— Я — Колумб наоборот. Того, что я ищу, не оказывается.

— Но ведь открыть, что чего-то нет...

— Да, я знаю, что это называется открытием. Но сейчас дело не в ценности результата. Я должен поставить опыт над собой, а не над материей. Психиатры... Хочу узнать, правы ли они.

— И?..

— Я должен попытаться «закрыть» что-нибудь такое, что-нибудь такое, что не может исчезнуть. Оно не исчезнет, и я успокоюсь.

— А если исчезнет?

— Через месяц увидим. Я приезжал сюда за оборудованием для опыта.

— Какого?

— Я хочу проверить, существуют ли атомы.

Генрих АЛЬТОВ — инженер по образованию, живет в г. Баку. Первые рассказы Г. Альта появились в 1957—1958 годах, вскоре он становится одним из популярных писателей-фантастов. Его рассказы и повести собраны в книгах: «Легенды о звездных капитанах» (Детгиз, 1961 г.), «Опаляющий разум» («Детская литература», 1968 г.), «Создан для бури» («Детская литература», 1971 г.). Г. Альтов много лет отдал разработке оригинальной методики изобретательства, последняя из его книг по этой теме — «Алгоритм изобретения» («Московский рабочий», 1973 г.).

Дмитрий БИЛЕНКИН — окончил геологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, по специальности геохимик. Как научный журналист начал работать в газете «Комсомольская правда», потом перешел в журнал «Вокруг света». Автор многих научно-популярных статей, очерков, брошюр, двух книг. С конца 50-х годов начал выступать с научно-фантастическими рассказами, ему принадлежат сборники «Марсианский прибор» («Молодая гвардия», 1967 г.), «Ночь контрабандой» («Молодая гвардия», 1971 г.).

Владимир КОЛУПАЕВ — по профессии радиоинженер, окончил Томский политехнический институт. Работает в лаборатории бионики Сибирского физико-технического института. Первый научно-фантастический рассказ опубликовал в 1969 году. В 1972 году издательством «Молодая гвардия» выпущен сборник его повестей и рассказов «Случится же с человеком такое!..»

Кирилл БУЛЫЧОВ — по основной специальности историк, журналист. Первое научно-фантастическое произведение было опубликовано в 1965 году. В издательстве «Детская литература» увидела свет его приключенческая повесть «Меч генерала Бандуры» (1968 г.) и фантастическая «Последняя война» (1970 г.). В «Молодой гвардии» вышел сборник рассказов «Чудеса в Гусляре» (1972 г.).

Георгий ШАХ — журналист-международник, автор ряда научных и публицистических брошюр и книг. В жанре фантастики дебютировал в сборнике «НФ» № 11 (1972 г.).

Александр ГОРБОВСКИЙ — по образованию востоковед, индолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник в системе Академии наук СССР. Автор нескольких исторических и научно-художественных книг на русском и украинском языках. В издательстве «Знание» вышли его книги «Похищенные умы» (1971 г.) и «Загадки древнейшей истории» (2 изд. 1972 г.). Первое научно-фантастическое произведение опубликовано в 1964 году.

Север ГАНСОВСКИЙ начал свой трудовой путь еще до Великой Отечественной войны. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен. После войны окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Печататься начал студентом. Автор нескольких пьес и сборников рассказов. Первая научно-фантастическая книга «Шаги в неизвестное» вышла в Детгизе в 1963 году, затем появились «Шесть гениев» («Знание», 1965 г.), «Три шага к опасности» («Детская литература», 1969 г.), «Идет человек» («Молодая гвардия», 1971 г.).

Владимир ГРИГОРЬЕВ окончил МВТУ им. Баумана. С научно-фантастическими рассказами выступает с 1962 года. В 1967 году эти рассказы были собраны в книге «Аксиомы волшебной палочки» («Молодая гвардия»).

Виктор ДЕМИН — киновед и кинокритик, окончил сценарно-редакторский факультет ВГИК. Работал в различных редакциях и на студиях, сейчас — научный сотрудник Института истории искусств Академии Наук СССР. Автор двух книг и многочисленных статей о кино. Вопреки названию рассказ «Тринадцатый опыт» — это первый опыт В. Демина в жанре фантастики.

Георгий ЛАВРОВ — самый молодой из авторов сборника. Публикуемый здесь рассказ был написан, когда автор еще учился в школе. Несмотря на это, «Новое по-

коление» — не первое печатное произведение Г. Лаврова, он уже печатался в журнале «Пионер».

Роман ПОДОЛЬНЫЙ — историк по образованию. Член редколлегии и заведующий отделом журнала «Знание — сила». Первые фантастические рассказы были опубликованы в 1962 году. В 1970 году вышел в свет его сборник рассказов и повестей «Четверть гения» («Молодая гвардия»). Кроме того, перу Р. Подольного принадлежат многочисленные статьи и несколько научно-популярных книг.



СОДЕРЖАНИЕ

НАШ ДОМ — ВСЕЛЕННАЯ	3
Г. Альтов ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ	3
Д. Биленкия НИЧЕГО, КРОМЕ ЛЬДА	53
Виктор Колупаев САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОМ	62
Кир. Булычев ПОЛОВИНА ЖИЗНИ	74
ОТПРАВИВШИСЬ В ПРОШЛОЕ	117
Г. Шах ЕСЛИ БЫ ЕЕ НЕ УНИЧТОЖИЛИ...	117
Александр Горбовский ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО	147
ПЛОДЫ «ПРОСВЕЩЕНИЯ»	156
Север Гансовский ЧАСТЬ ЭТОГО МИРА	156
В. Рич ЭТО БЫЛА ТОЛЬКО ОДНА ЧАСТЬ	236
Владимир Григорьев НОГИ, НА КОТОРЫХ СТОИТ ЧЕЛОВЕК	237
ЗНАКОМЬТЕСЬ — ДЕБЮТАНТЫ	242
В. Демина ТРИНАДЦАТЫЙ ОПЫТ	242
Г. Лавров НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ	254
ФАНТАСТЫ УЛЫБАЮТСЯ	259
Роман Подольный ЗАКРЫВАТЕЛЬ АМЕРИК	259

Составитель **В. А. Ревич**

СБОРНИК НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ

Выпуск 14

Редактор **С. П. Столпник**

Художник **Д. М. Утенков**

Худож. редактор **В. Конюхов**

Техн. редактор **М. Столярова**

Корректор **М. Хейфец**

А 06850. Индекс заказа 37732. Сдано в набор 30. I, 1974 г. Подписано к печати 23. V, 1974 г. Формат бумаги 84×108¹/₂. Бумага типографская № 3. Бум. л. 4,25. Печ. л. 8,5. Усл.-печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 14,19. Тираж 100 000. Издательство «Знание», 101835, Москва, Центр, проезд Серова, д. 3/4. Заказ 160. Типография № 2 комбината печати «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2. Цена 41 коп.

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Издательство «Знание» продолжит в 1975 году выпуск литературы, освещающей достижения современной науки и техники.

Авторы — видные ученые, теоретики, практики — рассказывают о новом в промышленности и строительстве, физике и химии, сельском хозяйстве и медицине, науке и Земле и космонавтике.

Геохлянян Т. Х. Изучение стратосферы. 3 л., 12 к.

В брошюре рассказывается о новейших исследованиях стратосферы, особенностях ее состава и строения, о связи с выше и ниже лежащими слоями атмосферы и о многом другом.

План 1975 г., № 47.

Пехов А. П. Социальные проблемы генетики. 3 л., 11 к.

Социальные проблемы генетики, их содержание, методологическая оценка проблем, которые возникли в связи с новейшими открытиями науки о наследственности и изменчивости, рассматриваются в данной брошюре.

План 1975 г., № 50.

Андруханович Л. Н. Интенсификация производства и технический прогресс в промышленности. 3 л., 11 к.

В брошюре рассказывается об основных направлениях интенсификации производства: росте производительности труда, снижении материалоемкости и увеличения фондоотдачи, повышении качества продукции.

План 1975 г., № 58.

Богданов К. М., Яновский К. М. Бионика и электроника. 3 л., 11 к.

Брошюра посвящена описанию возможностей электронных устройств в моделировании и технической реализации функций, присущих живым системам: видения, запоминания, опознавания, обработки и анализа зрительных образов.

План 1975 г., № 61.

Кудрявцев О. К. Город и транспорт. 3 л., 12 к.

О главных направлениях развития и реконструкции транспорта крупных городов СССР, мерах по улучшению транспортного обслуживания населения рассказывается в данной брошюре.

План 1975 г., № 72.

Морозов А. И., Шубин А. И. Космические электро-реактивные двигатели. 3 л., 11 к.

Брошюра посвящена актуальной проблеме современной космической техники — электрореактивным двигателям (ЭРД).

План 1975 г., № 79.

Паников В. Д. Проблема соединения науки с производством и повышение ее эффективности. 3 л., 11 к.

Проблеме внедрения достижений науки в сельскохозяйственную практику, повышения эффективности научных исследований посвящена эта брошюра.

План 1975 г., № 91.

Подоба Е. И., Соловьева В. П. Гигиена умственного труда. 3 л., 11 к.

Авторы брошюры рассказывают о современном состоянии проблемы физиологической оценки нервно-эмоционального напряжения, рассматривают новейшие методы психогигиены, способствующие повышению умственной работоспособности и сохранению здоровья.

План 1975 г., № 93.

Подробные аннотации на эти брошюры помещены в плане выпуска литературы издательства «Знание» на 1975 год. Интересующую Вас брошюру можно заказать заранее в местных книжных магазинах.

«Союзкинига»

Издательство «Знание».

